

А. А. ФЕДОРОВИЧ

**АНДРЮШКИНА
МОЛИТВА**

А. А. ФЕДОРОВИЧ

Андрюшкина Молитва

Мельбурн

— 1974 —

A. A. FEDOROVICH

ANDREW'S PRAYER

Melbourne

— 1974 —

ИЗДАНИЕ Е. Т. ФЕДОРОВИЧ

Все права сохраняются за издателем.

All rights reserved by publisher

Printed by "Unification" Printers and Publishers Pty. Ltd.,
497 Collins Street, Melbourne, 3000, Australia

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФЕДОРОВИЧ

Смерть Александра Александровича, наступившая в результате непродолжительной, но тяжелой болезни, — тяжелая, невозвратимая утрата для всей российской эмиграции. Для тех, кто в течение лет работал вместе с Александром Александровичем, кто видел его постоянное горение, энергию и любовь к русской культуре, к выявлению и утверждению ее незыблемых ценностей в условиях эмиграции, смерть Александра Александровича — тяжелый удар. Для нас, сотрудников газеты, смерть его также и огромное личное горе!..

В 1957 году приехали Евгения Трофимовна и Александр Александрович в Австралию. И без малого 15 лет прошло с тех пор, когда Александр Александрович впервые переступил порог редакции «Единение», чтобы уже навсегда войти в сердца всех сотрудников, всех читателей газеты, чтобы обрести большой круг почитателей своего литературного таланта. И ушел Александр Александрович из жизни, оставив нам большое количество своих произведений, одно из которых ему не суждено было увидеть в печати: рукопись романа «Андрюшкина Молитва» еще не была сдана в набор, когда Александр Александрович слег в больницу, из которой мы уже проводили его в последний путь.



Родился Александр Александрович в Тобольске 30 мая 1899 года, в семье, коллежского советника Александра Исидоровича Федоровича, который был затем переведен по службе в Москву, где Александр Александрович и закончил гимназию. Отец А. А. был награжден за свою выдающуюся службу в гражданском ведомстве орденом Станислава, а когда он умер, — совсем еще молодым человеком, — вдове его — матери А. А. — Людмиле Ивановне была назначена сравнительно высокая по тем временам пенсия — 800 рублей в год. Сыну

же покойного коллежского советника Федоровича — Александру — была назначена стипендия в размере 160 рублей в год для окончания среднего и высшего образования, до 26-летнего возраста.

Но в вихре жутких событий второго Смутного Времени России молодому гимназисту так и не довелось до конца воспользоваться этой стипендией: следуя велению совести, сердца и ума, он поступает добровольцем в армию Верховного Правителя адмирала Колчака и в ее рядах, в отряде под командой генерала Каппеля, проходит — уже молодым офицером — весь страдный путь, Сибирский Ледяной поход, борьбу в Приморье — вплоть до конца Белой Борьбы на Дальнем Востоке.

Истории этой борьбы и, главным образом, вождю ее — герою, генералу Каппелю Александр Александрович посвятил немало своих трудов, квинт-эссенция которых собрана в его книге «Генерал Каппель», вышедшей в издательстве Русского Дома в Мельбурне в 1968 г. (Смотрите отзывы почитателей ниже).

После окончания Белой Борьбы А. А., попадает в Харбин, где и проходит его жизнь в течение последующих 25 лет, — жизнь, свидетелями и, фактически, продолжателями которой являются многие десятки его учеников — воспитанников сначала Русского Дома, затем — Лицея Св. Николая, а также и ряда других средних учебных заведений русского Харбина. Многогранен был талант покойного А. А.: из под его кисти выходили картины и фрески, украшавшие стены Русского Дома и Лицея. Картины его работы украшают теперь стены его скромного дома.

Свое служение русской национальной идее и русской культуре А. А. естественно продолжил и по приезде в Австралию. И одним из первых его детищ был Русский Исторический Кружок, в работе которого приняли участие многие лица мельбурнской колонии, но деятельность кружка постепенно прекратилась, когда А. А. включился в работу по созданию Русского Дома в Мельбурне. Этому делу покойный А. А. отдал много своих душевных и физических сил и времени. И за эти десять с лишним лет культурная жизнь русской колонии в Мельбурне была неизменно связана с Александром Александровичем: почти ежегодные доклады

о великих русских писателях и поэтах в Дни Русской Культуры, устройство вечеров, посвященных памяти великих русских людей в годовщины их рождения или смерти, организация и проведение «Встреч у Зеленой Лампы», привлекавших множество любителей русской литературы.

Но несомненным венцом культурного делания Александра Александровича был Фестиваль русских поэтов Австралии в июне 1970 г.: А. А. возглавил комитет по организации и проведению этого Фестиваля и был его душой, больше — его духовным двигателем. А. А. и было написано вступление к сборнику стихов тех поэтов, которые приняли участие в этом Фестивале.



Тяжел был жизненный путь Александра Александровича, много невзгод, болезней и лишений довелось ему пережить. Но тяготы жизненного пути не только не сломили его, но и тем, кто мало знал его, могло казаться, что не оставили они отпечатка в его душе. И только при более близком знакомстве, при более частом общении становилось очевидно, что пережитое сложилось в его душе большим кладом, из которого он черпал глубокое понимание пережитого и переживаемого, как отдельными людьми, так и всем нашим народом.

Мир праху Твоему стойкий борец за Русскую Правду!

Память о Тебе, о благородстве Твоей большой души навсегда сохраняют все Твои сотрудники, все те, кому довелось работать вместе с Тобой!

Ю. Константинов.

ОТЗЫВЫ ПОЧИТАТЕЛЕЙ

«Дорогой Александр Александрович!

Спасибо за Ваши рассказы, Вы — талантливый писатель и большой психолог... Вы унаследовали все лучшее от русских писателей, в особенности от Достоевского... Ваши рассказы будят лучшие человеческие чувства... Бесконечно благодарен Вам за это... особенно чувству-

есть русское умное, нравственно-сильное, облагораживающее русское слово. — Всегда Ваш — Влад. Диффердинг, Мельбурн».

«...Ваша книга («Генерал В. О. Каппель», — прим. Ю. К.) кратка, но она — волнующий документ, свидетельствующий о долге, чести и мужестве выдающегося русского патриота, руководившего Белой Армией. — Капитан Хома Шкура».

«Глубокоуважаемый и дорогой Александр Александрович!

...Особенно благодарю за составленную Вами превосходную книгу под заголовком «Генерал В. О. Каппель», которую я прочитал с исключительным вниманием и немалым волнением. Честь и хвала Вам, что, принявшись за этот нелегкий труд, Вы выполнили его по чистой совести, воздав должное не только незабвенной памяти Генерала Владимира Оскаровича Каппеля, как поистине легендарно-блестящему военачальнику и человеку, но внеся таким образом и ценный вклад в историю Белого Движения на Руси с 1917 по 1922 гг... — Искренне преданный Вам Ваш Ин. Смолин». (Прим. Ю. К.: Генерал Иннокентий Семенович Смолин был командиром 2-го Корпуса Дальневосточной Белой Армии).

«...чудным даром изобразительного писания был свыше награжден А. А. Особенно это чувствовалось при чтении вслух его произведений. Музыка слов невольно проникает в душу и вызывает в ней восторг и слезы...» — так писал в своем письме вдове Александра Александровича — Евгении Трофимовне — митр. прот. о. Николай Депутатов, Брисбен.

**Яркому солнечному лучу всей моей жизни;
дорогой моей жене — Евгении Трофимовне
Федорович, с глубокой благодарностью пос-
вящаю.**

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Когда в весенний яркий день я переезжал на свою новую квартиру, то никак не предполагал, что невольно узнаю драму незнакомых мне людей, в которой часто забавный, вызывающий улыбку элемент, переплетается с многолетними, тяжкими переживаниями этих людей, в жизни которых его величество случай сыграл свою роковую роль. Впрочем, и познакомиться со всем тем, что будет изложено ниже, помог мне тоже случай. Новая моя квартира была удобная, солнечная и уютная. Отдельный небольшой домик с высокой черепичной крышей весь тонул в зелени кустов и деревьев, и весь его вид уж никак не говорил, что он таит в себе повесть, пронизанную черными тенями. Несколько дней я устраивался в своем новом жилище; несколько дней отдыхал и блаженствовал в тени деревьев в саду, но потом мое природное любопытство заставило меня более детально познакомиться со своим домом. Внизу, в самом доме и в саду, мне уже было все детально известно и оставался неосмотренным один чердак, куда я и забрался, рассчитывая найти там что-нибудь интересное. Под высокой крышей, острым углом уходящей в небо, было полутемно. Большой, пыльный, заплетенный паутиной чердак был на первый взгляд пустым. Не заметив ничего, что бы могло привлечь внимание, я уже начал спускаться вниз как, вдруг, мне в глаза бросился едва заметный ст покрывавшей его пыли, какой-то мешок, лежавший в самом далеком углу. Снова поднявшись наверх, я поднял этот мешок, чихая и кашляя от тучи пыли, и спустился с ним в дом. Вынеся его в сад, я развязал веревку, которой он был завязан, и обнаружил в нем кучу исписанных листков. Кроме отдельных листов, были тетради, но все они были строго пронумерованы. Очень много страниц были, видимо, подмочены, записи на них расплзлись, и разобрать их было совершенно невозможно. Некоторые страницы

были изгрызены мышами, и от них остались одни клочки. Очистив, как мог от пыли содержимое мешка, я начал просматривать написанное и оторвался от этого только поздно вечером, уже при горящей лампе, когда прочитал последние строки.

С того времени прошло несколько лет. Кто писал эту повесть, как она попала на мой чердак, я так и не узнал, несмотря на все справки, которые я наводил везде. Удалось только собрать туманные, неясные слухи о случае, бывшем в нашем городе, несколько напоминавшем то, что было написано. Но достоверно сказать, что между этими явлениями была какая-то связь было нельзя, тем более, что даже те места, о которых упоминалось в повести, уже не существовали в том виде, как о них говорилось. Долго я думал, имею ли я право опубликовать найденные на чердаке записи, но когда пришел к твердому убеждению, что их героев уже нет, решил все же это сделать, чтобы лишний раз описать, как самым нелепым и роковым образом петляют и путаются пути человеческие в наше окаянное время. Думается мне также, что не посетуют на меня тени ушедших из жизни героев и благодаря тому, что все их горькие и сжигающие минуты, дни и годы их жизни; все их падения и взлеты исчезли, растаяли как воск от лица огня к концу их запутавшейся в противоречиях жизни, благодаря тому названию, которое стояло над первым листом повести.

ГЛАВА 1

В сером, непроглядном пологе тумана море и земля сливались в одно. Плотной пеленой он окутывал и стоящие на рейде суда, и многоэтажные дома большого приморского заокеанского города, и если бы в эти минуты посмотреть на землю сверху, то можно было бы увидеть только колышущиеся волны, непроглядные и наводящие тоску. Время от времени, когда налетал порыв ветра, волны эти начинали клубиться и бушевать, и тогда в их провалах на момент возникали нелепо и пугающе верхние этажи небоскребов. Эти оторванные от земли этажи неподвижно висели в воздухе, чернея оконными впадинами, покрытые влагой, мертвые, заколдованные. Но уже через мгновение все исчезало вновь, поглощенное туманом.

Туман, перед рассветом, живым, шевелящимся чудищем выполз откуда-то из зеленых просторов океана и беспощадно залил каждую улицу, каждую щель города. Он, казалось, стремился возродить первобытный хаос, когда не было ни земли, ни моря, ни неба, никаких границ.

Вдруг, неожиданно налетевший с моря ветер прервал этот серый бред и под его ударами, клубясь и волнуясь, туман пополз вглубь материка, а через десять минут открылись и изукрашенный зеленью садов город, и море, и вереница судов на нем, и усеянное уже меркнущими звездами небо. Далеко на востоке оно рисовалось белесоватыми — предрассветными тонами. Но в городе небо было видно узкими полосками сквозь щели улиц, огороженных высокими коробками домов.

Казалось, небо тосковало о проходящей ночи, когда город с миллионами еще спящих людей отдыхал от наполненного грохотом и спешкой, пропитанного борьбой и обманом горячего, пыльного, мятущегося дня. Может быть, небо тосковало еще и потому, что только глубокой ночью только несколько десятков пар людских глаз взглянут на него. Остальную часть суток лю-

дям было не до него. Утро и день проходили в сводящей с ума спешке и погоне за золотом и куском хлеба, или в ничемной борьбе политических и других страстей. Вечерами нахальные неоновые вывески над дверьми фешенебельных ресторанов, скромных кафе и окраинных кабаков закрывали небо своим блеском. Непонятная, то воющая, то гроыхающая музыка оглушала людей, дурманила, уводила из мира цивилизации в джунгли, пустыни, на далекие, утопающие в море, еще неизвестные острова. И, подчиняясь ее наркозу, люди, живущие в городе и хвастающиеся своей культурностью, прилагали все силы, чтобы обратиться в жителей этих джунглей, пустынь и островов. Они, эти люди, с бессмысленными лицами и остановившимися глазами под ошеломляющую музыку пытались изобразить танцы других людей, которых называли дикарями. Они не могли и не хотели понять, что это им никогда не удастся, ибо им не хватало той легкости, простоты и естественности, которые делали движения и прыжки полуголых детей природы плясками или танцами, а не злой карикатурой на них.

И только тогда, когда затихала на несколько коротких часов трескучая, суетливая жизнь, небо властно развertyвало свой полог, и тогда те немногие, которые все еще продолжали любить его и тосковать о нем, могли поднять к нему глаза и увидеть его.

Иногда это были старые, выцветшие глаза, читавшие в небе повести и сказки прошедших лет своих, иногда эти глаза были молодыми и в них отражались любовь или тоска по ней. Но последние встречались реже, ибо даже любовь стала искусственной, изломанной, без жгучей тоски и светлой радости, часто бесстыдной, лишенной прелести красоты, подобной тому, что люди называли экзотическими танцами.

Именно в такой предрассветный час, через двор находящегося на окраине города бедного русского монастыря, медленно проходил высокий, уже старый монах. В глубине двора виднелся расплывчатый в сумерках силуэт церкви. Луч фонаря на момент осветил лицо инокa. Оно было примечательно не столько своей классической красотой, просвечивающей даже че-

рез беспощадные следы старости, сколько особым выражением, лежавшим на нем. Наверное, у человека, который умирает в полном сознании, от какого-то нелепого и неожиданного случая, бывает такое лицо: недоумение и тоска, и боль, и протест против всей этой нелепости, обрывающей жизнь. Монах вошел в храм, где в это время над лежащим там псковником другой монах читал Псалтырь. Вошедший заменил его, но когда остался один, прервал чтение. Подойдя к гробу, он опустился на колени и застыл. В мертвой тишине церкви могло показаться, что там находятся два покойника—один в гробу, другой на коленях. Монах не крестился, не шептал молитв и даже складки его подрясника как бы окаменели. Закрыв глаза и опустив голову на сложенные на подставке гроба руки, монах сливался, соединялся в одно с тишиной и неподвижностью церкви.

Рассвет все больше зажигал небо: его лучи проникли сквозь зарешеченные окна в храм, и в их свете заискрились, загорелись ризы икон и камня лампад. Когда стало совсем светло, монах быстро поднялся с колен, поклонился гробу и вышел из церкви. Чуть скрипнула закрываемая дверь и псковник остался один со своей вечной, железной тишиной. На ленте венка, стоявшего у гроба, можно было прочесть — «Андрею Кореневу от друзей».

.....

Ивана Ивановича Логинова все его друзья и приятели называли вечным студентом, хотя ко времени приключений с ним, ему было уже далеко за шестьдесят. Основанием к этому было то, что очень давно, еще в тринадцатом году, он поступил на первый курс юридического факультета Московского университета, чем навечно, но непрестанно гордился до конца дней своих и не упускал случая, чтобы не напомнить это своим собеседникам. По правде говоря, студентом он был никудышным. Учиться он не торопился, лекции посещал по настроению, но зато его можно было видеть почти каждый вечер в каком-нибудь из московских театров. И после каждого такого посещения он выходил из театра весь во власти впечатлений, полученных им от постановки. Иногда эти впечатления уводили его

совсем в другую сторону от его квартиры, что, впрочем, совсем его не огорчало. Но будучи таким страстным поклонником театра, Иван Иванович никогда не мечтал о карьере артистической, считая ее уделом избранных, к числу которых он никогда себя не причислял. Бражничать с приятелями он не любил, политика его не интересовала ни в какой мере, ухаживать он тоже не умел и боялся. Однако последнее обстоятельство не мешало ему боготворить курсистку Варечку Метлину, родом из Минска, входившую в ту же компанию молодежи, к которой принадлежал и он. Нужно сказать, что его отношение к ней иным словом, как «боготворить» нельзя было назвать. Днем, когда он не бывал на лекциях, Иван Иванович мечтал о ней и пробовал даже сочинять стихи, которые никак не выходили; бывая изредка в университете, слушать профессоров он себя не утруждал, а думал опять о ней, вспоминая каждый ее жест, каждое ее слово. Но в течение всего первого и единственного года пребывания в университете, Иван Иванович не допустил ни одной, не только грязной, но и соблазнительной мысли о ней. Впрочем, если бы даже он это и захотел, то не смог бы, так как Варечка была для него существом иного, не нашего мира. Поэтому он, при встречах с ней, не намекнул ей ни разу о своем чувстве, а страдальчески краснел, предпочитая глядеть на нее издали, а если приходилось с ней говорить, то окончательно терялся и нес какую-то несуразицу, выражая ее короткими, непонятными фразами без начала и конца. Но потом, позднее, всю свою длинную и сумбурную жизнь он вспоминал ее с самым теплым чувством, и только под конец этой жизни узнал, что был невольной причиной гибели этой девушки.

Весной четырнадцатого года он без всякого огорчения узнал, что на второй курс он не перешел. Такому отношению к этому событию, кроме его беспечного характера, помогало и то обстоятельство, что его отец, тоже Иван Иванович, имел в одном провинциальном приуральском городе небольшую спичечную фабрику и мог снабжать сына необходимыми средствами. Иван Иванович старший, также как и сын, был в душе больше поэтом, чем фабрикантом. Только, если сына его поэтическая настроенность толкала в

театр, то у отца она проявлялась в совершенно захватившей его любви к голубям. Различного рода турманы с их воздушными фокусами были для него важнее всей его фабрики. Вообще, самое название «фабрика» было слишком громким, так как, кроме хозяина, работал там, так называемый управляющий, посещавший ее на два-три часа далеко не каждый день, двое инвалидов рабочих, тоже не склонных проявлять особое рвение, да пара мальчишек, занятых тем, что носились по городу, разыскивая хозяину улетевших голубей. Был еще мастер Михаил Евстигнеевич Федичкин, который, строго говоря, и был главным поставщиком спичек на всю округу. Во всяком случае, фабрика давала какую-то прибыль, благодаря которой и отец и сын могли удовлетворять свои духовные запросы — один в театральном зале, другой на голубятне.

Надо сказать, что — оба Иваны Ивановичи обладали редкой и большой деликатностью — всякая грубость, как бы она выражена ни была, корбила их. Говоря с кем-нибудь, они никогда не перебивали своего собеседника и внешне очень внимательно слушали, поддакивая ему, хотя в это время часто думали совсем с другим.

Поэтому, когда в начале лета 14-го года сын вернулся к отцу и оповестил его о своих грустных университетских успехах, то отец промышал что-то вроде того, что времени впереди много и начал с жаром рассказывать об успехах своих турманов, которые оказались куда вертлявее в воздухе, чем турманы другого любителя голубей, городского головы Ядрышникова. Выслушав внимательно отца, сын, должно быть, по ассоциации стал рассказывать о постановке «Синей Птицы», на что отец, тоже не без резона, стал описывать устройство новой мудреной голубятни. Сын на это ничуть не обиделся и рассказал отцу о слышанной им у Зимина опере «Золотой петушок».

В подобных разговорах, прерываемых время от времени поездками с ночевкой на рыбалки, коротали, они время до того страшного дня, в который в клочки была порвана страница мирной жизни земли и история свернула на непроходимую — непроезжую до-

рогу, то застревая в глухой трущобе, то по колену увязая в топком болоте.

В жаркий июльский день 14-го года непривычно - большие буквы газетного листа резали глаз: «Божьей Милостью, Мы Николай Второй»... Молчали, прочитав Царский манифест об объявлении войны и отец и сын. Потом, также не делясь мыслями, разошлись.

Иван Иванович младший медленными шагами задумчиво шел по улицам города. Минут через двадцать он был уже на окраине. Вдали синели в горячем воздухе вершины Урала, темно-зеленые массивы леса закрывали к нему путь, слева сверкала река, пылью покрытая дорога убегала вдаль — все было до мелочей знакомо, просто, обычно. И, в то же время, казалось Ивану Ивановичу, что все окрасилось в какие-то новые тона. Так перед грозой, когда темная туча медленно затягивает небо, кажутся в особом солнечном свете еще не затемненные ею поля. Иван Иванович сел на придорожный камень и задумался серьезно, как еще никогда в жизни не задумывался. Уже начало смеркаться, когда он встал и направился домой с твердо-вынесенным решением.

Изменился в последующие дни вид сонного городка. Тянулись из окрестных деревень к управлению воинского начальника телеги с призывными; причитали бабы, жены и матери по сыновьям и мужьям, пиликали гармонии, раздавались песни отправляемых на далекий неведомый запад молодых солдат. Как в базарные дни забита была площадь телегами с маленькими, лохматыми лошаденками; катились мимо деревянного желтого вокзала откуда-то с востока длинные эшелоны, в которых тоже звенели солдатские песни; незнакомые лица проезжих офицеров мелькали по улицам, и совсем нереальной, небывавшей никогда казалась жизнь, еще неделю назад, спокойная, не торопясь отсчитывавшая дни свои.

Старик полковник Димитриев, воинский начальник, с которым Иван Иванович часто ходил на рыбалку, подчеркнуто-официально принял его в своем кабинете: — «Чем могу служить?» — но уже в следующую минуту просиял приветливой улыбкой и по стариковски прослезился, узнав, что Иван Иванович пришел к нему, как к старому знакомому, узнать, как оформить свое решение идти добровольцем в армию.

Старший Иван Иванович молча выслушал слова сына о его поступлении в армию и также молча вышел. До вечера он сидел в своей комнате, а вечером вышел к сыну и сказал коротко и спокойно: «Иди. Это хорошо». Больше об этом ни отец, ни сын не говорили ничего.

Перед отъездом отслужили молебен и отец, благословляя Ивана Ивановича сказал: «Помнишь, у Толстого, — что старый Волконский сказал сыну? «Поезжай с Богом!» И Иван Иванович уехал.

Ему удалось то, о чем он мечтал — он попал в №-ский Уланский полк. С лошастью он был знаком с детства, в седле держался крепко, строевое учение давалось ему легко. Физически сильный и здоровый, он научился владеть оружием быстро и уже почти не отличался ничем от старых улан.

Стучал колесами эшелон с уланами, увозя их к туманному, грозному западу, и в памяти Ивана Ивановича воскресали блестящие дела конницы, о которых он читал. Лежал ли он на нарах теплушки, дневали ли около лошадей — перед его глазами маячили все время эти картины. Иногда, не особенно часто, правда, вдруг выплывал образ Варечки Метлиной, и тогда ему становилось грустно. Но тут же сразу загоралась и другая мысль о том, как он после войны вернется в Москву в университет, если не героем, то чем-то вроде этого и тогда... Что будет тогда Иван Иванович точно не знал сам, но уверял себя, что тогда-то он сумеет сказать Варечке все. Так весь во власти фантазий о лихих кавалерийских делах не то Платова, не то Мюрата и в мечтах о Варечке Иван Иванович прибыл на фронт.

Но когда он с полком оказался на рубеже двух, вступивших в роковое единоборство сил, его постигло первое разочарование. Очень скоро ему пришлось засесть с остальными в грязные, глубокие, унылые окопы. В упорной изнуряющей борьбе шли месяцы. Один год, второй — пули щадя обходили его. Иван Иванович возмужал, огрубел, стал образцовым уланом, но всякий раз, когда начальство хотело отправить его в военное училище, он умолял оставить его простым вольноопределяющимся. Война не убила в нем склонности к романтизму, и ему импонировало

больше остаться солдатом, чем одеть офицерские погоны. Раз он ездил ненадолго в отпуск к отцу. Иван Иванович старший за это время одряхлел и даже роздал приятелям своих голубей. «Не до них теперь», — сказал он сыну. — «Вот победите, тогда снова заведу».

Но все же, сидя в глубокой щели окопа, Иван Иванович мечтал о том, как прорвав и разметав, наконец, колючую полосу вражеских окопов, он со своими уланами вырвется на широкий простор немецких полей и, сверкая шашкой, понесется к гранитному серому Берлину. А после этого, с тремя полученными им солдатскими Георгиями на студенческой тужурке, войдет в свой родной университет и предстанет в этом блеске перед своей дамой сердца. Тогда-то он сумеет ей сказать, как в самом близком соседстве со смертью, под огнем он думал о ней. И тогда она поверит и поймет его и, разумеется, ему студенту, солдату, герою протянет свою руку.

Но и на этот раз все мечты Ивана Ивановича растаяли и исчезли. В серый мартовский день, перед выстроенным полком сумрачный командир прочел приказ об отречении. Политическими вопросами Иван Иванович не интересовался никогда. Он просто так сжился с существующим порядком, что ничего иного и не представлял, и все случившееся не умещалось в его голове и сердце. Так, вероятно, чувствовал себя какой-нибудь карась, вытасченный Иваном Ивановичем из воды на непонятный и страшный берег. Все казалось нелепым сном, от которого нужно поскорее проснуться. Иван Иванович тряс головой, чтобы проснуться от страшной были, но не мог. В это время пришла телеграмма от управляющего о смерти отца. Иван Иванович очень любил своего старика, но окружающая обстановка и настроение потерявшего себя человека смягчили и затушевывали душевную боль. Отправив управляющему доверенность на ведение дел, Иван Иванович остался на разваливающемся фронте.

Но, однажды, после того как он в первый и последний раз, выступил на каком-то митинге, его вызвал к себе тайком командир эскадрона и настоятельно посоветовал ему немедленно уехать, так как добром его выступление окончиться не могло.

Без погон, с документами на чужое имя, выданными ему командиром эскадрона, небритый и грязный, с вещевым мешком за плечами, Иван Иванович двинулся домой. В мешке, кроме пары белья и сапог, лежала аккуратно свернутая в трубку и завернутая в толстый пергамент, фотография группы студентов и курсисток, компании его университетских лет. В этой группе была и Варечка Метлина и, разумеется, только ради этого и берег так Иван Иванович старую фотографию. Много лет спустя, уже перед своим концом, Иван Иванович часто останавливался мыслью на том, что если бы он потерял в тогдашней неразберихе этот мешок, то избежал бы той душевной боли и борьбы с собой, которую ему пришлось пережить.

Когда, к декабрю, он кое-как доехал до Москвы, она встретила его голодом, грязью, вспыхивающими то там, то тут выстрелами — всеми атрибутами революционно-бунтарских дней.

Решив отдохнуть в Москве хоть два-три дня, Иван Иванович прямо с вокзала направился в университет, надеясь встретить там кого-нибудь из знакомых студентов, у кого можно было бы остановиться. Подходя к университету, он вспомнил свои фронтовые мечты и усмехнулся — слишком велика была разница между этими мечтами и действительностью.

Не знал, не гадал, не думал Иван Иванович, что приехав в потерявшую свой облик Москву, он, выйдя из своего вагона, с каждым шагом приближается к моменту, который, благодаря ему, расколется вдребезги три жизни и через много лет ляжет совершенно невыносимым гнетом и на его плечи. Не знал, не гадал бывший студент, что сам того не предполагая, он несет с собой пролог и зачаток драмы, перед которой все виденные им театральные драмы покажутся детской игрой. Не знал, не гадал бывший вольноопределяющийся улан, что он сам явится главным виновником того бесовского действия, что откроется ему на самом склоне жизни и, смяв последние дни его, оборвет их, бросив в неразрешимый хаос противоречий и сомнений потерявшую себя его собственную душу.

И не зная всего этого, Иван Иванович шел спокойно, разыскивая друзей. В университете он не нашел никого, кроме старого швейцара, который шарахнулся от

него, не признав в грязном солдате бывшего студента. Занятий в университете не было второй месяц и, никого не встретив, Иван Иванович вышел на Моховую и, немного подумав, повернул направо к Пречистенским Воротам.

Перед самой смертью он мучился вопросом, почему он повернул направо. Какая сила толкнула его идти туда, куда он пошел? Что руководило им тогда? Но сколько он ни думал потом, так ни до чего и не додумался, кроме сознания своей невольной, но не прощаемой вины, своего невольного преступления.

И тут на первом же квартале он вдруг встретил однокурсника студента Андрюшку Коренева. Этот Корнев был своего рода достопримечательностью университета. Весь первый курс знал его только как Андрюшку и, когда кто-нибудь называл его случайно по фамилии, то собеседник задумывался — «Корнев? Позвольте, кто это Корнев?», хотя, наверное, был с ним в самых лучших отношениях. Более беззаботных и безалаберных людей Иван Иванович не встречал за всю свою жизнь. На какие средства жил Андрюшка, не знал никто. Из дома от старухи матери, вдовы заштатного дьякона, откуда-то из Забайкалья он не получал ничего. От уроков он отказывался, не желая, по его словам, лишать себя личной свободы комнаты менял, как правило, каждый месяц, искренне удивляясь, почему хозяйки так преклоняются перед презренным металлом, питался, вообще, неизвестно где и как. Но никогда и никто не видел, чтобы Андрюшка был грустен или удручен своим положением. Если собиралась какая-нибудь веселая компания однокурсников, то прежде всего считалось необходимым разыскать Андрюшку, так как своим природным весельем и юмором он вносил настоящее хорошее веселье. Впрочем, и сам Андрюшка всегда искал такую компанию, ибо оставаться самим с собой он органически не мог. Рассказывали, что однажды во время своего очередного переезда на новую квартиру, он узнал, что его ждут приятели, справляя чьи-то именины. Не раздумывая долго, он дал извозчику адрес новой квартиры, куда тот должен был отвезти его единственный чемодан, а сам отправился к имениннику. Извозчик по данному адресу не поехал, а вместе с чемоданом исчез в неизвестном направле-

нии. Таким образом Андрюшка потерял и чемодан и его содержимое, заключавшееся в рыболовных снастях, книжке стихов Апухтина, фотографии покойного дьякона в облачении и некоторого количества белья, которое и было позднее с лихвой возмещено бывшими на именинах гостями. К потере этой Андрюшка отнесся философски: — «Значит, такая судьба». Был он непререваемым участником всех благотворительных вечеров, выполняя там всевозможные обязанности от конферансье до билетера. Меньше всего он думал об учении, но и в своих ответах на зачетах, о которых он имел весьма туманное представление, Андрюшка как-то умел вносить нотку юмора. Ходили слухи, что на одном из таких веселых зачетов старый и строгий профессор, прослушав несусветное вранье Андрюшки, задумчиво произнес: — «Да, коллега Коренев, вы действительно не коллега и не Коренев, а на самом деле — Андрюшка».

С этим-то Андрюшкой и столкнулся Иван Иванович, выйдя из университета. Когда он окликнул Андрюшку, тот сперва шарахнулся в сторону при виде грязного, оборванного солдата, но потом, узнав, кто его позвал, обрадовался искренне. Он коротко рассказал Ивану Ивановичу о московских событиях и жизни и позвал его к себе отдохнуть и переночевать несколько ночей.

— «Адрес мой легко запомнить: — Мертвый переулок дом номер семь. Отсюда недалеко — по Пречистенке пятый переулок направо. Понимаешь ты, как последовательно все выходит — и жизнь совсем собачья и переулок Мертвый», — не мог обойтись без смеха Андрюшка. Иван Иванович совсем было согласился пойти к нему, как вдруг Андрюшка, приняв торжественный вид, добавил: — «Только, брат, предупреждаю — я теперь не один», — и на вопросительный взгляд Ивана Ивановича добавил: — «Женился. Сочетался самым незаконнейшим браком и самым незаконнейшим образом. У нас там в Мертвом переулке есть созвучная ему церковь — Успения на могильцах (там когда-то чумное кладбище было) — так вот в ней и повенчался. Ты вникни и постарайся понять — освобожденная от векового ига эксплуататоров, гнета и прочих страхов Москва, ликующая от свободной, счастливой жизни и такой же счастливый студент Ко-

ренев, проводящий медовый месяц в Мертвом переулке после венчания в церкви чумного кладбища. Это, знаешь, — сплошная символика». — И на вопрос Ивана Ивановича, кто же спутница жизни безалаберного Андрюшки — важно ответил: — «Варечка Метлина, то бишь Варвара Сергеевна Коренева».

В водовороте и путанице событий последних месяцев Иван Иванович как-то упустил из своей памяти Варечку. Когда же все-таки он вспоминал ее, то воспоминания были бледными и расплывчатыми. Он сам этому удивлялся, но, должно быть, просто повзрослев за это время, понял, что теперь не до романтики ни ему, ни ей. Он искусственно уверял себя, что это не так, что на него действуют усталость и тяжелые переживания, силился воскресить в своей душе прежние минуты, но тут же все это забывал, столкнувшись с очередными препятствиями, поставленными ему жизнью. В конце концов, как-то однажды, трясаясь в холодной теплушке и не найдя обычного утешения в мыслях о Варечке, Иван Иванович решил не мучить себя больше этой раздвоенностью — «Встретимся — посмотрим. А не встретимся — что ж: значит не судьба».

Но сейчас слова Андрюшки его обожгли. Это не было ревностью или болью потери. Это была просто злость на Варечку, не дождавшуюся его, хотя ждать — у нее не было никаких оснований, а кроме того, против воли хотелось порисоваться перед самим собой тяжестью переживания, которого в сущности не было. Но так или иначе Иван Иванович понял, что к Андрюшке ему идти не следует, и, пообещав быть у него вечером, он, якобы по делу, перешел на другую сторону улицы и скрылся в толпе. — «Так вечером ждем», — услышал он вслед голос Андрюшки. — «Как же, жди!», — со злостью на всех и вся подумал Иван Иванович и решив пробираться домой, забрался в трамвай, шедший к Ярославскому вокзалу.

И там, пробираясь с трудом в густой, орущей, грязной толпе он вдруг услышал, что его кто-то окликнул. Это тоже был его однокурсник студент Волокитин. Он происходил из богатой, родовитой, культурной семьи, учился отлично, был талантливым музыкантом, писал неплохие стихи под Блока, одевался у лучших портных, держался замкнуто, но не заносчиво,

был всегда отменно вежлив со всеми и выделялся везде, в любой толпе, своей поразительной, классической красотой. И сейчас на вокзале, в этой одуревшей, вонючей толпе, он резал глаза и своим холеным прекрасным лицом и еще более тем, что был одет также отлично, как и прежде, только вместо студенческой шинели на нем была дорогая шуба с бобровым воротником. Хотя Волокитин и был в той же компании студентов, в которой вращались Иван Иванович и Андрюшка, но Иван Иванович его не долюбивал, а потому и разговор их был короткий. Узнав, что Иван Иванович пробирается домой, Волокитин чуть усмехнулся: — «Поезжай, только и там скоро так же будет», — сказал он, указывая взглядом на толпу, и спросил кого из студентов он видел. — «Андрюшку Коренева видел; клоун цирковой, женился», — со злостью бросил Иван Иванович.

— «А ты, — начал Волокитин и на мгновение запнулся. — «А ты не знаешь, где он живет? Ведь адресный стол не действует — где, кто и как живет и не узнаешь». И ни о чем не думая, Иван Иванович назвал адрес Андрюшки.

И в этот самый момент сомкнулось последнее звено той цепи, что непереносимой тяжестью легла на плечи Ивана Ивановича в последние, еще далекие, дни его жизни и исковеркала, смяла, сломала жизни еще трех человек. И через много лет, перед своим концом Иван Иванович мучительно искал объяснения всего происшедшего, силился расшифровать тот шифр, который вручила ему в этот день судьба, столкнув его и с Андрюшкой и Волокитиным, путался в тенетах противоречий, был сам себе и прокурором, требовавшим самой строгой кары, и защитником, робко бормочущим о нелепом случае, оправдывавшим его, и успокоился только тогда, когда успокоилось, остановившись на каком-то толчке его больное, изношенное сердце.

Глава 2

Только к маю месяцу добрался Иван Иванович домой. Такому долгому путешествию способствовало, во-первых, движение поездов, которые шли, руководствуясь революционной свободой, тогда, когда хотели,

а, во-вторых, Иван Иванович вообще не торопился, предвидя, что его дома ждет одна отцовская могила. Он жил подолгу в Ярославле, Вологде и Вятке, подрабатывая себе на жизнь всем, что попадется под руку.

Ранним утром он подъехал, наконец, к родному городу. Старый деревянный вокзал встретил его так, как подобает всякому приличному революционному вокзалу. Все стены были заклеены декретами, указами, распоряжениями, а поперек платформы полоскался по ветру натянутый на двух палках плакат — «Смерть кровопийцам — буржуйам». Далее Иван Иванович заметил, что надпись «Зал 1-го и 2-го класса» была зачеркнута, а под ней красовалось изречение — «Никаких классов — свобода, равенство и братство». Должно быть, для большей убедительности под этими словами было русскими буквами изображено — «Либерьте, егалите, фратерните».

Иван Иванович осмотрел эти перлы свободного творчества и пошел к своей фабрике. За время путешествия он отпустил основательную бороду и не боялся быть узанным.

Над воротами фабрики он увидел новую вывеску, гласящую — «Главгубспичпром им. Дем Бедного». Слева на заборе какой-то враг народа и революции черной краской написал, перефразировав слегка две строчки популярного романа — «Спички были, спичек больше нет». Надпись забелили известкой, но черные буквы просвечивали сквозь нее подозрительно коричневым цветом.

Не задерживаясь около Спичпрома Иван Иванович направился к дому управляющего, но на крыльце дома увидел троих оборванных ребятишек, на которых кричала, высунувшись из окна толстая баба. Было вполне ясно, что управляющий здесь больше не живет и Иван Иванович остановился в затруднении, к кому же ему направиться. Но тут на память ему пришел бывший мастер фабрики Михаил Евстигнеевич Федичкин, который мог быть только пролетарием, а следовательно, находился вне сферы той части населения, о которой взывал плакат на вокзале. Конечно, этот Федичкин мог стать теперь тоже властителем жизни и смерти окружающих, но у Ивана Ивановича больше выбора не было.

Еще издали он увидел своего бывшего мастера.

Тот сидел на ступеньках своего домишки и с ожесточением колотил молотком по подошве старого сапога, прилаживая к нему подметку.

Когда Иван Иванович поравнялся с ним, тот, сперва посмотрел на подошедшего бородатого солдата в засаленной шинели, а потом довольно выразительно отвернулся и плюнул. Из этого первого приветствия Иван Иванович понял, что с Федичкиным ему можно говорить спокойно.

— «Михаил Евстигнеевич, вы не узнаете меня?» — задал он вопрос.

Федичкин уронил сперва молоток, потом сапог, потом внимательно огляделся вокруг и кивнул головой в направлении двери, приглашая его в дом. Иван Иванович вошел вслед за хозяином в кухню, где Федичкин неожиданно заключил его в объятия, причем Иван Иванович ощутил довольно крепкий запах самогона.

— «Иван Иванович, голубчик», — лепетал мастер. — «Родной мой. Папаша, Царство Небесное, скончался, сынок как нищий. Фабрику сволочи главспичкой сделали. Восемнадцать лет служил, выгнали, буржуйский холуй, гсворят...» — У старика от радости и волнения текли не совсем пьяные слезы.

— «А у меня, мой-то стервец Яшка большевиком стал», — продолжал Федичкин. — «Учил ведь я его. Все отдавал. Гимназию окончил. На войне до поручиков дослужился. — «Ты», — говорит, — «папаша, отстал ото всех. Ты ситуации не понимаешь».

Из дальнейшего разговора выяснилось, что сын мастера, которого Иван Иванович отлично помнил, стал начальником какого-то карательного отряда и совсем терроризировал отца.

И после того, как Иван Иванович пробыл в кухне минут десять, хозяин увел его в сарай, где и спрятал за поленницей дров, боясь возвращения своего Яшки. В этот закуток он принес сена, чтобы сыну бывшего хозяина было помягче, а потом миску горячих щей, хлеба и полбутылки самогона. Все время чутко прислушиваясь не слышно ли шума, он рассказал Ивану Ивановичу о событиях в городе, о борьбе новой власти с врагами народа, об убийстве управляющего, а потом совсем шепотом, на ухо, о слухах, что из Омска идет на них какая-то Белая Армия и

гонит армию красную. — «Вам, Иван Иванович, туда надобно пробираться — здесь все одно узнают, хоть и бороду вы отпустили. Вот дождетесь вечера — я вас выведу отсюда, а вы на вокзал пробирайтесь, да к Омску и езжайте. Даст Бог с белыми вернетесь, снова фабрику в ход пустим, тогда и панихидку вдвоем на могиле папаши отслужим». Иван Иванович еще раньше слышал какие-то неясные разгворы о начавшейся борьбе, но особенно этому не верил. Но Михаил Евстигнеевич слышал это от сына, а последний был, конечно, в курсе дела.

Когда Иван Иванович съел почти всю миску щей, Федичкин посоветовал ему отдохнуть, а сам ушел в дом.

— «Неровен час, вернется Яшка заметит, что тогда обоим нам не сдоброват». — Последовав совету мастера, Иван Иванович растянулся на сене и через пять минут крепко заснул. Поздно вечером, когда уже потухла заря, Федичкин его разбудил. — «Пойдемте, Иван Иванович. Моего что-то сегодня долго нет — надо временем пользоваться». — Он принес Ивану Ивановичу буханку хлеба, вареного мяса из щей, десяток яиц и даже соли в бумажке. Они вместе дошли до конца переулка. При прощании Федичкин его крепко обнял и перекрестил. — «Заместо папаши благословляю», — всхлипнул он. — «Ворочайтесь скорее».

И опять, как четыре года назад, Иван Иванович уехал из родного города на войну. И опять, как в первую войну, мечтал он, вступив в Белую Армию, о блестящих победах, вступлении в Москву, своем эффектном появлении в освобожденном университете, и только в цепи этих мечтаний не было того звена, которое раньше именовалось Варечкой Метлиной.

Но снова его мечты остались мечтами. Вместо Москвы, прошагав через всю Сибирь, он в 21-ом году оказался во Владивостоке. За поход он получил чин прапорщика. — «Это даже красиво», — рассуждал Иван Иванович. — «Участник двух войн, кавалер трех солдатских Георгиев, студент Московского университета и прапорщик гражданской войны — определенно это звучит красиво». Но и эта красота окончилась и в 22-м году он попал в Харбин. За два с половиной года, проведенных там, он перепробовал немало про-

фессий. Работал на канатной фабрике, скоро разорившейся, заведывал мертвецкой при городской больнице, служил охранником в ночном игорном клубе, ездил извозчиком, набивал чучела птиц, чистил трубы и, наконец, устроился в полицию. В это самое время Иван Иванович узнал, что какая-то организация отправляет студентов, желающих продолжать образование в Америку. Иван Иванович сразу отправился туда, показал тщательно хранимые им студенческие документы, а для большего доказательства фотографическую карточку группы студентов, где были и он и Варячка и Андрюшка и Волокитин.

Ивану Ивановичу повезло и через полгода он был отправлен с группой студентов в Шанхай, откуда они должны были быть доставлены пароходом в Сан-Франциско. Английского языка он не знал совершенно, но это его не пугало. Пароход должен был идти до Сан Франциско не меньше двух месяцев и Иван Иванович резонно решил, что за это время он язык подучит основательно. Но, вероятно, судьба поставила себе задачей преследовать его. Как только пароход отошел от Шанхая, так сразу же началась качка. Она прекращалась только на то сравнительно короткое время, когда пароход заходил куда-нибудь для погрузки. Иван Иванович в своих рассуждениях об изучении английского языка в пути, этот момент упустил. Как человек сугубо сухопутный, он немилосердно страдал от морской болезни и, когда пароход пристал в Сан-Франциско, измученный переездом Иван Иванович не только не выучил ни одного английского слова, но и русские произносил с трудом.



А в тот самый вечер, когда Иван Иванович уехал из Москвы, его с нетерпением ждали: Варя, не предполагавшая о его нежных чувствах к ней, и Андрюшка. Из полученных от родных из Минска продуктов Варя приготовила роскошный по тем временам ужин. Андрюшка, ожидая приятеля, был особенно в ударе и не переставая балагурил. Около девяти часов раздался звонок. Оба они бросились открывать дверь. Но вместо Ивана Ивановича в переднюю вошли два человека с винтовками: — «Вы гражданин Коренев?» —

спросил один из них и на утвердительный ответ Андрюшки прибавил: — «По распоряжению Чрезвычайной комиссии по борьбе с контр-революцией вы арестованы. Следуйте за нами. Приказ об аресте гражданина Коренева велено передать вам», — протянул он бумагу насмерть перепуганной Варе. Дверь стукнула — Варя осталась одна. Сквозь застилавшие глаза слезы она прочитала под текстом приказа об аресте отчетливо выведенную фамилию — С. Волокитин.

Глава 3

Об Америке Иван Иванович имел весьма смутное представление — ему она рисовалась страной небо-скребов, гангстеров, ковбоев и миллионеров. Из этих трех профессий Иван Иванович предпочитал последнюю, но в крайнем случае, соглашался, как бывший кавалерист, на вторую. Но, сойдя с опостылевшего парохода, он на берегу ковбоев не встретил, а миллионеров тоже что-то не было видно. Положение его было, как он сам позднее говорил, не пиковое, а пиковейшее. Без языка, без денег, без знакомых он стоял, не зная что делать дальше, и, несмотря на все отвращение к морским путешествиям, у него мелькнула малодушная мысль прибрататься снова на пароход, который через несколько дней уходил обратно в Шанхай.

Но к счастью, один из его соплавателей был отзывчивым и чутким человеком. Он познакомил Ивана Ивановича со своими родственниками, встретившими его, и те приняли в Иване Ивановиче горячее участие. Они забрали его с собой и на другой день устроили в ресторан мыть посуду. Работа была легкая, так как обязанности судомойки выполняла машина, а ему нужно было только опускать туда грязные тарелки и принимать их уже вымытыми. Он проработал там четыре месяца, стал чуть-чуть понимать и отвечать по-английски, купил себе костюм на благотворительной распродаже, как, вдруг, жизнь его волею судьбы, изменилась в корне.

Жил он у родственников своего благодетеля, снимая у них небольшую каморку. И вот однажды вечером, в выходной день, к нему постучался хозяин квартиры и позвал его в гостиную. Там сидел какой-то

жгучий брюнет с небольшими бачками, высокого роста, в умопомрачительном галстуке, бриджах и высоких желтых сапогах со шпорами. Не ожидая, пока их познакомят, брюнет, звякая шпорами, вскочил с места, схватил Ивана Ивановича за руку и, сильно ее пожимая, крикнул высоким тенором: — «Король Альфонс — хорошо, сар Николая тоже хорошо, Ленин — шворочь». Далее выяснилось, что брюнета зовут Дон Игнацио, что он испанец, самый уожеженный монархист, владелец большой конюшни скаковых лошадей, и ему нужен хороший тренер. Узнав от хозяев об Иване Ивановиче, его кавалерийском прошлом и его убеждениях, экспансивный испанец сразу решил предложить ему у себя службу. Условия были отличные, и на другой день Иван Иванович уехал с Доном Игнацио в его имение.

Как большой знаток кавалерийского дела, он вполне оправдал доверие Дона Игнацио, и хозяин был им очень доволен, что выражалось в систематической прибавке жалования. За три года, которые провел Иван Иванович на этой работе, он выучил довольно сносно испанский язык, а его хозяин значительно увеличил свои познания в области языка русского. И тому и другому особенно способствовало то, что почти каждый вечер Дон Игнацио приглашал своего тренера к себе на ужин, во время которого они на русско-испанском языке решали мировые проблемы или рассказывали друг другу один об Испании, другой — о России. Время от времени Дон Игнацио куда-то уезжал на несколько дней и обычно возвращался в очень мрачном настроении. Однажды, на исходе третьего года, он вернулся особенно расстроенным и целую неделю Иван Иванович обычных приглашений на ужин не получал. Когда же наконец он это приглашение получил, то был очень удивлен, застав своего хозяина в слезах. — «Я сильно думала о вас», — начал Дон Игнацио всхлипывая. — «Вы моя лучшая друга. Вы будете поехать в Испанию, я напisyвал три письмо моим друзьям. Они вас там будут протезировать», — и после этого Дон Игнацио протянул Ивану Ивановичу три больших конверта с адресами его испанских друзей. Вслед за этим выяснилось, что во время

своих таинственных отлучек испанец со всем пылом горячей южной крови увлекался карточной игрой и почти всегда неудачно. В последний раз, потеряв голову от азарта, он проиграл все: и лошадей, и имение, и оказался примерно в том же положении в каком был Иван Иванович, сойдя с парохода на берег Америки.

Простились они очень сердечно и хозяин на прощание устроил своему тренеру гала-ужин с шампанским и трогательной русско-испанской речью. Иван Иванович в Испанию не поехал, а вернувшись в Сан-Франциско, снова по старой памяти устроился мыть посуду в тот же ресторан, в котором служил до испанца.

Позднее, уже богатым человеком, Иван Иванович часто говаривал своим друзьям, что его жизнь — это сплошная карусель самых неожиданных и диких случайностей. И он был вполне прав, так как и на этот раз, в скромной должности судомоя его ожидала новая, совершенно невозможная неожиданность.

Однажды вечером во время работы он зачем-то вышел из кухни в помещение ресторана. Было уже около двенадцати часов. Все столики были заняты, воздух синел от табачного дыма и какая-то сладкая гавайская мелодия одновременно и усыпляла и возбуждала. И вдруг, покрывая звуки музыки, чей-то внушительный бас оглушил Ивана Ивановича: — «Вольноопределяющийся Логинов, это вы? Если вы, то пожалуйста сюда». Ошеломленный Иван Иванович устремил свой взор туда, откуда раздался этот бас и увидел за столиком в обществе двух дам своего командира эскадрона времен Германской войны, того самого, что спас его, отправив с фронта домой и дав ему фальшивые документы.

Забыв о своем судомойном халате, он подлетел к столику и по старой привычке вытянувшись, отчеканил: «Здравия желаю, господин ротмистр». Командир посмотрел на него с упреком и заявил: — «Во-первых, я — господин полковник, во-вторых, почему вольноопределяющийся славного уланского полка одет в какой-то дурацкий халат, в-третьих, потрудитесь его немедленно сбросить, в-четвертых, после этого я пред-

ставлю вас своей жене и ее сестре, в-пятых, вы присоединитесь к нам и, в шестых, после отпразднования встречи двух сослуживцев, вы пойдете к нам ночевать. О будущем разрешите беспокоиться мне».

Иван Иванович стремительно бросился в кухню, скинул халат, надел пиджак и, не обращая внимания на свое ресторанное начальство, вылетел в зал к столу своего командира. Тот церемонно представил своей жене и ее сестре, ярко рыжей красавице «самого блестящего вольноопределяющегося не только их полка, но и всей русской конницы», а узнав, что Иван Иванович уже прапорщик, совсем расчувствовался и предложил ему сразу же выпить на брудершафт. Иван Иванович вообще не пил, но благодаря такому потрясющему случаю, уже через час был в окончательно разобранном виде. Он с трудом помнил, что рыжая красавица, которую как нарочно звали Варей, дарила его довольно обещающими взглядами, что потом держа ее под руку, или вернее держась за ее руку вышел с командиром и его женой на улицу, что они сели в автомобиль, что потом подымались по какой-то лестнице, а потом все куда-то исчезло, провалилось.

Пришел в себя он от совершенно невыносимой головной боли и такой же невыносимой жажды. Оглядевшись он увидел, что лежит раздетый на кровати под одеялом в незнакомой комнате. У другой стены стояла вторая кровать и на ней повернувшись к нему спиной кто-то спал. Ивану Ивановичу что-то смутно напоминала ярко рыжая шевелюра спящего. Он стал вспоминать приключение прошлого вечера и постепенно дошел и до сестры жены своего командира. Его охватил ужас, так как он понял, что на другой кровати спит не незнакомец, а именно эта самая рыжая Варя. Не зная, что делать, он вдруг почувствовал сильный холод и замер под своим одеялом, боясь пошевелиться. Но этот ужас дошел до апогея, когда рыжая голова вдруг громко зевнула и стала шевелиться. Иван Иванович малодушно натянул одеяло на голову. Лежа под ним, он услышал, что соседка его еще раз сладко зевнула, потом ее кровать заскрипела, потом он услышал, что она ищет нсгами туфли и, в довершение все-

го, услышал ее голос: — «Машка, вставай: уже десятый час». Если бы в этот момент ему предложили на выбор, оставаться ли в этой теплой постели или оказаться под ураганным огнем тяжелой немецкой артиллерии, то он бы предпочел последнее.

Окликнув еще раза-два Машку, соседка встала, подошла к кровати Ивана Ивановича и, несмотря на его отчаянное сопротивление, сдернула с его головы одеяло. В следующий момент Иван Иванович зажмурился и свернулся калачиком от отчаянного оглушительного визга.

Через час, когда все персонажи вчерашней встречи в ресторане сидели за чайным столом, выяснилось все. Оказалось, что командир Иван Ивановича со своей женой и ее рыжая сестра Варя живут в одной квартире. В комнате Вари стояло две кровати — на одной спала она сама, а на другой ее близкая приятельница, которая, кончая свою работу три раза в неделю поздно вечером, ночевала у нее, так как жила в другом конце города. Когда поздно ночью, отпраздновав встречу, вся компания вернулась домой, у всех — и мысли и вообще способность мыслить оказались в весьма плачевном состоянии. Не раздумывая долго, Ивана Ивановича уложили на кровать Вариной приятельницы, потом потушили свет и на другую кровать легла сама рыжая хозяйка комнаты. Проснувшись утром тоже с головной болью и перепутав все дни и часы, Варя решила, что на другой кровати спит ее приятельница, но сдернув с головы Ивана Ивановича одеяло, увидела небритую, опухшую физиономию. Все это с большим трудом было восстановлено при участии всех сидящих за столом, причем каждый вносил в постепенно оживавшую картину то одну то другую подробность.

К обеду все обстоятельства предыдущей ночи были точно выяснены и по этому случаю на столе опять оказался графин, к которому, впрочем, на этот раз Иван Иванович благоразумно не прикоснулся.

После обеда все действующие лица в самом блаженном настроении принялись обсуждать, куда же устроить Логинова. Рыжая Варя, которую по ее жела-

нию звали все Варбе, предложила первая устроить его пожарником: — «Это подходит к специальности Ивана Ивановича», — заявила она и, в доказательство резонности своего предложения, добавила, что он в прошлом был кавалерист. Впрочем, когда выяснилось, что пожарники больше на лошадях не ездят, а пользуются автомобилями, она свое предложение сняла. Сам командир служил клерком в какой-то конторе, но там нужно было знать хорошо язык, чем Иван Иванович похвастаться не мог. Предложений было много, но все они более или менее походили на предложение Варбе. И снова, который уже раз, случай выручил Ивана Ивановича. Под вечер раздался звонок и в гостиную вошел поразительной худобы и роста человек с длинными седыми волосами и в старомодном пенсне на черной ленте. Увидев его, командир всплеснул руками: «Вот кого я-то и позабыл». Оказалось, что это редактор местной русской эмигрантской газеты. Так как контора, где служил командир, давала в газету объявления, то через десять минут Иван Иванович был принят в редакцию газеты на должность экспедитора с предупреждением, что ему придется, наверное, выполнять и другие работы. Это предупреждение оказалось в дальнейшем весьма важным, так как ему приходилось во время своей службы в газете бывать корректором, уборщиком, помогать в типографии, вытаскивать и грузить газеты на грузовик, быть монтером, заведующим хозяйством. Кроме того, время от времени ему приходилось замещать сотрудника, ведущего хронику местной жизни, когда последний недели на две-три исчезал и являлся после этого в весьма плачевном виде, говорил подозрительным басом и был несколько дней после прихода в настроении, когда жестокие угрызения совести и злость на непонимающих его людей делали его совершенно неприемлемым нигде, кроме этой редакции.

На этой своей работе Иван Иванович впервые столкнулся с теми политическими страстями, которыми больна всякая эмиграция: редактор Аристарх Семенович Кучин был человеком крайних правых взглядов, но никому этих взглядов не навязывал, людей с другими взглядами не чуждался, в особые споры с ними не вступал и, если кого не терпел, то только тех,

кто еще продолжал видеть великого человека в Керенском. — «Я не выношу органически различных мокриц, улиток, сороконожек и прочую подобную им тварь», — говаривал он. — «Так вот, когда начинают петь дифирамбы этому герою, я каждый раз вспоминаю всю эту пакость». — О коммунизме он имел особое понятие, благодаря которому мало о нем говорил. Но, однажды, вечером в свободную минуту он разговорился с Иваном Ивановичем и дал последователям Маркса такое определение: «В то, что существуют вампиры, вурдалаки, упыри и прочие подобные им персонажи я твердо верю. Рожденные тьмой, злом и кровью, они страшны только по ночам. Когда человека ночью во сне душит непередаваемый словами кошмар, то это они в эти минуты властвуют над ним. Человек просыпается, открывает глаза, может быть, весь еще дрожит под впечатлением пережитого ужаса, но кошмара уже нет. Все эти упыри, вины, летучие голландцы исчезли. Так и у нас. Россия спит и над ней, бессильной, во сне, издевается эта бесовская армия. Не от людей, тем более не от Света вся кощевая орда — она от потустороннего зла и тьмы. И боится она только Света, солнца и открытых человеческих глаз. Проснется Россия, откроет глаза и вся нечисть сгорит, растает, исчезнет. Ну, а пока она спит, черная сила властвует над ней и лучше об ней, этой силе, и не говорить, чтобы не услышала она что ее имя поминают и не приняла это за призыв к ней. Ее можно только ненавидеть, да крест на груди носить». — Помолчав, редактор добавил, видя недоумение Ивана Ивановича: — «Старомодно все это, непонятно это многим, может быть, часто смешно, особенно молодым, да только надо прожить с мое, да видеть, что мне довелось видеть, чтобы так говорить». — И вдруг оживившись, он продолжал гораздо громче: — «Вот посудите сами — был недалеко от Хабаровска Шмаковский монастырь. Был он не только монастырем, но и большим культурным центром, помогал всем окрестным и дальним селам и станицам, да так помогал, что казаки и крестьяне им хвастались — вот де какой у нас кормилец-поилец монастырь! Я бывал там и все дело знаю. Пришли туда красные. Скрываться мне пришлось, а однажды ночью, спасаясь от обла-

вы, решил я спастись в соборе упраздненного монастыря. Двери были открыты и я проскользнул в собор. Проскользнул и задохся от зловония. В алтаре, понимаете вы, в алтаре они общественную уборную устроили. Вот вам и «поилец и кормилец»! А в Севастополе на царских вратах вверх ногами архиерея повесили. Да и архиерея не своего, а другой епархии, которого раньше и в глаза не видали. Всего не расскажешь. Вот и подумайте, может ли такое сделать человек с нормальным разумом, не отуманенным черной страшной силой. Впрочем, бросим об этом говорить — все это знают, ахают, возмущаются, книги об этом пишут, а в самый корень взглянуть не хотят, или не могут — старо, дескать, все это, нужен, иной подход, современный, отвечающий моменту. Из-за деревьев лесу не видят». — Аристарх Семенович замолк. В комнате был полумрак, нависла мертвая тишина и Ивану Ивановичу стало жутко и тоскливо от слов, впервые им услышанных. Вспомнились ему картины гражданской войны, ее зверства и разгул страстей и невольно, в душе, согласился он со словами высокого, седого и смешного человека.

А однажды, когда кто-то из сотрудников стал говорить о великой роли русской интеллигенции, Аристарх Семенович отложил в сторону статью, которую писал, снял свое пенсне и стал усиленно тереть лоб, что всегда служило признаком волнения. Когда сотрудник кончил свою речь, редактор дал ему свой ответ: — «Представьте себе, господа, огромное поле, покрытое желтой высохшей травой, упирающееся в густой бор. Третий месяц не было дождя, солнце немилосердными, убийственными лучами жгло землю с утра до вечера. Ночи не приносили отдыха — было душно и безветренно. До самого горизонта разметалась желтая сухая равнина. Ехали полем мужики — «Господи, Батюшка, сушь какая, все погорело, избави Бог огонь попадет — совсем пропадем. Ванька, смотри закуришь — ноги оторвем». — «Да что вы, братцы, некрещенный я что ли?». «И, осторожно оглядываясь, проехали мимо. А за ними катит на тройке ученый барин. Знает его имя вся страна, заграница знает, книг много умных написал. Едет и возмущается: — «Безобразие, отсталость, темнота — за-

границей бы давно в таких местах искусственное орошение устроили, каналы бы провели. А мы все, как при Гостомысле, ни шагу вперед. Власть, нечего сказать!» И в порыве благородного негодования закурил ученый барин сигару, а спичку в сухую траву бросил. А та только этого и ждала. До неба поднялся дым, солнца не стало видно, пламенем занялась вся степь, а сосны в бору в горящие смоляные свечи обратились. Ну, конечно, и ученый барин сгорел, как ни гнал кучер лошадей, спасаясь из огненного ада. Была война, что говорить, тяжелая, кровавая, изнурительно долгая. Но, как и каждая засуха, должна была кончиться дождем, так и эта война должна была кончиться победой. Это все знали — последние месяцы подходили. Но народ устал, и от этой ли усталости или от тоски по погибшим сыновьям, глухо ворчал и придумывал потихоньку всякие небылицы. И тогда-то ученый профессор, лидер и вождь русской интеллигенции Павел Николаевич Милюков с трибуны Думы бросил фразу-спичку, фразу о глупости или измене. Ни солдаты на фронте, ни Неуважай-Корыта в деревне, ни уставшие рабочие о глупости власти не думали и думать не хотели. А вот второе слово — «измена» пришлось очень по вкусу. Шепотом, на ухо говорили это слово и раньше, но вслух боялись, — а вдруг ее, этой измены и нет вовсе, да и по головке за такие слова не погладят. Ну, а ежели сам Милюков об этом говорит в Думе, то бояться, значит, нечего: — «Измена, братцы, долой!» — Вот вам и русская интеллигенция. Конечно, все схематично, ненаучно. И мне могут ответить сотнями красивых, округленных, возвышенных фраз — вспомнят и декабристов и Радищева, и русскую культуру, взлелеянную русской передовой интеллигенцией, попутно Столыпина обругают, дело Бейлиса вспомнят — мало ли что можно наговорить? И темноту нашу старую вспомнят, и полуграмотного сельского попа приклеят и полицейских взятками упрекнут, и наконец, как на вершину всего, на Распутина, погано улыбаясь, укажут. Только вот Некрасовские русские женщины везли с собой в Сибирь целый обоз вещей, включая клавирины. Достоевского забудут или с улыбкой сожаления скажут: «Да, конечно, большой психолог, но уж очень в мистицизм ударил-

ся»; как передовые люди, к вопросам религии отнесутся тепло-прохладно с маленьким, совсем маленьким (все таки страшновато) оттенком иронии; а что Ломоносов, Менделеев и Павлов были верующими — политично не упомянут. Что про Столыпина сам немецкий кайзер Вильгельм сказал: — «Вот мне бы такого министра — что бы мы тогда с Германией сделали!», — наверное, не читали. Ну, а Распутин — это совсем особь статья — когда неграмотный мужик-сибиряк пьянствовал в Вилла Роде и бил зеркала — об этом с возмущением говорили все, а когда малокровный, молодой отпрыск аристократии в те же дни купал в шампанском шансонеток — все восхищались: — «Вы слышали — Серж вчера опять отличился — это было так шикарно, такая замечательная картина — мы все аплодировали». — Вы возразите, что через Распутина немцы узнавали то, о чем им не надо было знать. А вы найдете хоть один точно устансвленный факт? Хотя в поисках этих фактов разные комиссии лоб разбивали. Вы скажете — министерская чехарда — помило-сердсвуйте, хоть как-нибудь измените этот термин. А если этих министров не было? Тогда как? Павла Николаевича назначить что ли? Ответственное министерство — во время войны? Да ведь этому преступлению и наказания не найти. Вы знаете мои взгляды, я их не скрывал, но говорил и говорю: не столько ораторы из Думы разных мастей виноваты в том, что произошло. Виноват один — сам Государь, виноват, что слишком порядочен, доверчив и мягок был. Я молюсь Его памяти, но это не уменьшает Его вину — ну да, впрочем, бросим этот разговор — ведь он все равно ни к чему — каждый верит по-своему», — резко оборвал Аристарх Семенович.

Глава 4

Вечером того дня, когда зимой 18-го года Андрюшка встретил на Моховой недалеко от университета Ивана Ивановича, начал накручиваться клубок событий, отозвавшихся роковым эхом больше чем через сорок лет. Как Варя, не подозревавшая о нежных чувствах Ивана Ивановича, так и ее муж с нетерпением

ждали своего приятеля, с которым были связаны хоть часто и сумбурные, но светлые воспоминания, совсем недавних и таких далеких лет.

Варя недавно получила от родных из Минска посылку и благодаря этому хотела угостить Ивана Ивановича блестящим по тем временам ужином. Занимали они чью-то, брошенную хозяевами квартиру из четырех комнат во флигеле, в глубине большого двора. Попали они сюда случайно, узнав от жившего в том же переулке приятеля о том, что эта квартира пустует. Уговорить управляющего всеми квартирами этого дома взялась Варя. Бывший раньше дворником, а теперь фактический хозяин, встретил ее сначала очень недружелюбно, но когда она передала ему, полученную недавно посылку из Минска с мукой, крупой и малороссийским салом, он сразу преобразился и к вечеру того же дня Кореневы обрели себе пристанище. Эта же посылка помогла им в том отношении, что всемогущий управдом не очень торопил их с пропиской паспортов, а узнав, что они скоро собираются уехать из Москвы, вообще махнул на это рукой.

Поводом к нежеланию прописываться у Кореневых было особое и важное обстоятельство.

Веселая хохотушка Варя любила кокетничать чуть не с каждым студентом их компании. Но это кокетничанье носило самый невинный характер и часто обескураживало ее поклонников, так как внешне они имели все одинаковые шансы на успех. Весело болтая и строя глазки одному, Варя тут же при нем также строила их другому подошедшему студенту, и первый, теряясь и терзаясь, уступал место второму, чтобы этот второй также страдал, видя как Варечка кокетничает с третьим. Это было просто веселье молодости, радующейся блаженству бытия, не вызывая в поклонниках ни бурных объяснений, ни ссор. Все они оказывались в одинаковом положении.

Но среди всей этой молодой веселой компании сама Варя, про себя конечно, выделяла двоих. Одним из них был Андрюшка. Она сама не совсем отдавала себе отчета, что именно влечет ее к нему. Надо полагать, что это была бессознательная тяга одной бесхитростной, простой натуры к другой, и Варя все чаще и чаще останавливала глаза на безалаберном бедняке студен-

те. Видимо, и он, сперва неясно, а позднее совершенно ясно почувствовал, что есть что-то большее, чем его постоянное безделье и балаганная веселость и что это «что-то таится и в серых Варечкиных глазах. Продумавши серьезно в первый раз в жизни создавшееся положение, он решил объясниться. Провожая ее с какой-то очередной вечеринки, Андриюшка охрипшим от волнения голосом вдруг заявил: «Варечка, выслушайте меня внимательно». Варя вскинула на него глаза и догадываясь о его предстоящей речи, обсцаряюще-ласково улыбнулась. — «Я... это... как говорится», — начал Андриюшка. — «Ну вообще, я вас Варечка очень люблю... Ей Богу очень... И знаете, что еще — я бы очень хотел, чтобы вы стали моей женой... Пойдите, погодите», — почти крикнул он, видя ее удивленное движение. — «Пойдите — я знаю, что сейчас об этом думать нельзя — я бездельник, лодырь, сын дьякона — вы дочь адвоката. А главное, прямо говоря, — я нищий. Но я даю слово, а я его всегда держу крепко, что если вы дадите согласие — я переменюсь. Ей Богу переменюсь — я возьмусь за учение, брошу свою лень, начну жить, как люди, через года два-три стану настоящим человеком. Мне самому начинает надоедать такая жизнь — помогите мне в этом — ведь для вас я все готов сделать. А уж любить буду вас так, как нельзя больше. Только....» — Андриюшка замялся. — «Только, извините, вам эги два-три года обождать придется». — Заключительная фраза андриюшкиного объяснения была так неожиданна, наивна и бесхитростна, что Варя сперва звонко расхохоталась, но, видя искреннее огорчение на лице поклонника, уже серьезно и тепло ответила: «Не обижайтесь, Андриюша, я ведь только последним вашим словам рассмеялась». — Она на минуту задумалась: — Что-ж — правду за правду», — продолжала она. — «Прятаться не буду — вы мне нравитесь, может быть, вас я полюблю по настоящему тоже. Может быть...» — запнулась она и застенчиво улынувшись продолжала: — «Может быть, и теперь люблю — сама еще не знаю. А так как сама не знаю, то «да» я вам не скажу, но и «нет» не скажу. Вам я верю — мне кажется, что лгать вы не умеете и не можете. Но мне нужно самой в себе увериться. Я вас не обману и если скажу «да»,

то оно останется на всю жизнь, навсегда. А, а вы сможете, смогли бы связать себя, свои порывы тоже таким же «навсегда»? — «Варечка, Варюшенька... да я... да навсегда, да во веки веков», — срывая с головы фуражку опять крикнул Андрюшка. И так много искренности, веры в свое чувство, неумейной радости и надежды прозвенело в его голосе, что Варя быстро оглянувшись вдруг охватила своими руками его шею и Андрюшка почувствовал на своих губах такой горячий поцелуй, что у него голова закружилась. В этот момент они стояли у ворот дома, где жила Варя. — «Вы первый получили от меня это», — услышал он как сквозь сон, — «но помните Андреюша, это еще не совсем «да». — И Варя скрылась в воротах. Это было в конце шестнадцатого года.

Вторым студентом, произведшим на Варю впечатление, был красавец Волокитин. Он был единственным сыном богатых, культурных и родовитых родителей. По семейным преданиям их род восходил чуть не до Димитрия Донского, а один из Волокитиных был, если не правой, то во всяком случае левой рукой самого Григория Лукьяновича Скуратова-Бельского. Значительно позднее один из Волокитиных был в стане Пугачева, но вовремя изменив ему, получил не только помилование, но и награду и т. к., был «в лице красоты отменной», как было записано в семейных летописях. Будто бы сама Матушка Екатерина, хоть и совсем не надолго, но все же останавливала на нем ласковые глаза свои. Один из прадедов Волокитина перед самой своей свадьбой ушел в монахи в суровый северный монастырь и там окончил дни строгим аскетом, а другой покончил с собой, увлекшись красавицей, заезжей итальянской певицей, не получив взаимности, а от одного, лет за сорок до описываемых событий, отказалась вся семья, и он, спившись, исчез где-то в трущобах Хитрова Рынка. Вообще это была семья, имевшая неуравновешенных, со слишком горячей кровью предков и с признаками несомненного вырождения, результат своего возраста, насчитывающего не одну сотню лет. Сам Сергей Волокитин был очень способен, даже талантлив, всегда очень сдержан и как будто ничем не напоминал своих буйных предков. Но однажды, когда они вместе

с Андрюшкой шли по какому-то сонному московскому переулку, из-под ворот одного дома выскочил маленький серый котенок. Волокитин вдруг схватил валявшийся на земле кусок кирпича и догнав котенка, со всей силой опустил на него этот кирпич. Навалившись на него всем телом, он продержал его с полминуты, а потом, подняв, с любопытством смотрел, как в предсмертных судорогах чуть дрожали лапки убитого зверька. Андрюшка чуть побледнел, видя это. — «За что ты его?» — спросил он тихо. — «За что?» — переспросил Волокитин. — «Да просто так — захотел и убил». — И с резкостью, для него необычной, добавил: — «А, собственно тебе что за печаль?» — А потом, посмотрев на окровавленный кирпич брезгливо бросил: — «Какая гадость!.. Кровь!.. Шерсть!..» — и швырнул кирпич в сторону.

Варе он импонировал многим: своим высоким развитием, своей даровитостью, своей совершенно необычной красотой, наконец, сама того не сознавая, она была увлечена красочной историей его векового рода, которую он однажды ей вкратце рассказал. Волокитину Варя тоже, по-видимому, нравилась, так как последнее время на всех вечерах он отдавал ей предпочтение, не обращая внимания на других своих многочисленных поклонниц. Он танцевал почти только с ней одной, и ей доставляло истинное удовольствие, сладкое и пугающее, когда она чувствовала его рядом, совсем близко с собой. Но когда ей после этого приходилось танцевать с Андрюшкой, знавшим толком только одну польку, да весьма посредственно вальс, Варя чувствовала какое-то непонятное облегчение. Так чувствует себя человек, выйдя из зимнего сада, где все пропитано опьяняющим и сладким ароматом цветов, на чистый, свежий воздух.

И, если в отношении Андрюшки Варя чувствовала свое превосходство, то при встречах ее с Волокитиным это превосходство было на его стороне. Она ждала с его стороны каких-то слов, каких-то объяснений и одновременно боялась их. Но Волокитин молчал. И вдруг, однажды, вскоре после сумбурного объяснения Андрюшки, Волокитин, поздно ночью, тоже провожая Варю из театра, властно, но и нежно обнял ее и впился своими губами в ее. Поцелуй был

долгий и мучительно-сладкий. Сразу обессилев, Варя послушно подчинилась этому поцелую. Сквозь полузакрытые глаза она видела побледневшее прекрасное, лицо, чувствовала как кружится голова от нового, неиспытанного и влекущего, как вдруг Волокитин резко отстранил ее от себя. — «Я тебя Варя люблю так, как могу — больше меня тебя никто любить не сможет и не будет, и тебя даром я не отдам никому. Тем более этому шути Кореневу — запомни это. А теперь до свиданья — подумай, что я сказал. В четверг я буду в Малом театре — для тебя билет тоже есть — после спектакля все должно решиться». — И после этого, резко повернувшись, Волокитин оставил растерянную и перепуганную Варю, в которой страх и непонятное для нее влекущее чувство сплелись в один запутанный клубок.

Но несмотря на кажущееся легкомыслие, Варя была девушкой, у которой сердце подчинялось разуму. Два дня до назначенной Волокитиным встречи Варя раздумывала о всем происшедшем за последнее время. Ее немного удивили слова Волокитина об Андрюшке, но потом она поняла, что он мог легко догадаться о каком-то чувстве ее к дьяконовскому сыну, следя за ней и видя, как ее глаза останавливались чаще и дольше чем нужно на Кореневе. В своих чувствах она не могла разобраться сама. Когда она вспоминала Андрюшку, ей казалось, что она любит его за его бесхитростность и честную, хотя и безалаберную натуру, а когда думала о Волокитине, то ей импонировали его сила, властность, даровитость и красота. Совсем запутавшись в этих размышлениях, Варя решила прибегнуть к способу, к которому прибегала всегда в затруднительных случаях — к «способу образов», как называла она сама. Как-то раз ей пришлось выпить рюмку какого-то необычайно крепкого и чрезвычайно вкусного ликеру. Не зная как его нужно пить, она просто выпила всю рюмку залпом и задохнулась. Ей показалось, что какой-то огонь обжег ей рот и горло. Но этот огонь был мучительно-сладким, подчинял, тянул и привлекал к себе. Сразу же так приятно закружилась голова, и сгустились краски всего окружающего, и ярче засверкали огни электрических ламп и все стало красивее и проще и разрешеннее. Последнее

привело ее в себя. — «Я просто пьяна», — подумала Варя, собрав всю волю, заставила себя мыслить по-трезвому. А минут через пятнадцать так разболелась голова, что не дождавшись конца вечера, она уехала домой. Она вспомнила, как, приехав к себе, с жадностью и наслаждением пила простую холодную воду, и какой вкусной была эта вода после обжигающего вина. И разбираясь во всем происшедшем, прибегнув к своему «способу образов», она сравнивала теперь Волокитина и его чувство с влекущим и опьяняющим ликером, а чувству Коренева отвела роль чистой, холодной, отрезвляющей воды. Но оставаясь честной с собой, она не могла решить, чему отдать предпочтение — одно влекло и пугало, другое успокаивало и облегчало. Не придя ни к чему, она решила сделать ставку на время, которое ей покажет и кто более ей дорог, и кто любит ее крепче и искреннее. И когда в четверг она встретилась с Волокитиным, то ответила почти также, как Андрюшке — ни «да», ни «нет». Но если Андрюшка был по-детски счастлив даже этому «ни нет», то Волокитин побледнел от ее «ни да». Андрюшка радовался, верил и молил, Волокитин раздражался и требовал. И когда он при прощании сделал снова попытку обнять ее, она быстро отстранилась. Сама не узнавая себя, резким холодным голосом она бросила: — «Не смейте. Никогда, до тех пор, пока «да» не скажу». — И не простившись скрылась в воротах дома.

В этой борьбе с собой она провела два месяца. За это время она видела, как побледнел и похудел Волокитин, как несколько раз покидала его сдержанность, как он два или три раза пытался завести ссору с Андрюшкой, грубо по-мужицки высмеивая его. А Андрюшка в простоте душевной, не подозревая в нем соперника, только разводил руками, обращая все в шутку. Он, к великому удивлению приятелей, достал себе несколько уроков, стал следить за собой и привел в порядок свою всегда взлохмаченную шевелюру. Но никогда ни одним словом, взглядом или жестом он не выдавал на людях своего чувства к Варе. Наедине с нею он тоже не подымал разговора об этом и только в глазах его иногда светилась неумемная радость от простого соседства с ней. Эта деликатность трогала

и привлекала Варю. Волокитин околдовывал ее поистине красивыми, влекущими речами, мастерски, как истинный художник, рисовал ей силу своей любви к ней и всегда заканчивал, не прся, а требуя ее «да». Эта требовательность пугала Варю и удерживала от положительного ответа, хотя она не раз, подчинившись его обаянию, была совсем близка к этому. Так прошло больше двух месяцев, как вдруг, неожиданно для всех, произошел тот резкий поворот русской истории, который не только в их жизни, но и в жизни всей страны сыграл роковую роль. Не то фальшивыми бенгальскими огнями, фейерверками и шутихами, не то зловещей хвостатой кометой пронеслась над Россией революция.

Летом семнадцатого года так и не сказав своим поклонникам ни «да», ни «нет», Варя уехала к родным в Минск. Там, стараясь быть насколько возможно объективной, она поделилась своими переживаниями и сомнениями с отцом. С ним она была гораздо ближе чем с матерью. Старый седой адвокат долго молчал и думал, а потом спросил, кого она сама предпочла бы иметь мужем. В ответ Варя недоуменно развела руками — она сама этого не знала. Но когда она рассказала историю рода Волокитиных и то, что Андрюшка был сыном простого дьякона, отец просто и ясно ответил: — «Этот лучше и чище. А, впрочем, смотри сама — жить придется тебе, а не мне».

Но слова отца, сказанные в пользу Андрюшки почему-то обрадовали Варю — как будто он помог ей в том, что она сама хотела. И за время каникул в ее душе полинял и поблек блистательный облик Волокитина, а глаза безалаберного Андрюшки, полные какой-то собачьей преданности, робкой надежды и мольбы, все чаще и чаще вспоминались ей. К сентябрю она вернулась в Москву, почти уверенная, что свое «да» она скажет Кореневу. Встречи с Волокитиным она боялась, так как понимала, что он, будучи сильнее ее характером и волей, снова повернет ее в хаос противоречий и сомнений. Но тут ей помогли чисто-внешние обстоятельства. Правительство неудержимо и бессильно катилось под откос истории, а новая сила, страшная, грубая со звериным ликом всюду выплывала наверх. Варя в политике не разбиралась, но в больше-

виках видела людей бесконечной жестокости, злобы и богоборчества. И приехав в Москву, она узнала, что родители Волокитина уехали за границу, а сам он вступил в партию, фигурировавшую по спискам под номером пятым — партию большевиков. Все его знакомые и друзья недоуменно пожимали плечами — так нелепо было вступление эстета, барина и даровитого студента в компанию людей, пропитанных злобой, грубостью и жадой разрушения. Должно быть, кровь далеких предков заговорила в нем.

Это обстоятельство окончательно разрешило колебания Вари, и уже без всякого страха она пошла на свидание, о котором просил ее Волокитин, в присланном ей письме. Эта встреча была очень короткой. Услыхав твердый и окончательный отказ Вари, Волокитин, побледнев, схватился за сердце. Красивое лицо его на мгновение стало жалким и чувство страшной тоски и боли вспыхнуло в глазах, но он сразу же оправился. — «Спасибо за прямой ответ», — проговорил он и помолчав прибавил: — «И за надежды и иллюзии, хоть и разбитые, но жившие до этого во мне, тоже спасибо. Но помни, Варя, тебя никто не будет так любить как я, и еще — все равно ты будешь со мной. Не моя может быть, но со мной. Сама будешь», — и повернувшись, он ушел.

Андрюшка весь цвел и сиял от восторга услышав ее согласие. Свадьбу было решено сыграть в конце октября. Но тут подошел момент, когда правительство пало и над Москвой заалели флаги новой власти. К этому же времени стало известно, что Волокитин стал работать в каком-то органе по ликвидации врагов революции. Рассказывали об его холодной жестокости, участии в арестах и расстрелах. Поэтому-то Варя и Андрюшка, переехав на квартиру в Мертвом переулке, и не хотели прописывать своих паспортов, тем более что они решили уехать в Пензу, где жила тетка Вари.

С того момента, когда Андрюшка встретил на Моховой Ивана Ивановича, до их отъезда оставалось всего два-три дня.

Оба они ждали с нетерпением Ивана Ивановича,

надеясь провести вечер с добрым знакомым, с которым можно свободно говорить и отдохнуть от всей той кровавой неразберихи, что воцарилась в Москве.

Глава 5

Андрюшка просидел в заключении около месяца, но этот короткий срок оказался для него роковым. Он наложил на всю его жизнь отпечаток, сохранившийся до конца, и отблески этих дней швыряли Андрюшку то чуть не до неба, то в грязное отвратительное болото. После беззаботной и веселой жизни студенческих лет ему впервые пришлось в тюрьме столкнуться с тяжелыми и трагическими обстоятельствами, с которыми не могла бороться его безыскусная и примитивная натура. Честный и порядочный по существу, он не обладал ни умением строго-логически мыслить, ни проявить достаточно воли, когда это было нужно. Строго говоря, это было даже не отсутствие воли, а нечто другое. Андрюшка не умел и не мог строго контролировать и направлять работу мозга. Он обладал с детства богатой фантазией, и, когда в его голове зарождалась какая-нибудь мысль, он со всем пылом и жаром хватался за нее и начинал ее осуществлять. Но вдруг в это время от основной мысли ответвлялась другая, и, забыв о первой, он бросался с таким же пылом по новому пути, чтобы через пару недель свернуть на третью дорогу. Неумение систематически мыслить лишало его твердой целеустремленности, так как эти цели постоянно менялись. В силу этого он пережил в тюрьме то, что позднее называл своим первым и главным падением. И стремясь впоследствии исправить, загладить это падение, он, как человек минуты и порыва, действительно подымался, чтобы потом, столкнувшись с какими-нибудь трудностями, падать еще ниже. Но во всех случаях подъемов и падений главным фактором его поступков со всеми их последствиями было твердое непоколебимое сознание своей непрощаемой вины, бесполезное позднее раскаянье, принимавшее иногда нелепые формы, и как результат этого -- жгучее требование собственного сердца о наложении на себя жестокой кары. Но если нелепы были формы раскаянья, то также уродливы бы-

ли и формы этой эпитимии, налагаемой на себя Андрюшкой. Впрочем трудно было сказать, было ли это добровольным наказанием или простым трусливым желанием забыться, уйти от гнетущего сознания своей вины. Правда, сам Андрюшка в этом не признался бы даже самому себе — просто от этого наказания становилось легче, и, неся его, он часто даже забывал, за что он себя наказывает. Под конец же жизни, махнув на все рукой и опустившись на дно, он уже не имел воли подняться, находя все вполне нормальным и естественным. Вообще же дни заключения рисовались ему каким-то серым туманом, из которого бесвязно возникали страшные переживания тех дней, чьи-то лица, стены камеры, обрывки роившихся тогда в его голове мыслей, подозрений — но все это было перепутано, смешано в какой-то клубок, и только ясным оставалось одно, что тогда он совершил преступление, которому прощения нет и быть не может. Этот этап жизни Андрея Коренева начался почти сразу после его освобождения и продолжался до его конца. — «Все туман», — любил говорить Андрюшка, оправдывая себя, и проблуждал он в этом тумане все свои годы. И только в последние минуты он понял и постиг все и преодолел то, с чем не мог справиться. — «Светло, ясно... Тумана-то нет», — были последними словами Андрюшки, умиравшего в большой солнечной комнате.

Сидя в своей камере, Андрюшка пережил несколько периодов, неуклонно падая в своих переживаниях ниже и ниже.

Первые дни его были заполнены мыслями о Варе. Забывая себя, он искренне и жестоко страдал за нее — был, как говорил позднее, с ней всей душой. Тревога за нее заполняла и ум и душу его. Он понимал, что все с ним случившееся, было делом рук Волокитина, так как никакой вины за собой он не знал, да и действительно ее не было. Эти дни были заполнены у него не эгоистичной тоской по Варе, и была эта тревога результатом его простого, бесхитростного, но хорошего чувства и заполняла всю его душу. Это были последние дни в его жизни, в которые он оставался еще прежним Андрюшкой, тем самым, каким он был в момент своего первого объяснения с Варей. Но скоро

появилась и первая трещина. Он, поддавшись своей постоянной фантазии, решал то просить Волокитина расстрелять его и отпустить Варю, то покончить с собой, предварительно нацарапав на стене эту просьбу, то придумывал еще какой-то другой несуразный план. Но во всех этих случаях, как результат этого, он рисовал себя героем, погибшим за честь жены, ее освобождение, потрясенным его поступком Волокитиным, ее слезы, словом, все сводилось в конце концов к его прославлению и торжеству. Впрочем, возможно, что он рисовал бессознательно эти картины потому, что они были невыполнимы.

Но постепенно натура Андрюшки брала свое. И устав от этой тревоги, сам успокаивая свои нервы, он стал вспоминать весь период своей жизни, от первого объяснения с Варей до его ареста. Лежа на койке, он воскрешал в своей памяти всякие мелочи, начиная от Вариных платьев и кончая их встречами на различных вечеринках. Зажмурив глаза, чтобы не видеть стен камеры и постоянно горевшей под потолком лампочки, он переносил себя в те счастливые дни. Это было гораздо легче и спокойнее, чем мучить себя тяжелыми мыслями. В эти минуты в голове Андрюшки по-воровски, быстро прячась от самого себя, мелькало сознание, что своими муками и тревогой за Варю он все равно не поможет, а следовательно, и особенно тревожиться за нее просто не имело смысла. Вспоминать прошлое было гораздо легче и проще, и он сам успокаивал себя, вспоминая всякие мелочи, чем только и доказывал свою глубокую любовь к жене. Андрюшка отдыхал в этих воспоминаниях от тяжелых переживаний первых дней заключения. Подходя ко всему наивно и просто, сообразно примитивности своей натуры, он, как сам говорил позднее, впервые изменил Варе, затушевывая мелочью воспоминаний, главное. Память услужливо шептала ему легкие и приятные слова о коротком, но светлом прошлом и это было куда легче, чем владевшие им перед этим тревоги и заботы. Так медленно, но неуклонно начался процесс гибели настоящего чувства Андрюшки, приведший его значительно позднее к делам и поступкам человека неспособного не на словах, а на деле, бороться с жизнью и своей внутренней слабостью. Но

находясь весь во власти воспоминаний, Андрюшка не только не сознавал этого, но часто умилялся сам собой, припомнив какие-либо пустяки, когда он делал приятные Варя, вызывая ее благодарность. Здесь, опять личное начало стало брать верх над всем остальным, заслоняя и драму, которую, наверное, переживала Варя и его чувство к ней. Важно было то, что это слащавое самолюбование успокаивало нервы и давало отдых. Но медленный и успокаивающий ток этих воспоминаний упирался в тот вечер, когда его оторвали от Вари и бросили в эту камеру. И затушевывая постепенно и боль за Варю и воспоминания о ней, перед Андрюшкой встал во весь рост образ человека, лишившего его всего, что было дорого в жизни. К этому времени он окончательно убедился в том, что в его деле Волокитин играл главную роль. Оснований для этого у Андрюшки действительно было достаточно: во-первых, его ни разу не вызывали на допрос, во-вторых, кормили его по тем голодным временам более чем прилично, и, наконец, однажды, вскоре после ареста, солдат, приносивший ему обед, вручил ему завернутую в бумагу книгу. — «Начальник велел передать», — коротко сказал он. Андрюшка развернул бумагу — в нем был том стихов любимого им Апухтина. — «Подлаживается подлец, задабривает», — мелькнуло в голове Андрюшки, и он со злостью швырнул книгу под койку, не притрагиваясь больше к ней, не задумываясь о том, откуда Волокитин знает, что он так любит этого поэта.

И сосредоточив теперь все мысли на своем враге, весь пропитавшись ненавистью к нему, совсем выронив из памяти Варю, Андрюшка весь отдался решению вопроса о том, откуда и как мог узнать Волокитин их адрес. Несколько дней он перебирал все обстоятельства, предшествовавшие аресту. Наконец, он пришел к заключению, что Волокитин узнал его адрес на почте, через которую Варя получала посылки. Во всяком случае эта детективная работа по розыску виновника их выдачи увлекла и успокоила его на некоторое время. После этого он сосредоточил все свое внимание на своем счастливом победителе. Но, вспомнив, что Варя находится сейчас в руках ненавистного ему человека, Андрюшка ощутил приступ такой жгу-

чей душевной боли, что вдруг пришел в состояние бешенства. Схватив табуретку, он начал изо всех сил колотить ею в дверь и кричать во весь голос какие-то слова и фразы, которые потом не мог вспомнить сам.

Этот грохот и вопли его разорвали тишину тюремного коридора. С каждой минутой он все яростнее колотил в дверь, все отчаяннее кричал. Из-за двери в глазок на него так же кричал надзиратель, но эта какофония только больше возбуждала Коренева.

И в тот момент, когда надорвав голос, он уже визжал, дверь камеры отворилась и вошел какой-то вёрзила на голову выше Андрюшки. Спокойно, как привычное дело, он вырвал из рук Андрюшки табуретку и поднес к его носу пудовый кулак.

— «Видишь? Чуешь?» — спросил он.

И израсходовавший весь свой порыв Андрюшка, сразу замолк, съежился и растерянно сел на койку. С тех пор он не буянил ни разу.

Но мучительная тоска по Варе и мысли о ней после этого, снова стали жгучими и тяжелыми. Это состояние было настолько страшно, что мозг Андрюшки, незаметно для своего хозяина, стал отыскивать что-то другое, более легкое.

Вообще не любивший никогда особых затруднений и их разрешения, при встрече с ними обходивший их где-то сбоку, но отнюдь не борясь с ними, Андрюшка вдруг облегченно вздохнул. Образ Вари вдруг задернулся дымкой тумана и растворился в нем, а взамен всего пережитого, где-то в извилинах его пошатнувшегося мозга, зародилось, зашевелилось другое. Теперь его уже не мучила тревога о том, что мог сделать с Варей этот страшный красавец, так ее любивший, а невыносимым было то, что она сейчас именно с ним, с Волокитиным. Будь это кто-либо другой, он, может быть, переживал бы все по-иному. В нем заговорил голос собственника, потерявшего главную свою ценность, и жестокая злоба, что не он, а Волокитин выиграл большую жизненную игру. И весь отдавшись этому порыву, Андрюшка стал старательно вспоминать отдельные мелкие эпизоды, связанные с именем Волокитина.

Как на экране отчетливо и ярко проходило перед ним все что запомнилось ему за время знакомства с

Волокитиным, начиная с несчастного котенка им убитого. И в этих никому ненужных поисках отрицательных качеств своего врага, перед духовным взором Андрюшки, Волокитин превратился в какого-то мелодраматического злодея, воплощение самого черного зла.

В подкрепление к своим выводам Андрюшка невольно сравнил с ним себя и опять выходило, что отрицательные качества Волокитина выделялись особенно мрачно на фоне белоснежного нравственного облика его, Андрюшки. Правда, последнее проскальзывало неясными, расплывчатыми намеками на мысли, так как оформить их ясно и твердо он все же стеснялся.

— «Барин... Сволочь!..» — шептал Андрюшка, вспоминая голубую кровь Волокитина, не сознавая того, что тут в нем говорит плебей, униженный аристократом.

Целыми днями он припоминал всякие мелочи, касающиеся своего врага. Так однажды он очень долго старался воскресить в памяти какие-то стихи Волокитина, читанные им на какой-то вечеринке и не вспомнив их еще больше озлобился. В огне этих переживаний над всем доминировало ничтожное, задетое самолюбие и бессильная злоба к победителю. Теперь Варя и его любовь к ней как-то стушевывались, отходили на второй план, став простым возбудителем все нарастающей злобы к Волокитину.

Без перерыва рисовал он в уме своем торжествующего врага. Измученный этим до предела, он вдруг вспоминал Варю, хватался за голову, осознав в ужасе, что ее-то он и забыл. Тут он начинал себя жестоко казнить, но этот порыв скоро гас, и он снова возвращался к старому, весь отдавшись во власть своих узких и по существу ненужных дум. В конце концов окончательно потеряв волю к способности здраво мыслить, бесконечно устав и обессилив, Андрюшка начал искать способы мести Волокитину, совсем потеряв в своей памяти Варю.

Как в детстве, в родном Забайкалье, сидя с удочкой на берегу Ингоды, он весь отдавался фантастическим мечтам о будущем, видя себя то Пржевальским, то Скобелевым, так и теперь он составлял планы буду-

щей мести один не менее другого. Иногда он осознавал это и в его душе и сердце оживала Варя, и ему становилось плохо и страшно. Тогда, чтобы оправдаться перед самим собой, он начинал уверять себя, что составление и обдумывание этих планов — теперь самое главное, так как это делается для Вари и главное из-за нее. Так бесхитростно и просто оправдав себя, Андрюшка шел уверенно по этому пути.

Все прогрессируя шел распад чувства Андрюшки. Боясь сам себе признаться в этом, он уверял себя, что все происходящее с ним имеет истоком своим именно это чувство. На самом же деле, во всей этой картине Варя была только фоном, а главными фигурами был сам Андрюшка и Волокитин. Впрочем, без этого фона и персонажи эти были бы мертвы. И старательно вырисовывая их, Андрюшка кое-как бесформенными мазками рисовал фон, все же уверяя себя, что это главное.

Значительно позднее, в немногие годы своей упорядоченной жизни, находясь полностью под влиянием сильного волей, богатого разумом и опытом человека, даровитого психолога и сердцееда, Андрюшка понял причину всех своих тюремных переживаний. Живший, до женитьбы на Варе, как птица Бсжия — ни о чем не задумываясь и ни о чем не заботясь, он дорожил только одним — своей личной свободой. Но это была именно птичья любовь к свободе ради свободы, когда птица улетает из клетки, оставляя там даже птенцов своих, в случайно незапертую дверь.

Безалаберность и беспечность предыдущей жизни приучили Андрюшку к этому суррогату свободы, при котором желание и веление его примитивного «я» он легко и не думая мог выполнить.

Встреча с Варей начала приводить в известный порядок его растрепанную в духовном смысле натуру, но они были вместе слишком мало времени для полной ее перестройки.

Очутившись в четырех стенах камеры, он, как птица, затосковал по этой своей вольной воле, и, в конце концов, все его дельные и бездельные мысли и переживания рождены были сознанием отсутствия этой свободы. Так раскрыл ему глаза на все тот че-

ловека, о котором говорилось выше, но это произошло много лет спустя и об этом речь будет впереди.

Весь пропитанный злобой к Волокитину, однажды утром, проснувшись, Андрюшка вдруг вспомнил Варю. Но на этот раз он вспомнил и подумал о ней так, как не думал никогда.

Перед его сознанием встала Варя-женщина. И опять сразу забыв о Волокитине он отдался другому потоку дум. Он стал сперва вспоминать минуты их близости, а потом почувствовал такую жгучую физическую тоску, такой голод по ней, что у него потемнело в глазах. Раньше он бы сам себе надавал пощечин за такие мысли, но теперь он видел не ту светлую в его прошлом представление Варю, а другую, манящую, возбуждающую в нем одно звериное возбуждение. До этого утра она вставала перед ним во всем своем обаянии молодости и чистоты, и в такие минуты он чувствовал, что глаза его делаются влажными. Теперь память его рождала ее иной, доступной для него еще совсем недавно и совершенно не доступной теперь. А желания его росли все больше, с каждым днем. И тогда мозг его, и так уже потерявший способность здраво мыслить, окончательно оказался во власти химер, одна страшнее другой.

Еще днем он кое-как боролся с этим, но подошла ночь, лишавшая его всякой возможности борьбы с самим собой, и Андрюшка то проклинал кого-то, то плакал.

Логическим продолжением этого бреда зародился другой, еще горший. Сначала робко и урывками, боясь оскорбить Варю, а потом все рельефнее и отчетливее он стал рисовать Варю и Волокитина вместе. Необузданная фантазия Андрюшки услужливо пришла ему на помощь, и, бегая по камере, он истязал себя вконец грязными и страшными картинками, может быть невольной, но все же близости Вари к ненавистному Волокитину.

И в этой беготне и сумасшедших думах чувство Андрюшки к Вале замолкло и умерло.

Однажды ночью в полудремоте, полубодрствовании, у него мельнула мысль, что все эти муки он переживает из-за Вари. И, как ответ на эту мысль,

сперва неясно и неотчетливо, а потом все яснее и, наконец, до ужаса ярко, зародилось озлобление против Вари.

В паутине серых, как туман, и как туман расплывчатых полумыслей, полуснов, он шаг за шагом дошел до оправдания этого озлобления. Во сне все выходило просто и последовательно — он, конечно, был влюблен в Варю, но и Волокитин ее любил тоже. Она предпочла его, Андрея Коренева, и благодаря этому Волокитин затаил против него вполне понятную и оправдываемую злобу и месть. Теперь он эту месть осуществил. И все это вышло потому, что Варя отдала руку ему, Андрюшке. Значит — не сделай этого Варя — он был бы на свободе (а это самое важное и ценное в жизни); значит она виновата безусловно во всей его драме.

Во сне это стало просто и ясно.

Переплетаясь с этим, в ту же ночь во сне появилось и другое страшное подозрение, что Варя теперь, может быть, вполне счастлива с Волокитиным. Для этого у дремлющего мозга Андрюшки были веские основания: Варя долго колебалась — кому отдать предпочтение, а из этого следовал вывод, что она любила их обоих и только обстоятельства внешнего порядка толкнули ее к Кореневу. Но теперь, когда он исчез из ее жизни, когда она знает, что он только арестант, а у Волокитина, к силе его обаяния, прибавилась власть, и, главнсе он на свободе и когда она все время с ним, теперь, разумеется, она должна забыть его, Андрея Коренева, и дать выход тому чувству к Волокитину, которое она искусственно подавляла в себе раньше. Во сне это выходило тоже очень просто и убедительно, еще больше усиливая озлобление Андрюшки.

И наконец, как венец кошмарной дремоты, мозг Андрюшки обжег совсем невыносимый огонь, начертивший на какой-то серой стене пылающие слова, гласящие что — и его арест, и его муки — дело рук самой Вари, любившей Волокитина больше, чем его. И ненависть, подобная ненависти к Волокитину несколько дней назад, пронизала во сне все его существо.

Весь сжавшись от жгучей боли и злобы, в безум-

ном бреду крошечного сна, он коснеющим языком бросил Варе страшное и грязное слово. И, вдруг, из-за черного занавеса этого бреда, выплыло как на экране, бледное лицо Вари с глазами, устремленными в самую душу Андрюшки — глазами полными большой, хорошей любви, лучащимися и чистыми. Видимо какая-то, еще оставшаяся здоровой, извилина мозга Андрюшки заставила его осознать всю мерзость своих подозрений и этим вернула к сознанию действительности.

Этот переход был настолько резок и потрясающ, сверкнул таким ослепительно-чистым светом на сером туманном фоне сонма бесовских химер, что Андрюшка вскрикнул и проснулся.

Высоко под потолком горела лампа, а на табуретке за столом спиной к нему сидел какой-то человек.

Андрюшка быстро поднялся и сел на койке. Человек повернулся к нему, и он увидел ненавистное прекрасное лицо Волокитина. Молча, пристально смотрел он на Андрюшку, как будто видя его в первый раз и изучая его. Этот взгляд внешне спокойный, был холоден и чуть насмешлив, и под ним Андрюшка опять съежился, как перед пудовым кулаком в тот день, когда он буянил.

Тишина в камере была мертвая — два человека, победитель и побежденный, сидели молча друг против друга.

Так прошла минута, может быть, час. Позднее Андрюшка не мог этого уточнить, но зато отчетливо запомнил, что на Волокитине был синий костюм и серый галстук.

Наконец, Волокитин встал и Андрюшка, охваченный страхом, сжался, съежился еще больше и впился пальцами в края койки. Волокитин, видимо, это заметил и чуть пожал плечами. Подойдя к двери, распахнул ее и негромко сказал стоящему за ней часовому:

— «Отвести заключенного Коренева в мой кабинет!»

И не ожидая слов часового, Андрюшка быстро вскочил с койки и, услужливо, лъстиво улыбаясь часовому, вышел вместе с ним в длинный, полутемный коридор.

Глава 6

Впоследствии Андрюшка говорил, что ничего пакостнее и гаже, чем его поведение и переживания в кабинете Волокитина, нельзя даже придумать.

Стараясь показать всей своей фигурой и семенящими шагами полную почтительность и покорность, и забыв обо всем на свете, он в сопровождении солдата шел по тюремному коридору. Также съездившись и вжав голову в плечи он поднялся по лестнице и вошел в указанную солдатом дверь. В комнате не было никого, кроме сопровождавшего его солдата. На письменном столе горела лампа под зеленым абажуром, против стола стоял стул, на стене висели часы. Сесть Андрюшка побоялся и нелепо переминаясь стоял посреди комнаты. Прошло пять, может быть, десять минут, Андрюшка с угодливой улыбкой обернулся на часового, но в это время скрипнула дверь и вошел Волокитин.

— «Можете идти», — бросил он часовому и сел за стол», — Андрюшка все стоял.

Волокитин сидел молча, опустив глаза. И опять, как в камере, над этими двумя людьми повисла мертвая тишина.

— «Садитесь», — тихо сказал Волокитин, подымая голову.

— «Благодарю вас», — пролепетал Андрюшка, угодливо, опускаясь на кончик стула.

Волокитин, замолчав снова, уперся взглядом в Андрюшку, а тот во власти простого страха старался выразить всей своей позой величайшую почтительность. Он видел, как на прекрасном лице человека, сидевшего за столом, сперва, опять как в камере, появилось выражение любопытства, будто он впервые видит Андрюшку и изучает его внешность. Постепенно это чувство любопытства уступило место удивлению.

— «Вы получили Апухтина?» — спросил тихо Волокитин.

— «Да, да», — заторопился Андрюшка, вскакивая со стула. — «Как же получил, очень вам благодарен!»

— «Сядьте», — вдруг резко крикнул Волокитин и потом с трудом добавил: — «Не меня. а ее благодари.

те -- она просила об этом».

И бессильно катясь вниз, забыв обо всем, Андрюшка робко спросил:

— «Кого ее?»

Теперь уже гримаса пренебрежения и презрения исказила лицо человека, сидевшего за столом, и, ничего не ответив, он открыл ящик стола и достал какую-то папку.

— «Гражданин Коренев», — произнес он, заглянув в папку, — «за отсутствием вины вы завтра утром будете освобождены».

Огромной, все смывающей волной охватила Андрюшку радость от сознания того, что через несколько часов он будет на свободе. Снова вскочив со своего стула, он кланяясь, несвязно и заикаясь стал твердить слова благодарности.

-- «Да сядьте же... Вы!» — крикнул снова Волокитин, стукнув кулаком по столу и снова опустил глаза, как будто позабыл об Андрюшке.

Один лишь стук маятника часов на стене разрывал тишину кабинета. Весь сжавшись, без мыслей и воспоминаний, забыв даже свою злобу к Волокитину, Коренев ждал.

Медленно поднявшись из-за стола, Волокитин подошел к нему и, положив ему руки на плечи, почти вплотную, приблизил свое лицо к нему.

— «Слушай, Андрей, — прошептал он. — «Завтра ты будешь на свободе. Сразу же уезжай. Деньги тебе передадут. Слышишь, сразу же!.. Завтра. Понял?»

Волокитин на миг замолк и также тихо, но с трудом добавил:

«И письмо ее тебе передадут. Последнее ее письмо».

Тут Андрюшка вспомнил Варю и слово «последнее» такой непереживаемой им даже в камере болью обожгло его, что он, забыв всю свою почтительность, вдруг рванулся вперед, вскочил на ноги и стряхнув с себя руки Волокитина, сам схватил его за плечи.

— «Последнее? Почему последнее?» — крикнул он.

• Но побеждающе властно, не допускающим возражений тоном услышал он в ответ слова:

— «Гражданин Коренев, сядьте».

Обезволенный и разбитый Андрюшка молча опустился на стул. Волокитин подошел к двери и раскрыл ее.

— «Часовой, отведите арестованного в камеру», — сказал он обращаясь к чассвому.

А в камере, спутав в нераспутываемый клубок, радость предстоящей свободы и тревогу за Варю, Андрюшка повалился на койку. Серый туман клубящимися волнами залил его сознание, и он крепко, без снов уснул.

Проснувшись утром, он сначала не мог толком отличить дикого бреда своего от бывшего с ним наяву. Душа его была заполнена огромной, пьянящей радостью и в то же время тяжкая угнетающая тоска тревожила и угнетала. Постепенно он вспомнил все: и слова Волокитина о последнем письме Вари опять обожгли его.

Он заметался по камере. В уме и сердце его образовалась какая-то пустота, заполненная до краев этими словами. Чувство бессилия перед чем-то совершенно непредвиденным, тоска, тревога, горькое раскаянье и опять сознание своей полной беспомощности в борьбе с этим непредвиденным, швыряло его из угла в угол камеры, и он бегал, стучаясь то о койку, то об угол стола. Когда ему попалась на пути табуретка, он со злобой отшвырнул ее ногой. Ему казалось, что его легкие заполняют почти все его тело и воздух, вдыхаемый им и отравленный этой тоской, течет по всем его венам. И в то же время глаза Коренева особенно ярко и отчетливо фиксируют все окружающее. Это раздражило еще больше. Лампочка на потолке, решетка в окне, стены, подушка, одеяло вызывали в нем глухую злобу. Они казались ему кощунственными, возмутительными на фоне его состояния. Если бы он мог тогда выразить это словами, то это звучало бы так:

— «Как смеют они все бросаться мне в глаза, вообще существовать все эти мелочи, когда такие страшные слова слышал я в кабинете Волокитина».

Андрюшка не вдавался в разбор того, что значит «последнее письмо» — ушла ли от него Варя или ее больше нет. Главное было то, что письмо было последним. Но было еще другое, пожалуй, еще более

страшное, чем слова «последнее письмо». Андрюшка как сквозь туман вспоминал, что ночью, перед встречей с Волокитиным, он в полусне, полунаву, совершил какой-то невероятный по своей грязи поступок, направленный против Вари. Он знал, что никакого оправдания, никаких смягчающих вину обстоятельств, для него нет и не может быть никогда. Он знал, что должен каяться за это всю свою жизнь, знал, что и раскаяние ему, наверное, не поможет, чувствовал почти физически ощущаемую им душевную боль, но вспомнить, в чем он так согрешил перед Варей, не мог. Он напрягал все силы памяти, воскрешал в уме минуту за минутой весь этот полубред, полусон.... доходил до того места, когда думал, что Варя, может быть, забыла его и отдала свое чувство Волокитину, а дальше все исчезало, таяло в серых волнах тумана и кончалось сразу его пробуждением, когда он увидел в камере Волокитина. Он твердо знал, что именно в этот отрезок времени он сделал что-то невыразимо грязное и преступное, то, чего не могла воскресить память. Десятки раз он перебирал в уме картину за картиной, весь этот сон или бред — мучительно и не торопясь, упираясь каждый раз в то, что не могла воскресить память.

В таком состоянии нашел его вошедший в камеру надзиратель с какой-то бумагой в руках.

Он снова повторил Андрюшке слова Волокитина о его освобождении, вывел его из камеры, провел в контору, заставил в чем-то расписаться и потом сам выпустил Андрюшку через ворота на улицу.

Не отдавая себе отчета, шатаясь как пьяный, Андрюшка пошел куда глаза глядят. Но когда здание тюрьмы скрылось из глаз, его кто-то окликнул. Незнакомый человек в штатском подошел к нему и передавая пакет, сказал тихо:

— «Не позже чем завтра вы должны уехать! Обязательно, слышите? Обязательно, иначе вам может быть очень плохо!» — и исчез в толпе.

Андрюшка вспомнил, что такие же слова сказал ночью Волокитин.

Он надорвал пакет — там была пачка денег и небольшой белый конверт.

«Последнее письмо» обожгло его мозг. Он начал

вытаскивать этот конверт и вдруг... ему стало страшно раскрыть его. Он быстро спрятал пакет в карман.

— «Нужно где-то пристроиться и там прочесть, не здесь, на людях», — подумал он и, забыв о деньгах в пакете, пешком зашагал в свой Мертвый переулок.

Идти пришлось долго; отвыкшие от ходьбы во время сидения в камере ноги быстро устали и казались пудовыми. Но физическая усталость отвлекала от страшных мыслей, и Андрюшка был даже рад этому. Снова, как в тюрьме, он прятался сам от себя, чтобы не чувствовать тяжести.

В Мертвом переулке их квартира оказалась уже занятой, но управляющий, симпатизировавший Андрюшке или из жалости, отвел ему маленькую комнату в главном доме.

Оставшись один, Андрюшка понял, что теперь нужно распечатать письмо Вари. Он вынул конверт. На нем было одно слово — «Андрюше». Он хотел распечатать письмо, но руки не повиновались ему. Положив письмо на стол, он сам сел в другой угол и издали смотрел на него с суеверным ужасом. Ныли уставшие ноги, стал мучить голод, озноб колотил его мелкой дрожью и опять, как в камере, стало казаться, что отравленный густой воздух заполняет все тело. Так не шевелясь, загипнотизированный белым конвертом, он просидел до вечера.

В сумерках конверт стал раздуваться и расти — он занял уже весь стол и Андрюшка почувствовал приступ тошноты — ему показалось, что стул под ним стал качаться, а вместе с ним закачались и стены и потолок. Собрав весь остаток воли, Андрюшка встряхнул головой, встал, включил свет, решительно подошел к столу и вскрыл конверт — оттуда выпало два листка — это было последнее письмо.

— «Андрюша, мой дорогой! — читал он. — «Мне так трудно, так больно писать тебе это последнее мое письмо. Больно за тебя, за горе, что причинила и причину тебе. Больно и за себя, — ведь жизнь-то... у меня только началась. И страшно мне, Андрюша, так страшно! Ты, такой чуткий и добрый, что не сможешь не понять этот мой страх. Но ты также поймешь,

что иного выхода у меня нет. Я теперь одна. В. куда-то уехал до вечера и я, пользуясь этим пишу тебе это письмо.

Через час после того, как увели тебя, пришли за мной и, переведя через улицу, ввели в тот розовый особняк, что был против нашего дома. Какая-то женщина встретила меня словами:

— «Сергей Михайлович приказал мне, чтобы я вам служила».

Весь роскошный особняк был к моим услугам, кроме кабинета В., всегда запертого на ключ. Скоро приехал и он сам. Я сидела, вся сжавшись, на каком-то диване. Он подошел ко мне и протянул руку, но я резко спрятала свои за спину. Он сделал вид, что не заметил этого, и, сев против меня, начал говорить. Он начал с того, что дает слово, что не тронет меня пальцем, если я не захочу сама. Я рассмеялась на эти его слова и ответила, что если так, то это слово ему придется держать всю жизнь. Он говорил, как он любит меня. Ты знаешь Андрюшка, как красиво он умеет говорить. Я молча слушала его, и вдруг у меня мелькнула мысль. Прервав его, я сказала ему:

— «Если вы так любите меня, то отпустите и меня и мужа на свободу».

В. весь потемнел.

— «Это выше моих сил», — ответил он и вышел.

И вот, с того вечера, мы ежедневно встречаемся и он говорит все одно и то же. Он умолял меня не отталкивать его, понять и поверить ему. Он — то загорался весь, то потухал. Я видела, что он, действительно, страдает, но вот теперь, в свои последние минуты я даю тебе страшную клятву: он ни разу даже к руке моей не прикоснулся. Наверное, эта его любовь крепко сплелась с уважением ко мне. Я была беззащитна, полностью в его власти, но он не позволил себе даже садиться со мной рядом и, если я сидела на диване, он садился на стул в другом углу комнаты. Однажды я спросила его о тебе — он помолчал и ответил:

— «Ему не так уж и плохо. Во всяком случае гораздо лучше, чем другим».

А немного погодя тихо добавил:

— «Пожалуй лучше, чем и мне», — и ушел.

Но тогда я жила только с тобой. Вся душа изболелась, тревога и тоска ни днем ни ночью не оставляли меня. И вот однажды я вспомнила, как ты любишь Апухтина и обратилась к В. с первой просьбой и последней — послать тебе эту книгу. Он с грустью взглянул на меня:

— «Как вы его любите! Хорошо, я вашу просьбу исполню».

На другой день он сказал мне, что книгу тебе передали. Прошла неделя, другая, третья. Я видела, как страдает этот сильный человек и, кроме того, поняла и поверила, что слова своего, данного мне в первый вечер, он не нарушит. Постепенно во мне начала загораться жалость к нему. Я любила тебя, но его я стала жалеть, а потом меня стало трогать его уважение ко мне. И вот сегодня утром, проснувшись, я продумала все это и поняла, что мне надо уйти из жизни.

Андрюша, мой дорогой! — пойми меня и прости — ведь иначе нельзя. Если зародилась эта жалость, то вдруг когда-нибудь, через месяц или год я поддамся его словам, поверю ему и забуду тебя. Он такой сильный и властный, а я только женщина, слабая женщина. И, чтобы остаться верной тебе до конца, я, кончив это письмо, уйду от всех. Меня не будет. Андрюша мой, мне так страшно и одиноко. Пожалей меня и помолись... ведь ты понимаешь, что иначе я поступить не могу! — я должна сохранить мою любовь к тебе чистой до конца!.. Я вся, вся с тобой и только твоя! Но, чтобы хоть немного уменьшить грех моей самовольной смерти, я прошу, заклинаю тебя об одном: не мсти ему, нет... прости его ради меня! Я знаю, что тебе это будет трудно, но исполни это! Может быть, там мне будет легче, благодаря этой моей защите человека, принесшего нам столько горя. Андрюша мой хороший! Сейчас я с тобой всей моей душой и сердцем — я вижу тебя, слышу, я говорю с тобой, и ты даешь мне эту клятву. Ты не можешь не исполнить эту мою последнюю просьбу, переломи себя ради меня, ради греха моего непрощаемого!

Прощай! Помни! Молись обо мне! Тебя и только тебя любила и, в эти последние мои минуты, люблю! Прощай! Твоя и только твоя — Варя.

Я оставляю записку В, в которой я прошу его передать это письмо тебе. Андрюша мой, как холодно, одиноко и страшно!..»

Глава 7

Опершись локтями на стол и опустив голову на руки, не шевелясь, сидел Андрюшка.

Белым, режущим глаза пятном выделялись на фоне деревянного, простого стола листки письма. Если до прочтения его Андрюшке было страшно, то все же, в глубине души, чуть тлея и искрилась какая-то неопределенная надежда. Теперь ее не стало... Удар был слишком тяжким и не под силу ему, привыкшему мыслить отвлеченно и прятаться в тяжелые минуты за ширму пустых мыслей и фантазерства. Теперь жизнь поставила его лицом к лицу с таким фактом, который был бы не под силу и более крупной натуре. На некоторое время он просто потерял себя, он был оглушен, как будто кто-то тяжелой дубиной ударил его по голове. Он видел листки письма, но в душе его и в мозге все как-то исчезло, растаяло. Исчезли мысли, исчезла душевная боль — их заменил серый, колышавшийся, наполненный ядовитыми испарениями, непроглядный туман. Этот туман то дышал на него мокрым жаром, то вдруг леденил нестерпимым холодом. Эти переходы были нестерпимы и наконец, без конца чередуясь, вызвали в нем непреодолимое чувство тошноты. От этого он пришел в себя, но тошнота не только не уменьшилась, но увеличилась до предела и приступ мучительной рвоты подошел к его горлу. Он вскочил со стула и выбежал на улицу. Весь бледный, в холодном поту, трясаясь от нервного озноба он вернулся в комнату.

Схватив негнушимися пальцами письмо, он снова прочел его, медленно, не торопясь, вчитываясь в каждое слово. И если еще несколько дней назад он выронил из памяти Варю, то теперь чувство к потерянной навсегда Варе расцвело в нем небывалым, диковинным, жгучим цветком. Так вероятно цветет, рассыпая жгучие искры в темноте Ивановой ночи, заколдованный папоротник, могучий сказочный жар-цвет. И в мерцании колдовского света искр этого цветка в голове

Андрюшки возникла странная картина, заставившая его задрожать еще сильнее: в пыли, паутине и грязи, под койкой его камеры, валялась книга, которую он с такой злобой швырнул туда. Он только помнил, что Апухтин был в серой обложке и воображение до боли ярко нарисовало ему, как разогнувшаяся при падении книга, смятыми обезображенными листами, лежит в темноте под койкой. Но еще страшнее была новая мысль: с какой нежной заботой о нем пересылала ему эту книгу Варя. Почему-то ему представилось, что сейчас на ней сидит большой мохнатый паук, и по ней же ползают мокрицы. Он схватился за голову... за тот последний подарок Вари, теперь бы он отдал всю свою скомканную жизнь. Чувство беспомощности и сжигающего раскаянья вызвало в нем прилив злобы к самому себе. Он откинулся от стола и со всего размаха ударил себя сперва по одной, потом по другой щеке.

— «Мало этого!» — шептал он сам себе. — «Мерзавец, сволочь, подлец!» — и ударил сам себя еще раз.

Запутывая его мозг в непроходимых дебрях, зародилась вдруг другая мысль. Он вспомнил, что Варя в письме просила молиться за нее. Он поднял сложенные для креста пальцы ко лбу, но вдруг резко остановившись, опустил руку снова. Ему показалось, что он настолько грязен и подл по отношению к умершей жене, что даже молиться за нее не имеет права.

— «Улитка проползла по дивному цветку», — мелькнул отрывок какого-то стихотворения, — «грязная, скользкая, пачкающая цветок».

Оставалось одно — прежде чем молиться о Варе, нужно молить о том, чтобы ему было дано на это право. Иначе говоря, он должен просить о прощении того греха, который он сам совершил прошлой ночью, подозревая Варю в близости ее к Волокитину. Правда, главную часть этого греха он не помнил, но и то, что сохранилось в памяти, стопудовой тяжестью легло на его плечи и требовало покаянных молитв.

Всю грязь его мыслей в камере, всю вину его перед Варей, жестоко оскорбляемой им там, отчетливо и

ясно, как на экране, нарисовал его мозг. И вот эти-то мысли, в эту самую минуту, легли многолетним гнетом на всю его жизнь.

И в дальнейшем мы увидим, как прочно и непоколебимо 'врезалась, вожглась в Андрюшку эта мысль, в которой одновременно смешались и сознание непрощаемости своего греха и то, что он не имеет права молиться за себя и за Варю, и последняя просьба умершей жены о прощении Волокитина, при одном воспоминании о котором звериная ненависть охватывала его.

Он вскочил на ноги, отшвырнул стул и, опустившись около стола на колени, стал биться лбом о край стола и, как автомат, повторять старые слова собственной молитвы, творимой им в детстве.

— «Дай, чтобы ей было у Тебя хорошо!...» — Больше ни вспомнить, ни придумать он ничего не мог.

В этих механических движениях, ударах о край стола и одних и тех же повторяемых словах он слегка забылся и ужас происшедшего немного отошел от него.

Андрюшка встал. Часы показывали уже двенадцать часов ночи. Он позднее говорил, что запомнил каждый час этой ночи. И снова бессвязная путаница полусумасшествия охватила его. Андрюшке вдруг представилось, что весь его мозг в голове обратился в быстро вертящийся шар и что из него при вращении выскакивают, как искры, мысли или вернее намеки на них, так как быстрое движение мозга-шара не дает им оформиться точно и ярко. Но то, что он не мог, не успевал охватить каждую из них до конца, давало некоторое облегчение. Он почти физически чувствовал вращение шара в своей голове, как вдруг одна из этих искр-мыслей упела шепнуть ему о том, что он сходит с ума. Он пришел в себя. Та же комната, тот же стол и письмо на нем.

Часы показывали час ночи.

С улицы слышались шум подъезжающего автомобиля и чьи-то тихие голоса. Андрюшка вспомнил, что Варя жила в розовом особняке напротив, и понял, что туда вернулся Волокитин.

От злобы закружилась голова и схватив стоявшую в углу кочергу он бросился к дверям.

Он ярко нарисовал картину, как, вынырнув из темноты переулка, он опустит кочергу на голову Волокитина, как станет мертвенно-бледным лицо его и, зашатавшись, он упадет на землю.

Но когда Андрюшка уже отворял дверь, его глаза отметили лежавшее на столе письмо. Он в бессилии остановился.

— «Нельзя, она просила», — шепнула мысль, но, как всегда, находя какой-нибудь легкий выход, другая дополнила первую: — «Я исполню ее волю, не брошусь на него, но ненавидеть не перестану».

Он вернулся к столу.

С улицы донесся снова шум — автомобиль ушел, все затихло.

Тогда, осторожно крадучись, он вышел из комнаты и, выйдя за ворота, спрятался в тени забора, прильнув к нему.

Небо было темное, в облаках. Розовый особняк напротив, рисовался расплывчато и туманно. Черными провалами смотрели зеркальные стекла его окон, и Андрюшка, как всегда отвлекшись мелочами, стал гадать: у которого окна сидела Варя, когда она была в плену у Волокитина.

Мороз был небольшой, и, подняв воротник пальто и натянув почти до ушей старую студенческую фуражку, Андрюшка холода не чувствовал.

Почему-то он решил, что Варя при жизни сидела у крайнего, слева, окна и впился в него глазами в нелепой надежде, что он увидит через стекло ее облик, что она покажется ему. Разум подсказывал, что это невозможно, но какое-то другое темное чувство руководило им в эти минуты. Подавшись вперед, он забыл обо всем и не отводил усталых глаз своих от темного стекла.

Позднее он сам говорил, что эти минуты были минутами самого страшного напряжения его воли за всю его жизнь. Он ждал и требовал от мертвой Вари, чтобы она показалась ему хоть на самый короткий миг. Все его существо было охвачено этим невыполнимым желанием — он весь окаменел, застыл. Он рисовал себе без конца одну и ту же картину: в глубине комнаты диван, на нем сидит Варя, потом она встает и это было предисловием к главному: появлению ее в окне.

Вот она двинулась, подходит к окну, но оно остается темным — там нет никого. Тогда он начинал сначала, уточняя подробности — диван должен быть обязательно зеленым, сбоку стояло такое же зеленое кресло, над диваном висит какая-то картина, Варя в коричневом платье — она встает, подходит к окну и опять там никого нет. Он начинал сначала, еще больше прибавляя подробностей, но опять темное стекло оставалось холодным, мертвым и пустым.

Весь сосредоточившись в этом, он начинал сначала, внося все больше подробностей в обстановку комнаты, чтобы на фоне этого увидеть живую Варю и заставить ее подойти к окну. Он всей силой своей воли тянул ее от дивана к окну, заставляя показаться. Он потерял счет и представление о времени, и когда он нарисовал в своей неумной фантазии всю комнату, которую он никогда не видел, ему показалось, что Варя, наконец, подходит к окну. Он уже почти ее видит, она кладет руки на подоконник — он... почти терял сознание, как вдруг... резкий, сухой звук выстрела в конце переулка вернул его к действительности.

Темное небо висело над ним, темной громадой рисовался напротив особняк. Вдали слышались шум, крики, площадная ругань. И в шуме и ругани Андрюшка уловил одно страшное слово, то самое слово, которое он бросил Варе в камере, в своем бредовом сне. И теперь недорисованный им грех стал ясным до конца.

Он почувствовал, как страшно до костей продрог, как цепенеют руки и ноги. Андрюшка прокрался с улицы во двор и прошел в комнату. Давно нетопленная, полутемная, она показалась ему блаженным, теплым приютом.

— «С ума схожу», — мелкнуло в его голове. Но то, что он вспомнил... то оскорбление, которое он нанес в камере Варе, даже успокоило Андрюшку:

— «Теперь хоть знаю все до конца, знаю, в чем каяться!»

Он опустился на стул и, машинально засунув руку в карман, ощутил там какой-то пакет. Он вытащил его и раскрыв, увидел там пачку денег. Теперь он вспомнил, что ему вчера днем передал от Волокитина какой-то человек со строгим наказом немедленно поки-

нуть Москву. Эти деньги то жгли ему пальцы, то казались холодными, влажными и скользкими. Он швырнул их в темный замусоренный угол комнаты и вытер руки. Но одинаковость этого жеста, с тем когда он швырнул под койку Апухтина, воскресила в его памяти во всех подробностях камеру и его переживания в ней. В его душе воскресла, как живая, безумная тоска о свободе, которую он там пережил и чувство беспомощности. Закрыв глаза и перенесясь в камеру, он видел и лампочку под потолком, и серые стены, и дверь с отверстием глазка — видел явственно, живо, до ужаса реально. Не в силах вынести всего этого, он вскочил и пришел в себя. Теперь он вспомнил угрожающее предупреждение Волокитина в конце допроса и слова незнакомца при передаче пакета. Он осознал теперь, что опасность нового ареста нависла над ним вплотную. Одновременно с этим жгло сознание, что если он уедет из Москвы, подчинившись воле ненавистного человека, то опять выполнит роль игрушки в его руках. В нем боролись теперь вспыхнувшее ярким огнем самолюбие и животный страх перед тем, что будет с ним, если он не подчинится. Этот страх шептал ему услужливо, что оставшись он фактически ничего не докажет и не сделает и что нужно как можно скорее покинуть город. Даже больше — уехав отсюда, он никогда не увидит Волокитина и не будет соблазна свести с ним счеты. Кроме того, он хоть частично выполнит просьбу Вари: — «А если даже и буду его ненавидеть, где-то вдалеке от него, то вреда от этого ему не будет». Теперь он шагал из угла в угол, размахивая руками и что-то бормоча. Чувство страха все больше овладело его душой, и, наконец остановившись, он пробормотал:

— «Надо уезжать».

С этого момента страх окончательно овладел им, диктуя все поступки. Нужно было торопиться, скорее бежать, спасти себя. Он бросился к двери, но вспомнил с досадой о письме, которое нужно взять, а это задерживало на несколько секунд, тогда как дорога каждая секунда! Он, скомкав, сунул письмо Вари в карман и выскочил из комнаты. — «На Ярославский вокзал», — мелькнуло в голове, но тут же вспомнил, что денег у него нет, а деньги, присланные

Волокитиным, он швырнул в угол комнаты. Проклиная свою забывчивость Андрюшка снова вернулся в комнату. Брошенная пачка денег рассыпалась по полу и в полутемной комнате было трудно в пыли и мусоре собрать все валявшиеся бумажки. Трясаясь от страха и злости Андрюшка хватал какие-то щепки, обрывки газет, отыскивая деньги, которые были нужны все, так как кроме них у него не было ни копейки. Ему все казалось, что он не все заметил, и он рылся в сваленном мусоре, в пыли и в полумраке, так как лампочка еле освещала комнату. Чтобы ничего не оставить, он выбежал на середину комнаты, вскочил на стул и раскачал висевшую на проводе лампу. Качаясь она на мгновение освещала замусоренный угол и в эти моменты он видел несобранные деньги, подбирал их и рассовывал по карманам. Ползая по полу, грязный, обросший, полуобезумевший человек торопился, дрожал от страха, забыв обо всем на свете. Наконец, все было собрано и Андрюшка бегом выскочил за дверь, а потом в переулочек.

Зимнее утро не торопилось наступать и розовый особняк глядел, как и ночью, черными провалами окон. Андрюшка на момент остановился и погрозил ему кулаком, пробормотав неизвестно почему вспыхнувшее в памяти: «Ужо тебе», — и бегом бросился налево по переулку к церкви. Он бежал, а возникший в памяти Пушкин беспощадно шептал ему: — «За ним несется всадник медный на звонко скачущем коне». Оглядываясь на призрак всадника в темноту улиц, озираясь и спотыкаясь, бежал он и потом говорил сам, что приходится диву даваться, — как в те времена, пропитанные стрельбой и облавами, его никто нигде не задержал.

Через весь взъерошенный, сошедший с ума огромный город, в расстегнутом пальто и съехавшей на затылок фуражке, не замечая холода, он бежал к последней точке спасения от прекрасного лица его врага. В сумбуре путающихся мыслей мелькнуло что-то даже вроде благодарности Волокитину за его деньги, но сейчас же потухло, сменившись чем-то другим. На вокзал он притаился когда был уже почти полдень. — «Опоздал!.. Сейчас схватят!», — звенело в висках. Сквозь плотную, вонючую, грязную, орущую толпу

он пробрался на перрон — о билетах в те дни мало кто спрашивал. Его не пускали, ругали, но с вдруг появившейся хитростью, он твердил одно, — что он студент-пролетарий, что у него умирает старуха-мать и он к ней спешит. Внешний вид его не внушал никаких подозрений и хоть с руганью, но его пропускали. На перроне стоял пассажирский поезд с выбитыми окнами, весь забитый до отказа серыми шинелями. Играя роль, которую ему подсказывал страх, Андрюшка плакал, размазывая по лицу грязь и умоляя пустить его в вагон. Наконец, он втиснулся на какую-то площадку и присел в угол, прячась за своих соседей.

В эти минуты он забыл решительно все; все его помыслы были сосредоточены на том, чтобы поезд скорее тронулся. Наконец, счастье ему улыбнулось — минут через десять поезд тронулся под крики оставшейся на перроне озверелой толпы. Андрюшка оставил навсегда Москву.

Глава 8

Когда Андрюшка услышал с улицы шум автомобиля, тогда действительно подъехал к розовому особняку Волокитин.

Большой, в пятнадцать комнат, дом был теперь пуст. Старуху, которую он брал для услуг Варе, он отпустил, и теперь, включив электричество, шагал через пустые комнаты. Сразу после смерти Вари им овладело новое, неизведанное чувство: все происшедшее казалось ему огромной нелепостью. Поверить сразу в то, что Вари нет, он не мог; это звучало для него темной сказкой, тяжелым сном, так как если, вместо Вари осталось пустое место, то пустота эта распространялась на все его окружающее. Это чувство сделало то, что ему стало казаться, что и в груди его стало совсем пусто — нет ни желаний, ни цели, ведущих к чему-то, ни даже сожаления о погибшем чувстве, ибо в тот момент, когда он увидел мертвую, холодную Варю, оно, это чувство, умерло вместе с ней и не осталось ничего. Она унесла с собой его любовь, и эта любовь была настолько велика и ярка, что все,

что бы ни случилось с ним в будущем, могло быть только жалкой тусклой копией не получившей ответа любви. Винить себя он не мог — он не задел, не оскорбил ее, унижал он себя до предела, смирял свою бешеную гордость. Его совесть была в этом отношении спокойна. Усмехнувшись, он вспомнил, как, за несколько дней до развязки, он заготовил все нужные документы себе и Варе для бегства за границу, как получил командировку к крайней западной границе. Теперь уже ничего не нужно... осталась пустота, холодная, мертвая, серая.

Придя в кабинет, он сел за стол и застыл. Лицо его не выражало ничего — оно было неживой маской. Он открыл ящик стола, достал портрет Вари, поглядел на него с тем же безразличным видом и бросил обратно в стол, захлопнув ящик. Все равно — совершившегося не исправишь. Сознание этой мертвой непоправимости доминировало над всем, убивая остальное. И в то время, когда Коренев сходил с ума, напротив в грязной конуре, Волокитин внешне спокойно сидел в удобном кресле чужого особняка, в двух, трех десятках шагов от Андрюшки. Внешнее спокойствие давалось огромным умением владеть собой, внутреннее же потому, что волноваться или нервничать было теперь не из-за чего — мертвая тишина большого дома безраздельно царила теперь и в его душе.

Произошел обвал, подобный обвалу после огромного землетрясения, нагромоздив груды земли и скал и застыв надолго в неподвижности, может быть, навсегда. Волокитин вспомнил, как покачнулось все вокруг него когда умерла Варя, вспомнил, как, должно быть, уродливая гримаса свела его лицо и на один момент задрожали ноги; вспомнил и усмехнулся — зачем он это допустил? Поправить все равно было ничего нельзя, а раз так, то ни жалеть, ни нервничать не к чему. До этого была сложная, мудреная, таинственная машина, называемая жизнью. Тысячи частей ее с подавляющей ум точностью вращались, двигались, жили. Теперь из машины вырвали главный стержень и мертвая, холодная она стоит среди мертвой пустоты. Она никому ненужна, ни на что не годится — разве что на слом. У Волокитина мелькнула было

мысль о самоубийстве, но он ее сразу отбросил; подчиниться удару, сдаться — он не мог; все равно исправить случившееся нельзя.

В этом была вся драма — все, буквально все, решения, какие бы он ни предпринимал, упирались в это бездушное «все равно ничего не исправишь!». И постепенно, после первых дней жгучей тоски, это чувство полной беспомощности и ненужности его шагов, какие бы он ни предпринимал, овладело всем его существом. Его душу окутало, внушило ей раз и навсегда сознание, что бывшее главным в его жизни ушло, растворилось, умерло, а такое главное бывает только раз в жизни. Это темное чувство так властно вошло в него, что он, на самом деле, даже к памяти Вари и ее смерти теперь относился спокойно и равнодушно... свершившегося не исправишь. Он так же вел свою кровавую работу, так же выносил приговоры, так же был утонченно вежлив с обвиняемыми. Он не стал ни беспощаднее, ни добрее, но если раньше он как-то изредка реагировал на переживания своих подсудимых, то теперь он стал относиться абсолютно безразлично и к мольбам, и к слезам и к проклятиям, ибо все, вся жизнь его и всех окружающих, упиралось в это бездушное — «свершившегося не исправишь».

Его холодная жестокость была известна и раньше, но тогда она имела в его глазах хоть какое-то оправдание, хоть какую-то цель. Теперь, он творил свое дело с точностью и безразличием механического робота — не все ли равно, оправдает ли он или осудит кого-то, свершившегося этим не исправишь, а потому безразличен и приговор. Начальство его ценило. Сам Дзержинский жал ему руку и благодарил; равные ему по положению, напрасно старались завести с ним дружбу; подчиненные, большей частью грязная пена революции, не любили холодного, изысканно-вежливо-го, всегда отлично одетого красавца, никогда не принимавшего участия в их попойках и кутежах... Все боялись его, особенно после одного случая. Вынося беспощадные, окончательные приговоры врагам революции, Волокитин никогда не принимал участия в приведении их в исполнение, что часто делали равные по положению его сослуживцы. Крови он не боялся, но она была органически противна и отворачи-

тельна. Может быть, это было потому, что ему на всю жизнь запомнился убитый им в тихом переулке Москвы маленький котенок. Он запомнил навсегда приклеившуюся к кирпичу серую шерсть зверька, его расплющенные дрожащие лапки, какую-то слизь. Аристократу и эстету это было омерзительно противно, и когда он думал о приведении в исполнение вынесенных им же приговоров, его охватывало такое же чувство и рисовалась такая же картина как убийство котенка. Поэтому свои решения он предоставлял осуществлять своим подчиненным, пропитанным спиртом и кокаином, или какой-нибудь человекообразной горилле. Такое уклонение вызывало среди его подчиненных сперва осторожные разговоры, а потом и подозрения. — «Чужими руками жар загребает!.. Барин!.. Белоручка!»

Однажды, один из них вслух, при нем, бросил ему это обвинение:

— «Крови, товарищ, боитесь? Видно, чернилами подписывать бумажки легче».

Не дрогнув ни одним мускулом лица, Волокитин положил на стол карандаш, не вставая со стула, вынул из ящика стола браунинг, также не вставая, разрядил его в голову чекиста, а потом спрятав револьвер, стал дописывать какую-то бумагу.

Аккуратно промскнув чернила, он опять поднял голову и равнодушно бросил:

— «Кто еще? Кто следующий?».

Даже прожженные чекисты застыли на месте.

Волокитин спрятал бумаги в стол, закрыл его на ключ и, не глядя на убитого, спокойно вышел из кабинета.

Позднее в этой кровавой среде говорили шепотом, что, сам Дзержинский, узнав об этом случае, вызвал Волокитина для объяснений. Спокойно глядя в безумные глаза шефа, Волокитин коротко сказал, что убивать и расстреливать может каждый идиот и ококаинившийся кретин, а он должен открыть врага, разоблачить его и отдать во власть кретинов. Первое гораздо сложнее, чем второе. А то, что зовут его аристократом и барином, то в этом они правы, ибо всю работу их службы организуют и направляют аристо-

краты ума и знания человеческой природы, так как, без этого работа станет кустарно-грубой и в один день может вообще провалиться.

Шеф подумал немного и протянул ему руку:

— «Вы правы, товарищ Волокитин! Подобные мне и вам должны быть такими аристократами».

Но это было давно, еще до ареста Андрюшки, и теперь он был одним из первых в зловещем созвездии охраны новой власти.

В ту ночь, о которой идет речь, ему было глубоко безразлично все это — из жизни ушло навсегда и безвозвратно главное, что давало смысл этой жизни. Исправить прошлое было нельзя... значит, и волноваться не о чем. Своя собственная жизнь? Волокитин пожал плечами — к чему все это?

Серый мертвый туман затянул весь мир, туман от сознания непоправимости бывшего, туман, который никогда никто не разгонит.

Волокитин сидел, удобно откинувшись в кресле, ни о чем не думая и не понимая, что обрушившийся на него удар просто был выше его сил. Впрочем, если бы даже он это и понял, то не сознался бы в этом даже самому себе. Он сидел в роскошном чужом кабинете, не предполагая, что в эти самые минуты Андрюшка, скрывшись в тени забора, гипнотизировал черное окно, вызывая тень жены. О нем Волокитин не думал — после допроса в тюрьме, где Андрюшка угодливо изгибался, поддакивая и кланяясь, Волокитину показалось, что он понял окончательную натуру своего личного врага. Он был твердо уверен, что перепуганный Андрюшка обязательно уедет из Москвы. Письмо Вари он читал и знал, что Андрюшка никогда, по крайней мере, теперь не сделает против него ни одного шагу. Его удивляло только одно — как Варя могла так крепко и беззаветно любить такое ничтожество, как Коренев. Вначале он пробовал расшифровать все это, но потом махнул рукой — так-как к какому бы выводу он ни пришел, происшедшего не исправишь, значит и расшифровывать было не к чему.

Незаметно для себя, угревшись в кресле, часа в три ночи Волокитин задремал. И странный сон привиделся ему. В ослепительно роскошном дворце Ека-

терины, в пудреном парике и камзоле, с алмазной звездой, стоит он у огромного до потолка зеркала. Оно отражает его стройную фигуру и классически прекрасное лицо — он должен быть представлен через несколько минут Императрице, и теперь, в последний раз, осматривает себя — все ли на нем в порядке. Он видит в зеркале, как сзади него открывается дубовая в бронзе дверь и сам Потемкин жестом приглашает его в тронный зал. Странно-знакомо и почему-то ненавистно Волокитину лицо Светлейшего князя Тавриды и совсем не похоже на то, которое он видел на портретах. Он мучительно старается вспомнить чье же это лицо, и знает, что все дальнейшее зависит от того, вспомнит ли он это. Но для этого времени нет — Императрица ждать его не будет и Волокитин входит в открытую дверь. В глубине искрящегося огнями зала, в золоте, парче и самоцветах, на троне сидит Императрица, приветливо протянув ему обе руки. Дымкой тонкого, радужного тумана закрыта она от него, и лицо ее он разглядеть не может. Подойдя к трону, он опускается на колени, весь во власти красоты Екатерины, которую он не видит, но знает об этом. К его губам протягивается тонкая душистая рука, но как только он хочет прикоснуться к ней губами, чей-то резкий смех останавливает его. Оглянувшись на Потемкина, он теперь только узнает в нем переодетого Светлейшим князем — Андрюшку, который, упершись руками в бока, залиvisto хохочет и, вторя ему, оглушительный смех прокатывается по залу. Он переводит глаза на Императрицу и видит, что там на простом диване, спрятав руки за спину, сидит Варя глядя на него с презрением и злобой. Зал стонет от смеха, кажется, что от него обрушится потолок, а Потемкин-Андрюшка, ухватив его за шиворот тянет к дверям. Он противится, хочет ударить его, но подсакивают еще несколько человек и толчками, с хохотом, оттесняют его к двери; а на нем уже не парчевый камзол со звездой, а та форма, которую он носит теперь. Уже перед самыми дверями оглушительный хохот становится музыкальным и переходит в томный, медлительный вальс. Под его музыку он теперь студент, танцует с Варей и вдруг слышит опять чей-то смех. Опять Андрюшка, тоже студент, залиvisto хохочет, показывая на его ноги и, вторя ему смехом, гремит

все кругом. Волокитин смотрит вниз и видит, что он танцует почему-то босиком, хотя мундир и все остальные части костюма в порядке. Смеющаяся рожа Андрюшки растет, приближается к нему, закрывает весь мир, и он видит только огромный оскаленный в хохоте рот. И чуть слышно издалека до него доносится тихий голос: «Ни да, ни нет — вчера; нет — сегодня».

Волокитин очнулся. Билось, разрывая грудь сердце, лоб был холодный и влажный, тряс жестокий озноб. Бешеным хороводом неслись в голове мысли, не успевая оформиться и что-то ему сказать. Впившись до боли пальцами в подлокотники кресла, весь подавшись вперед, с мертвенно бледным лицом, казалось, он стремился увидеть что-то невидимое, познать непознаваемое. Но только серая пелена тумана клубилась, свиваясь и развиваясь перед глазами; только гудело в мозге отзвуками слышанного во сне хохота. Безотчетно, не сознавая ничего, забыв на минуту самого себя, Волокитин оторвал руки от кресла, и достав из стола карточку Вари, поставил ее на стол.

Воспаленными, усталыми глазами он впился в портрет, не мигая, не отводя взгляда. Застыв в этой позе, он не шевелился, не отводил глаз, ни о чем не думал, может быть, десять минут, может быть, час. И под этим его взглядом стал медленно шевелиться серый фон карточки и начал становиться рельефнее, оживать образ Вари. Волокитину показалось, что ожили ее глаза и осмысленно, как у живого человека, глядят на него с грустью и упреком. Вот они сверкнули живой белизной белка, вот загорелись жизнью зрачки, дрогнули ресницы. Он не выдержал больше и упал с кресла. И лежа на ковре у стола он, как автомат без конца повторял два слова: «За что?» Но не тепло, не ласку, не привет почувствовал он — запахом пыли давно нечищенного ковра пахло на него, холодом нежилого, брошенного дома тянуло по полу. Приподнявшись, стоя на коленях, он снова взглянул на стол, где простая, серая карточка смотрела равнодушно и мертво. Вскочив на ноги, ударом кулака он сбил рамку на пол и наступил на нее ногой. Хруст раздавленного стекла привел его в себя. Он оглянулся — на дворе почти рассвело. Тогда жалко и виновато, как никогда в жизни, улыбнувшись, он поднял рамку...

карточка к счастью не пострадала. Он осторожно вынул ее из разбитой рамки и вдруг задрожав почувствовал, что что-то подкатывается к горлу и что-то туманит глаза. С тоской он прижал карточку к губам, взглянул на нее еще раз и зажегши спичку поднес ее к углу портрета. Но только затлелась бумага, он пальцами потушил ее и с обуглившимся углом бросил на стол. Облокотившись на стол руками он, никуда не глядя, думал свои тяжелые думы. Вдруг лицо его стало мягким и достав большой крепкий конверт, он спрятал туда карточку и закрыл в стол.

Со звоном ключа в замке слился звук телефонного звонка в соседней комнате — начинался рабочий день.

Глава 9

Иногда, хоть и редко, бывает, что у людей по существу слабовольных, какая-нибудь мысль или воспоминание полностью на всю жизнь охватывает его все существо. Во всем остальном этот человек является образцом редкого безволия и слабости, но навязчивой, неотступной идеей врзается, вплавляется в его мозг, сердце и душу что-то, что может быть на взгляд других людей является сущей мелочью. Он проносит эту мысль или воспоминание через всю свою жизнь, подчиняется им, не может без них жить. Такому человеку кажется совершенно невозможным, кощунственным отказаться от этой мысли. Строго разбираясь, это является только особенной формой его безволия, ибо он держится часто за то, что было двадцать, тридцать лет назад, утешая сам себя тем, что он так непоколебимо верен прошлому, просто боясь отбросить его и прикоснуться к настоящей реальной жизни, которой он просто боится.

Примерно так было и с Андрюшкой. В минуты бегства из Москвы он забыл и о жене и обо всем, что связано с памятью о ней — им владел тогда животный страх снова потерять свою свободу, страх перед своим торжествующим врагом. Но уже подъезжая все в том же вагоне к Уралу, он стал отходить от этого страха. И вот тогда на смену ему в его душе и памяти ярко до боли расцвели и Варя, и ее смерть, и, главное, его вина перед ней — грязное оскорбление нанесенное

ей в камере. И весь охваченный смертной тоской и раскаянием, он как-то сразу весь пропитался сознанием, что забыть он об этом не имеет права никогда, так же как никогда не перестанет казнить себя за свой грех. Сначала робко, а потом твердо и настойчиво подала голос и проснувшаяся фантазия, говорившая ему о том, как он регулярно, каждый день будет хоть ненадолго вспоминать прошлое и, главное, казнить самого себя. Он рисовал себе, что где-то, когда-то, во время работы, то вечером после нее, он будет задумываться, выполняя наложенную на себя эпитимию. И, чем больше он думал об этом, тем сильнее пропитывалось все его существо сознанием необходимости такого подвига, становившегося навязчивой идеей. Но в конце концов в расхлябанной душе его и фантазирующем уме это обратилось в привычку. И эту привычку он пронес через всю свою жизнь, вовсе не сознавая, что от живого чувства осталось совсем немного, и только тогда, когда он вспоминал последнюю просьбу жены, в его душе вспыхивала борьба: выполнить эту просьбу, искренне и честно, до конца он не мог, хотя понимал, что в сущности это и есть главное. Тогда он начинал казнить себя и уверять себя же, что он искренне простил виновника их драмы. Во всяком случае (как ни нелепо это кажется), Андрюшка мог честно сказать, что в его жизни не было ни одного дня, когда бы он не вспоминал о необходимости эпитимии. Правда, были в его жизни дни беспробудного пьянства, когда он в кромешном похмельи забывал его. В общем же, навязчивая идея необходимости ежедневного раскаянья, в его последние дни приняла дикие, уродливые формы для своего выражения.

Когда Андрюшка оставил Москву, в стране загоралось пламя гражданской войны. Поверхностно, как всегда, глядя на происходящее, он не примкнул ни к той, ни к другой стороне и все свои силы приложил к тому, чтобы быть в тот или иной момент, в том или ином месте, куда еще не проникло пламя этой войны; поэтому он метался то в Сургут или Нарым, то в Ташкент или во Владивосток, то еще куда-то. Физически здоровый и сильный, он не стеснялся никакой работой, чтобы прокормиться, а его студенческие документы, а, главное, обросший, оборванный, созвучный

эпохе, вид не вызывали ни в ком подозрений. Находясь все это время в сфере владычества московских хозяев, он огрубел, усвоил новый жаргон, твердо познал все новые правила и законы новой жизни. Побывал он мимоходом и в родном Забайкалье, но ни старухи-матери, ни ее могилы не нашел. Больше года он был учителем в Красноярске, но под каким-то благовидным предлогом оттуда уехал, так как всем учителям школы было предложено вступить в партию, чего Андрюшка твердо и честно не хотел.

К 1926 году судьба забросила его во Владивосток, где он устроился почтальоном. Тут он впервые услышал глухие и неясные разговоры и слухи о том, что немало людей пытаются переходить и переходят границу в Китай. Правда, в газетах чуть не каждый день были заметки и о том, что, при попытке такого перехода, такие-то и такие-то задержаны и, или погибли, или арестованы и их судьба предрешена. Это заставило Андрюшку задуматься.

Безденежная, бродячая, часто голодная жизнь надоела ему до предела. Вначале его удерживало простое чувство страха, но постепенно исчезло и оно, уступив место другому. Свою драму московских времен он вспоминал честно каждый день и наконец решил, что если даже он и погибнет на границе, то это будет Божьим возмездием за его грех перед давно умершей женой. И он твердо решил попытаться перейти границу в Китай. Зачем он это делает, что ждет его в стране, о которой он ничего не знал, кроме того, что там живет много врагов власти, которой он сейчас подчинен, Андрюшка не знал, да особенно и не думал об этом. Пожалуй больше всего толкало его на эту авантюру чувство бродяжничества, которое выработалось в нем за эти годы. Подталкивало и не умирающее никогда фантазерство, рисовавшее ему и давно исчезнувших экзотических мандаринов и блестящие палантины и загадочных узкоглазых красавиц-китайенок с крохотными ножками и все то, что он слышал в детстве о Китае и чего уже давно не было.

Глава 10

Через несколько месяцев после знакомства с Барб, Иван Иванович на ней женился. Значительно позднее, уже один, он, раздумывая об этом факте, никак не мог найти того исходного момента, когда и как начался процесс, приведший его к этому браку.

По существу добрая, а иногда даже слишком, Барб была взбалмошна и упряма. Кроме того, она была большая фантазерка. Годы для нее, как для женщины, подходили роковые — она уже не один год говорила, что ей скоро будет тридцать лет. Человек минуты и настроения — она постоянно была чем-нибудь увлечена, причем диапазон этих увлечений был довольно широк. Так однажды, начитавшись чего-то, она заявила, что решила перейти в католичество, а главным мотивом такого решения было то, что при исповеди в костеле ксендз сидит за решеткой и не видит и не знает, кого он исповедует. — «Подумайте только, какая в этом случае достигается беспристрастность», — говорила она, доказывая правильность своего решения. Но очень скоро, прочитав что-то об инквизиции и средних веках, она стала самой яркой сторонницей православия. В течение полугода она всем надоедала, уверяя в непревзойденной гениальности всевозможных импрессионистов, а вслед за этим все стены своей комнаты заклеила репродукциями Левитана, Нестерова и Сурикова. То она, к месту и не к месту, декламировала Блока, а потом все его творения стала называть лиловой пакостью... И так, переходя от одного увлечения к другому, она вдруг заявила за обедом, что она всегда мечтала о счастливой семейной жизни, домашнем уюте, и нарисовала перед остальными такую трогательную идиллию, когда уставший муж возвращается со службы, а она его ждет с обедом, с приготовленным халатом и мягкими туфлями, и так заботится о нем, что у нее самой от умиления показались на глазах слезы.

— «И когда он, тоже радостный и счастливый от встречи со мной, садится за стол, я говорю ему нежно, нежно: «Ванечка!»»

Под конец ее речи командир хохотал, как сумасшедший и, когда она произнесла имя «Ванечка», он, сразу став серьезным, умильным голосом добавил:

— «Выпей рюмку водки!»

Барб разозлилась.

— «Вы сухой материалист, у вас, вместо души, кавалерийский устав — рюмку водки нужно налить вам, а не ему», — и увлекшись, она показала на обедающего у них Ивана Ивановича.

Командир почесал затылок и задумчиво произнес:

— «Вот говорят» — чудес на свете не бывает, а вот тут на-ка тебе!.. А я ничего и не замечал. Молодец, Иван Иванович — тонко дела обделываешь, только я тебе не особенно завидую!».

Смущенный и красный как рак Иван Иванович не знал что и делать. Но Барб, как было сказано выше, была упряма, а смущенье Ивана Ивановича приняла за счастье, которое его ожидает.

Целый месяц вела она на него атаку, рисуя ему и себе картины одну привлекательнее другой. Иван Иванович сначала что-то нечленораздельно мычал, а потом тоже стал поддаваться колдовству Барб, и, однажды, прямо ей сказал, что он не совсем уверен в своем чувстве, что надобно подождать хотя бы годик, на что получил весьма резонный ответ Барб:

— «О вашем чувстве ко мне я лучше вас знаю, и вам беспокоиться об этом нечего!».

Свадьба была отпразднована шумно и пьяно, и молодые поселились в небольшой квартире, снятой для них командиром.

Идиллия, о которой щебетала Барб, продолжалась недолго: недели две-три, а потом Барб, неожиданно вступив чуть не в десяток разных благотворительных организаций, вечером возвращалась домой с очередного заседания тогда, когда Иван Иванович уже спал, а утром вставала часам к десяти, когда он уходил на работу в редакцию. Поэтому и готовить завтрак, обед и ужин было великодушно предоставлено ему самому. Если до женитьбы жизнь Ивана Ивановича особым порядком не отличалась, то после свадьбы она стала совершенно безалаберной.

Говорить о семейном уюте, о котором недавно мечтала Барб, конечно, не приходилось. Но если раньше он хоть питался и ложился спать более или менее аккуратно, то теперь, став счастливым мужем, он эту возможность потерял. Раньше он обычно обедал в недорогой русской столовой, носившей громкое наз-

вание «Яр», теперь же положение у него создалось довольно затруднительное: Барб, как было сказано, об обедах не беспокоилась, но, если Иван Иванович обедал не дома, приготовив сам себе довольно сомнительного качества обед, а шел обедать в «Яр», то Барб устраивала ему блестящий бенефис.

— «Хорош муж, глава семьи — по столовкам бегает, будто дома его голодом морят. О репутации жены подумал бы!», — кричала Барб. — «Я с утра до вечера занята, а он приходит домой к пяти часам и, видите ли, обеда себе сварить не может!».

Нужно сказать, что рыжеволосая красавица после свадьбы по настоянию Ивана Ивановича со службы ушла и с головой окунулась в общественную работу. Возвратившись домой с какого-нибудь заседания часам к двенадцати ночи, она будила мужа и ему приходилось выслушивать все события мировой важности, происшедшие на этом заседании.

— «Нет, ты понимаешь?», — горячилась Барб. — «Эта ведьма — Ольга Петровна — выступила против такого замечательного человека, как Аркадий Константинович! Я ей говорю очень вежливо и сдержанно, что не ее ума это дело — судить таких людей, а она обиделась и назвала его и меня дуумвиратом с диктаторскими наклонностями. Ну уж тут я не выдержала и тоже что-то ей наговорила. Аркадий Константинович, конечно, меня поддержал и общее собрание исключило нас обоих из правления. Ты понимаешь?! Ты понимаешь? Нас исключили!.. Ты должен завтра обязательно осветить все это в газете и разоблачить интриги Ольги Петровны, и пожалуйста, не смей отговариваться, что ты только экспедитор. Ты должен выявить правду и постоять за свою оскорбленную жену».

Такие и подобные монологи Барб иногда растягивала часа на два, во время которых Иван Иванович горестно вздыхал, что-то бормотал неопределенно — утвердительное и с тоской вспоминал то Дона Игнацио, то ресторан, где он мыл посуду, то какие-нибудь другие эпизоды и периоды холостой жизни. Денег у него на руках почти не бывало, так как он должен был сдавать все жалованье Барб, оплачивая при этом и все домашние расходы, и как он выходил из подобного положения не понимал он и сам.

Иногда Барб являлась к нему на службу в редакцию, и тогда она бывала самой любящей и заботливой женой.

— «Можно мне увидеть моего дорогого Жанчика?» — томно спрашивала она кого-нибудь.

Жанчик, если слышал это, малодушно спасался через задние двери, но это удавалось не всегда и, когда Барб ловила его за столом, то прежде всего оставляла на его щеке пунцовый след своих губ, а потом, не давая ему опомниться, начинала рассказ о несчастной женщине, которой необходимо помочь, требуется обязательно помочь и спасти ее.

— «Эта несчастная имеет четырех детей — такие очаровательные крошки! Но ее жизнь ужасна... Она была четыре раза замужем — все четыре мужа были отъявленные негодяи. Теперь она встретила хорошего, честного, замечательного, талантливого, страстно любящего ее человека — у него блестящее будущее — он будет вторым Рамон Наварро, он собирается в Холливуд — ему там обещали роли Гамлета, Мефистофеля или что-то в этом роде. Но у него нет денег на билет туда. Наша организация, истратив деньги на другие благотворительные дела, помочь ему не может, и мы собираем для этого средства среди частных лиц. Он обещает половину первого своего гонорара отдать нашей организации»...

В общем, все кончалось тем, что Иван Иванович шел к редактору просить аванс для будущего Рамона Наварро.

Но должно быть Барб была дальновидней Ивана Ивановича, когда говорила, что ей лучше знать о его чувстве к ней. Постепенно он не только свыкся с этим новым, совершенно безалаберным образом жизни, но уже не представлял себе иного. В отношении же чувства к Барб у него вышло не так, как бывает у всех, а совсем наоборот. Первое время было любопытство человека, впервые серьезно связанного с женщиной. — «Что же и как же дальше-то будет?» — раздумывал он. Потом родилось сожаление о прошлой холостой жизни, нередко переходившее в раздражение. Потом явилась привычка и сознание, что Барб все же его жена. Этому помогала и сама внешность жены: Барб, несмотря на свои годы была эффектной женщиной. Косметикой пользовалась она осторожно,

и когда они появлялись вдвоем на каком-либо балу или в театре, то Иван Иванович с гордостью замечал, что не одна пара мужских глаз, с явным одобрением, провожала его рыжекудрую жену. Это для простодушного Ивана Ивановича сводило на нет всю беспорядочность их жизни и сумасбродство жены. К началу 3-го года их совместной жизни он понял, что полюбил Барб — это чувство было большим и чистым, пронизанным всепрощением всех минусов жены. Он старался понять все ее выходки, иногда довольно грубые и оправдать ее во всем. «Такая уж у нее порывистая, увлекающаяся натура!» — думал он. — «Все это только потому, что она искренне хочет кому-то помочь, сделать какое-то доброе дело». Также доверчиво относился он и ко всяким ее протезам, вроде упомянутого выше будущего Рамона Наварро. Он верил ей со всем пылом своей простой души и ни разу ни одного самого маленького подозрения не рождалось у него. Эта доверчивость усугублялась еще тем, что Барб была действительно непримиримым врагом тех, кто отнял родину и у Ивана Ивановича. Попала она в Америку в 22-ом году.

В России она жила в Пензе с сестрой, где последняя, встретившись после революции с командиром Ивана Ивановича, вышла за него замуж. После этого они долго колесили по всей России, отыскивая такое место границы, через которое можно было бы вырваться на свободу. Наконец, им это удалось сделать на Кавказе и пробраться в Турцию. Оттуда бывшие сослуживцы командира выписали их всех в заокеанскую республику. Барб, из всех этих путешествий по родной стране, вынесла совершенно непримиримую злобу к ее хозяевам. Благодаря всему этому, Иван Иванович и полюбил и во всем оправдывал Барб. Сидя по вечерам один за какой-нибудь книгой, он вдруг откладывал ее и начинал думать о своей рыжей спутнице, отыскивая в ней все новые и новые идеальные качества, которым удивилась бы сама Барб, если бы он рассказал ей о своих думах.

И когда на четвертом году все полетело кувырком, а мечтания его об идеальных качествах жены оказались пустыми бреднями, Иван Иванович почувствовал тяжелый, ошеломляющий удар.

Это произошло в октябре 34-го года. Как то, при-

дя из редакции, он снимая пальто, увидел около вешалки листок светло-сиреневой почтовой бумаги, которую сам недавно купил для Барб. Ничего не подозревая, он поднял этот листок, исписанный ее неровным, кривобоким, неразборчивым почерком. Нужно сказать, что Барб в это время готовилась к какому-то любительскому благотворительному спектаклю и поэтому, прочитав первые слова записки: — «Мой любимый, единственный Серж!», — Иван Иванович решил, что Барб выронила переписанную роль и пожалел ее. — «Как же ты, бедная, теперь без роли репетировать будешь?». Но по мере того, как он читал, перед ним, стала открываться другая, уже не театральная роль жены. Фразы «Я без тебя не могу жить!», «Жду не дождусь встречи!», «Я твоя, а ты мой!» — и подобные им, заполняли сиреневый листок бумаги. Но самое страшное было в конце: — «Мой глупый попугай Ванька совсем слепой, и нам бояться нечего».

Растерявшись от неожиданности, оглушенный как бы тяжелым ударом, Иван Иванович, потирая лоб, сидел на стуле в углу передней и непроглядный туман серыми волнами плыл перед ним. Было больно, до желания кричать, от потери того, во что верил, и стыдно за то, что эта наивная вера в Барб жила в нем.

Стучали на стене часы, и только они одни нарушали тишину квартиры, а он все сидел в углу, и душу его жгли то боль, то стыд. Но постепенно последний стал брать верх и вместе с этим стали приходить в порядок мысли. Часов в десять он встал, прошел в столовую, вкипятил чайник и налил себе чаю. В это время вернулась Барб.

Как всегда шумная и быстрая, она подлетела к мужу и звонко его поцеловала. Но он не ответил ей, не приласкал, как обычно, а молча тяжелым взглядом уперся в нее. Ее глаза блестели весело и беззаботно, рыжие локоны обрамляли, как сияние, любимое еще несколько часов назад лицо, и Ивану Ивановичу опять стало нестерпимо больно и жаль самого себя. Но преодолев момент этой слабости, он молча протянул ей сиреневое письмо.

Барб вспыхнула, растерянность и испуг мелькнули в ее лице, но только на момент, а потом она громко расхохоталась:

— «Глупый, да ведь это же роль!»

— «А это тоже роль?» — спросил Иван Иванович, указывая на роковую фразу — «Мой глупый попугай Ванька».

Барб побледнела, опустилась на стул и закрыла лицо руками. Иван Иванович молча встал, вышел в переднюю, надел пальто и навсегда оставил квартиру, где недавно рисовал то, чего никогда и не было.

Глава 11

Дремучая, многовековая, запутанная цепким кустарником тайга, у подножья которой громоздились перепутанными кучами упавшие, может быть, десятки лет назад, сестры живых, рвущихся к небу сосен, спала непробудным зимним сном. В темноте ноябрьской ночи, уходящие вверх стволы казались бесконечно высокими, и на темном фоне неба кроны их рисовались уродливыми черными призраками, пугающими, как привидения и как привидения беспощадными. Вершины сосен сходились близко одна к другой, образуя крышу, сквозь которую изредка прорывался свет звезд. Этот свет, с трудом освещал скованную морозом землю, вспыхивал мертвыми блестками на неподвижном смерзшемся нарте. Не яркие отблески солнца в погожий зимний день, а зловещее, мертвое сияние излучал таежный снег. Горы, то засыпанного снежной пылью, то голые и черные, кучи сухого валежника протягивали в разные стороны крючковатые руки. На редких просветах и полянах сумасшедше металась тень раскачиваемых ветром деревьев. Налетевший откуда-то с далекого запада ветер раскачивал столетние стволы, создавая из их стона и скрипа дикую, нечеловеческую симфонию. Осатаневший в своем полете ветер, встретя на пути своем взъерошенные вершины, с бессильной злобой обрушивался на них. Проваливаясь изредка в просеки и глухие поляны, он крутил там снежные столбы, вертелся в невиданной пляске, буйствовал, безумствовал. Жгучий, невыносимый холод непроницаемым пологом повисший над этим мертвым царством вымещал свою злобу и на прошедшем лете и на тех роковых для него днях, когда солнце скажет свое победное слово и прозрачные

ледяные сосульки повиснут на кронах мертвых теперь сосен. Великодержавный владыка ноябрьских дней, холод, дав волю своей ярости, радостно приветствовал порывы своего верного союзника, задышащегося от ярости ветра. Непроглядная темень тайги стонала, охала, плакала детскими глосами, без всякой паузы переходившими в угрожающие смертью басовые ноты или пугающее завыванье.

Но как раз, именно, такая сумасшедшая ночь и нужна была трем жалким, маленьким человеческим фигурам, осторожно, как воры, пробиравшимся посреди разбушевавшейся тайги. Неслышно, как тени, скользили они между хаоса промерзших стволов и груд хвороста. Чуть слышный хруст сухой ветки под ногами кого-нибудь из них, заставлял их останавливаться и чутко прислушиваться. Правда, уже не раз была испытана эта непроходимая дорога проводником китайцем, но, по последним сведениям, и на этот проклятый путь обратили свое внимание беспощадные пограничники.

Поздно вечером вступили путники в заколдованное, мертвое царство.

Ни одного слова, согласно договоренности, не произнесли они, прорываясь сквозь буранную таежную ночь. Гуськом плелись они друг за другом, задышавшись от холода, волнения и усталости, но об отдыхе не могло быть и речи. Слабосильный должен был погибнуть — помочь ему никто не имел права — ставкой была жизнь остальных.

К пяти часам утра, когда еще глубокая ночь висит над землей, они должны были достигнуть цели или погибнуть. Как машина, не ускоряя, не замедляя шага, в мягких улах на ногах, шел проводник. Казалось, для него не существовало ни упавших на пути огромных мертвых стволов, ни цепких куч хвороста. Но спутники его уже почти выбились из сил, с трудом переставляя уставшие ноги, задышавшись от лютого мертвого холода; уже почти полуживые, они шли. Они не знали времени, так как, вдобавок к условленной плате, проводник взял у них часы. Ночь казалась бесконечной, бескрайней — мертвая тайга и даже страх перед смертельной опасностью как-то поблек, побледнел. Но они шли.

Вдруг проводник остановился и молча поднял ру-

ку. Это был условленный знак, что они подошли к границе и остается самое опасное место. Китаец обернулся и погрозил им кулаком — это означало, что нужно напречь все оставшиеся силы. Они стояли на опушке тайги. Впереди расстилалась покрытая редкими кустами равнина, конца которой в темноте не было видно, но они знали, что почти на противоположном краю равнины проходит граница. Черное небо висело над ней, крошечная темнота зимней ночи окутывала все кругом. Здесь не было спасительной тайги и только тьма была союзником путников. Китаец махнул рукой и быстро побежал по открытому полю — здесь скрываться было негде и, только быстрота ног, да надежда, что здесь еще нет охраны границы, могли помочь. Беглецы знали, что бежать нужно будет около двух километров, но надежда близкой, вот тут царящей свободы, придала им сил. Быстрыми темными тенями скользили они по открытому полю. И тогда, когда до цели оставалось совсем немного, откуда-то справа, разрывая тишину, грянул резкий выстрел, затем второй, третий, потом захлебывающимся лаем залились пограничные овчарки. Это было самое страшное. Выпущенные в темноте пули не достигли цели, но бешеный лай натренированных псов приближался быстро и неумолимо. Стало ясно, что до границы не добежать. Китаец-проводник вдруг перешел на нечеловечески быстрый аллюр и скрылся. Два человека остались одни. Вдруг из темноты на того, кто был впереди, вылетело что-то огромное, страшное в своем бешенстве, и страшным прыжком свалило его с ног. Второй схватил лежавшую на пути толстую палку и когда увидел перед своим лицом звериную пасть, не думая сунул эту палку в горячую пасть овчарки. С визгом покатился зверь по снегу, а человек, перепрыгнув через него уродливыми в темноте прыжками, достиг границы и перебежал через нее.

Напряжение и усталость свалили его с ног. Он помнил, как над ним склонился проводник, бормоча что-то ободряющее, а потом все исчезло в сером тумане. Этим человеком был Андрей Коренев.



После этого несколько страниц рукописи были настолько изъедены мышами и, под влиянием сыро-

сти, слова на них настолько расплылись, что разобрать что-либо на них было невозможно. Уцелевшее же продолжение повести начиналось так:

Небольшая электрическая лампочка под красным, выгоревшим бумажным абажуром освещала сидящих за столом двух человек. Оба были в достаточной степени пьяны и разговор их, пропитанный то неугасимыми воспоминаниями, то горькими жалобами на жестокую судьбу, перескакивая часто без всякой связи с одного предмета на другой, был тоже пьяный. Одним из этих людей был Андрюшка Корнев, а другая служила кельнершей в самом третьесортном кабачке, носившем гордое название «Ливадия» и помещавшемся в подвале большого, запущенного дома. Звали ее Лидка, фамилией ее никто не интересовался и слыла она даже в своей «Ливадии» самой доступной и нетребовательной кельнершей. К тому же она любила выпить и в пьяном виде то слезливо жаловалась на свою горькую долю, то пыталась изобразить неприступную Несмеяну-Царевну, но одинаково охотно, в обоих случаях, отзывалась на приглашение пьяных посетителей пройти по свежему воздуху от Ливадии до их квартиры.

С Андрюшкой, который нередко посещал кабачок, у нее создались совсем особые отношения.

Однажды, подвыпив, он поманил ее пальцем к своему столу и чокнувшись предложил ей посетить его «убогое жилище», как он называл свою действительно убогую комнатуху. Лидка охотно согласилась, но так как дело было зимой, а идти до Андрюшкиной квартиры было довольно далеко, то на морозе он немного отрезвел и течение его мыслей, из фризовольно-легкомысленного, приняло другое направление.

Он вспомнил страшные московские дни, вспомнил Варю, которую искусственно выбрасывал из памяти только в пьяном виде, и ему вдруг стало до боли жалко и себя и шагавшую рядом с ним опустившуюся женщину. Он остановился. Предполагая, что он просто спяна не может идти самостоятельно, Лидка взяла его под руку.

— «Ну пойдем как-нибудь!» — проговорила она.

— «Ты только дорогу указывай, а я уж тебя доведу...», — и, хихикнув добавила: — «А там и протрезвить сумею».

— «Нет, ты постой», — не совсем разборчиво отвечал Андрюшка. — «Ты вот протрезвить меня хочешь, а я совсем, вовсе трезвый. Только мне и себя и тебя жалко... За что все это мы тащим за собой? Вот тебя все Лидкой зовут, ну, а я хочу звать тебя на «Вы» и по имени-отчеству».

Привыкшая к подобным объяснениям Лидка не обратила внимания на его слова и упорно тащила его дальше. Андрюшка пошел покорно, указывая дорогу дальше, но больше ничего не говорил, думая какие-то свои пьяные думы.

Женщина была одета в легкое осеннее пальто и пока они добрались до андрюшкиного обиталища, отчаянно промерзла. И тут произошло то, чего меньше всего она ожидала.

Комната была хорошо натоплена, и тепло, охватив ее продрогшее тело, снова пробудило замолкнувший на морозной улице голос хмеля. Сбросив пальто, она попыталась усесться к Андрюшке на колени, шепча какие-то уже привычные ей, пошлые слова. Но он не позволил ей это сделать. Театральным жестом, указав ей на второй колченогий стул, он произнес:

— «Садитесь туда, Лидия!..» — и значительно замолчал.

Лидка недоумевала в чем дело и чего он от нее хочет. В испуганном мозге мелькнула мысль, что он сейчас ее выгонит из этого благодатного тепла и ей, полуголодной, предстоит идти домой в другую часть города в свою холодную конуру.

— «Я вас спрашиваю как дальше?» — продолжал Андрюшка.

— «Что дальше?» — пролепетала перепуганная Лидка.

— «Ну дальше — как вас по отчеству звать?» — настаивал Андрюшка.

Вконец растерявшаяся Лидка, ничего не понимая, тихо ответила:

— «Ну, Андреевна... только нам это непривычно!».

— «Так вот, Лидия Андреевна, — будем хоть в этой конуре людьми», — торжественно закончил свою мысль Коренев. — «Мы сейчас поужинаем, чем Бог послал, поговорим, как следует, словом проведем вечер так, как проводят вечер порядочные люди»...

— «А потом?» — наивно заинтересовалась Лидка.

— «Потом?» — разъяснил положение Андрюшка.
— «Потом я вам, как гостье, уступлю кровать, а сам лягу на кушетку».

Лидку взорвало.

— «Так как же это все выходит? Ты там, я — здесь, а что я завтра есть буду?».

Андрюшка вынул бумажник.

— «Вот вам Лидия Андреевна десять даянов — дал бы больше, да у самого гроши остаются, но...» — голос у него сорвался и зазвенел, — «но будем хоть сегодня теми, кем мы должны быть, будем просто людьми, которым... которым жаль друг друга. Ведь и я не всегда ворую сигареты со своей фабрики, да и вы, наверное, были не той, как сейчас. Ну, сделайте милость, отойдите от настоящего, заставьте себя забыть его! Ведь и вам не раз бывало жаль себя, ведь и у вас есть, чем вспомнить хорошее прошлое, ведь оба мы бездомные бродяги, часто пьяные, но неужели проклятая жизнь совсем с головой засосала нас в свое гнилое болото, выжгла наши души! Ну, ради наших прошлых дней, наших светлых воспоминаний, ради Христа наконец, будем сегодня людьми — вы гостьей, просто гостьей, а я... я просто хозяином».

И распутная, чуть ли не всегда пьяная, Лидка, опустившись на указанный ей стул, уронила голову на стол и, закрыв ее руками, горько расплакалась. Должно быть короткие, но звучавшие горячей искренностью и болью, слова Андрюшки окончательно отрезвили ее и эти слезы были не слезами пьяной женщины, а слезами о похороненном навсегда прошлом, о рухнувших надеждах, слезами вызванными сознанием своего бесповоротного падения. Грубая ругань, тяжелые оскорбления, пьяный угар стали для нее привычной атмосферой и теперь, услышав слова, от которых она отвыкла и которые воскресили в ней мелкие осколки разбитой души, она плакала горько и тяжело. И когда она наконец подняла свое опухшее от пьянства и слез лицо и взглянула на Андрюшку, то это лицо было на редкость некрасивое, но на нем горели омытые слезами горечи и боли глаза, в которых светились и бескрайняя благодарность, и робкая надежда, и то чистое, что светится в глазах чистой девушки.

Долго сидели за столом они в этот вечер, посвятив его воспоминаниям прошлого и, наверное, не всякий благовоспитанный молодой человек в богатой столовой бывал так деликатен, каким был Андрюшка. Потушив свет, они легли спать, как сказал Андрюшка, и давая отдых усталому, измученному телу, под теплым одеялом, в теплой комнате, вся во власти прошедшего, неопоганенного вечера, Лидка уснула со счастливой улыбкой.

А на другое утро, когда он проснулся, то увидел ее уже одетой, осторожно приготавливавшую завтрак. Пока он одевался она вышла в коридор, а потом, сидя за столом, они спать говорили о разных предметах, не имевших отношения к их настоящей жизни. Когда же ему было время идти на работу, она надела пальто и у крыльца, прощаясь с нею, не уставляясь о дальнейших встречах, он, низко склонившись, поцеловал ей руку. Широко раскрыв глаза, отдохнувшая за ночь, помолодевшая и привлекательная, она вдруг поднесла эту поцелованную им руку к своему лицу и коснулась губами места, которое он поцеловал.

Обычным фантазерством, бессознательной любовью к красивым позам был устроен Корневым этот эпизод. Но он приносил ему какое-то не совсем понятное облегчение в его одинокой жизни. Как часто бывает у людей с не очень крепкой волей, воспоминания о Варе жили в нем не затушевываемые ни временем, ни жизненными неудачами. Дни, которые он много лет назад провел в тюрьме, его поведение в кабинете Волокитина и особенно последняя страшная ночь в Москве, в любую минуту воскресали в его памяти ярко и отчетливо до мелочей. Строго говоря, это было единственным, что накрепко впиталось, въелось в его душу, а все остальное проходило как обычно, не оставляя особых следов в душе, природное легкомыслие не оставляло его, хотя сообразно возрасту, ему уже давно пора было остепениться. Давно ушедшая из мира Варя и все с ней связанное оставалось для Андрюшки главным стержнем всей жизни. Осознать, что все это уже не реальность, он просто не мог, так же, как не мог перебороть себя в своей ненависти к Волокитину, не зная даже, жив ли тот или нет. К этому стержню прилипали и легко отва-

дивались впечатления и переживания настоящей живой жизни, оставляя его постоянным, неизменным. Похвалиться физической верностью погибшей жене он не мог, особенно тогда, когда хмель туманил мозг, но каяться в этом, винить себя в измене ее памяти он не мог и не чувствовал никогда угрызений совести, ибо все, что было связано с памятью о Варе было явлением особого, для него сверх-жизненного порядка, к чему никакая грязь, никакая пошлость просто не могли не только пристать, но и прикоснуться. Здесь была жизнь со всеми ее темными моментами, а там было нечто идеальное, недостижимое как идеал и, как все недостижимое, стояло вне обычных жизненных установок.

Он никогда не каялся и в том, что в пьяные минуты, забывал про этот идеал, наивно полагая, что память о прошлом в такие минуты только может оскорбить этот идеал. Он помнил очень крепко, как в тюрьме в минуту отчаянья бросил Вару грязное, необоснованное оскорбление и в глубине души боялся, что в пьяные минуты сознание этого, обостренное алкоголем, может толкнуть его на сумасшедшие поступки в отношении самого себя. Но это был не твердо оформившийся страх, а слабый намек на него, туманный и расплывчатый, и он старался об этом не думать. И не чувствуя и не понимая, что своим поведением оскорбляет свой идеал, Андрушка был твердо уверен в верности ему...

Много пришлось ему пережить после того, как зимней ночью под пулями пограничников перешел он тонкую линию границы: познакомился с долгими днями безработицы и голодовки; одно время почти опустился на дно, пьянствовал тяжело и грязно и бывал буен во хмелю; сидел, правда, недолго (два раза) в китайской тюрьме за беспаспортность и бесчинства, но в конце концов все же одумался. Последнее время он остепенился, устроился работать на табачную фабрику и стал жить так, как жили многие сотни подобных ему, выброшенных с родной почвы изгоев. В нем проснулась его природная любовь к общению с людьми, чего осуществить он не мог, так как среда, в которой он вращался, к этому не располагала: такие же, как он, простые рабочие, обремененные семьями, на все его попытки как-то сблизиться, ответить ему тем же не могли. Каждая копейка была у них на счету: дома

ждала семья, которую нужно было кормить, одевать, учить, и все их думы, чаяния и намерения упирались в эти тяжелые вопросы. Им было просто не до него.

И вот тогда-то он и нашел в лице опустившейся Лидки достойного компаньона. Но с самого первого знакомства с ней, когда она впервые посетила его, до самого конца — трезвый или пьяный — он твердо держивал тот тон, который установил с самого начала. Пустой фантазер, слабовольный и непоследовательный, но неиспорченный по природе, он инстинктивно и упорно искал человека, с которым можно было бы вести себя как с человеком, которому можно и пожаловаться на свою судьбу и поделиться мыслями и просто провести время за пустым, обыкновенным разговором.

Лидка, как многие женщины тех лет, была вдовой. погибшего где-то под Волочаевкой, капитана. Попав в наш город, не найдя никакой работы, она удовлетворилась ролью кельнерши, с которой были связаны и не совсем кельнерские обязанности. Внешность ее оставляла желать многого, и только в вечно буйной, пьяной «Ливадии» она нашла применение своим возможностям. Махнув на все рукой, она начала пить и нередко поздней ночью, заработав чаевые гроши, шла пошатываясь, полуголодная домой в свою убогую конуру. Среди посетителей «Ливадии» она слыла под именем «Лидка третьего сорта», получая взамен и соответствующее отношение посетителей.

Дикая жизнь, бессонные ночи, водка уверенно и беспощадно подтачивали ее здоровье, и в тот первый вечер, когда она пришла к Кореневу и плакала, выслушав его слова, сухой, надрывистый кашель жестоко мучил ее. Когда Андрюшке становилось по вечерам особенно тоскливо, он шел в «Ливадию», забирал с собою Лидку, а после коротали вдвоем вечер в его комнате, искусственно выбрасывая из памяти все те тяготы, которые их окружали и которые заполняли всю их жизнь. Только денег она у него больше не брала.

— «Слушай», — говорила она. — «Ты мне даешь то, что дороже всяких денег — зачем же хочешь и ты унижить меня?».

И наговорившись вдоволь, на что Андрюшка был

великий мастер, они располагались на ночь по разным углам комнаты и спокойно засыпали до утра.

В последнюю их встречу гостеприимный хозяин устроил, как он сам сказал, гала-ужин и среди всяких яств на столе красовалась бутылка водки. Оба были в достаточно разобранном состоянии, но ни у одного из них не мелькнула самая маленькая вольная мысль. Только разговор принял драматический оттенок. Лидка никогда не говорила ему о своем прошлом, но на этот раз язык у нее развязался. Раскрасневшись от выпитой водки, прерывая слова сухим кашлем, она не мигая смотрела на выцветший абажур, собираясь с мыслями. Они давно были на «ты», но он всегда звал ее Лидой, а она его Андрюшей.

— «Вот ты послушай, что я тебе скажу», — начала она. — «Ты ни разу не спросил меня, кем я раньше была. Не так, как у нас в кабаке: «Эй, Лидка третьего сорта!» — наверное, тоже генеральшей была — ну и ублаготвори по-генеральски».

Она замолчала, молчал и Коренев.

— «И спасибо тебе», — продолжала она, — «что не спросил: я гимназию кончила — не в кельнерши третьего сорта готовилась!.. И еще одно — моего убитого мужа тоже Андреем звали. Ты не был на этой проклятой войне, не знаешь ее, да и хорошо, что не знаешь. А я ведь с мужем на санях всю Сибирь проехала... Любил он меня, а я его... да лучше не говорить про это. Мы решили уволиться из армии (тогда еще можно было) и из Владивостока приехать сюда. А тут зима подошла, на Хабаровск наши пошли. Письма он мне с оказией присылал... какие это письма были!... А потом вдруг вызывают меня в штаб и говорят...» — Лидка закашлялась долгим мучительным кашлем. Схватив бутылку, она отпила прямо из бутылки большой глоток. — «Так легче будет!.. — Говорят — героем погиб, за пулеметом. Тело обещали на днях привезти... Здесь с почестями похоронить. Почести... а душа-то моя где? — почести!... И привезли...» Пснимаешь, ты, в товарном вагоне на полу что-то голое, страшное лежало, замерзшей кровью залитое! Объявили потом, что ранен был; пока мог из пулемета отбивался, а потом его те.. проклятые захватили и рубили... Много раз рубили... А потом раз-

дели догола и на снегу бросили... Наши тело по-добрали... И веришь ли», — голос женщины упал до тихого шепота. — «Веришь ли — правая рука замерзшая к груди прижата, а пальцы в крестное знаменье сжаты!.. Живым еще замерзал... Одели его как смогли, а эту руку так и оставили, так и в гроб положили... А я... я, Лидка третьего сорта, жена генеральская!!!».

Она опять схватила бутылку и большими глотками допила ее содержимое.

— «Ты понимаешь теперь, за что я тебе благодарна?» — уже нетвердым голосом спросила она. — «За то, что генеральской женой третьего сорта меня не посчитал».

Коренев молчал, широко раскрыв глаза и даже немного побледнев от всего услышанного.

И вдруг она вскочила со стула. Заломив пальцы, она вытянула вперед сжатые руки.

— «Всем, всем, что есть на земле, Именем Того, Кого боюсь назвать, проклиная их! Сжатыми для креста пальцами его смерзшейся руки грожу им: — «Да расточатся враги Его». Нет, мало! Пусть сгорят, испепелятся, как тает воск от лица огня».

Она замолчала, замерев в своей мучительной позе, а Андрюшка, вспомнив Волокитина, тоже встав, ответил ей:

— «Я тоже ненавижу, тоже клянусь... но нельзя мне этого... нужно, наоборот, простить, а я не могу!...»

Лидка опустилась на стул.

«Значит, или не ненавидишь полной мерой, или не простишь — а как же иначе? Но хватит — устала я, хоть и третьего сорта...»

Пошатываясь она подошла к кровати и в мучительном припадке кашля упала на нее.

А на другой вечер весь этот эпизод Андрюшкиной жизни разрешился совсем неожиданно. Весь день он думал о Лидке и вдруг догадался, что она больна, что кашель ее смертельный, что ее нужно лечить. С этой мыслью он направился в «Ливадию». Подходя к ней, услышал грубую площадную ругань двух мужских голосов и женский крик. Двое пьяных тащили, наверное, тоже пьяную, Лидку в разные стороны, и один из них вдруг ударил ее по лицу — грязное сло-

во повисло в воздухе. Все завертелось в безобразной драке и только в полицейском участке, весь избитый, Андрюшка пришел в себя. Два месяца провел он в тюрьме, а когда вышел, — узнал, что Лидка умерла. Но на всю жизнь запомнил он ее полупьяные слова: «Или не ненавидишь полной мерой или не простишь».

Само собой разумеется, что в результате всех этих приключений, Коренев свою службу потерял и, разочаровавшись в нашем городе, решил двинуться на юг в китайский Вавилон, многоязычный, интернациональный Шанхай, где, как ему говорили, устроиться можно было гораздо легче.

Здесь следовало опять несколько страниц испорченных водой и изгрызенных мышами, но по отдельным сохранившимся фразам можно было понять, что в Шанхае Андрюшка устроился телохранителем к какому-то богатому китайцу. Далее в странной рукописи можно было прочесть следующее:

В тот самый день, когда судьба преподнесла Андрюшке очередной сюрприз, он был с утра почему-то в особенно радужном настроении. Охраняемый им китаец в этот день никуда не выезжал из дому, и Коренев, лежа на кушетке в отведенной ему комнате, упивался удивительными приключениями князя Бектабекова, описанными в книге Юрия Галича «Китайские тени». К вечеру хозяйский бой (слуга) передал ему, что он может располагать до утра своим временем по своему усмотрению, так как хозяин не особенно здоров, и никуда не поедет. Так как книга была прочитана и делать было больше нечего, Андрюшка решил съездить поужинать в один русский ресторанчик, расположенный на другом краю гигантского города. Часов в одиннадцать вечера, немного под хмельком, он отправился домой. Ему нужно было пройти несколько довольно темных кварталов, прежде чем выйти на людную улицу, где ходили и автобусы и трамваи. В одном из узких переулков, пересекавших его путь, он заметил что-то странное: какая-то большая куча, из которой время от времени мелькали то ноги, то руки —

шевелилась, двигалась то взад, то вперед, подымаясь в высоту человеческого роста, падала на землю, но все это происходило в полной тишине. Заинтересованный этой картиной, Андрюшка направил туда свои не особенно твердые шаги. Увидя его, из странной кучи отделился китаец и двинулся ему навстречу с явно агрессивными намерениями. Изучивший от нечего делать еще в нашем городе японскую джиу-джитсу, Коренев едва заметным быстрым движением сбил китайца с ног и увидел, что из кучи поднялась во весь рост чрезвычайно высокая палкообразная фигура с завязанным тряпкой ртом, а на ней повисли еще три китайца. Андрюшка сообразил, что он оказался свидетелем, довольно обычного в те времена, похищения состоятельных людей с целью выкупа. Перепрыгнув через тело сбитого им бандита, он бросился в самый центр боевых действий. После того, как он сбил еще одного китайца, висевшего на длинной фигуре, побоя осталось за ним. Уцелевшие бандиты сейчас же исчезли в темном переулке. Длинная фигура неизвестного, спасенного Корневым, стояла покачиваясь, еле держась на ногах, что-то мычала через тряпку, закрывавшую рот, и мотала головой себе за спину. Только тут Андрюшка заметил, что руки незнакомца связаны за спиной. Быстро сорвав с лица его тряпку, он развязал ему руки. Вид незнакомца явно показывал, что борьба его с бандитами была длинной и упорной — во всяком случае пиджак висел разорванным в клочья, а одна оторванная штанина, отпустившись на землю, открывала длинную мускулистую ногу; от галстука и рубашки остались тоже одни намеки.

Незнакомец подойдя к ближайшему фонарю оскалил рот в широкой добродушной улыбке.

— "Thank you!" — произнес он, протягивая руку Андрюшке.

Точнее было бы назвать его руку лапой, так как в ней потонула андрюшкина рука и чуть хрустнули суставы от крепкого пожатия. Видно было, что этот человек обладал огромной силой, с которой не смогли справиться несколько похитителей. Спасенный начал что-то быстро и убежденно говорить, но так как андрюшкины познания в английском языке были весьма скромны, то он только мотал головой в знак согласия,

повторял одно слово «yes». Подойдя к ближайшей телефонной будке, длинный незнакомец набрал какой-то номер, и через несколько минут подлетела машина такси. Незнакомец открыл дверцу, любезно приглашая Кореневу. Машина вылетела на главную улицу и остановилась около отеля, который считался доступным только для людей с весьма большим капиталом или людям, занимавшим высокое положение.

Появление в холле живописной, в одной штанине фигуры вызвало целый переполох. К нему сбежались служащие отеля, что-то говоря, рысью сбежал по лестнице управляющий отелем и, поддерживая под руку незнакомца, хотел ему помочь пройти в его номер. Но тот отстранил руку управляющего и поставив Андрюшку перед собой, опустил ему на плечи свои руки и стал что-то рассказывать. Все находившиеся в холле склонились перед Корневым в низком поклоне, а управляющий долго и крепкожимал ему руку. В отеле нашелся переводчик, который объяснил Андрюшке, что спасенный им был одним из сказочно-богатых американских «королей», про которых Корнев читал не раз, а потом, прослушав внимательно долговязого богача, добавил, что тот просит его — Андрюшку — здесь же в холле, выпить за их общее здоровье. Как по волшебству перед ними оказался человек с подносом, на котором стояла бутылка и два бокала. Спасенный сам налил бокал, поднес его Андрюшке и опять что-то стал говорить. В переводе на русский язык оказалось, что он горячоблагодарит своего спасителя и в виде награды предлагает ему выхлопотать в кратчайший срок правона въезд в Америку. Андрюшка повертел головой, чтобы убедиться, что все это не сон, но, не желая терять своего достоинства, дал согласие тоном, как будто бы делает великое одолжение.

Незнакомец полез было в карман, видимо, за визитной карточкой, но ни содержимого кармана, ни самого кармана не оказалось: бандиты успели им и его содержимым воспользоваться. Незнакомец опять весело рассмеялся и что-то сказал окружающим. Ментально, как и поднос с вином, в руках управляю-

щего оказался блок-нот и карандаш. Незнакомец черкнул несколько слов и протянул вырванный листок Кореневу.

— «Он просит вас приехать сюда завтра к часу дня с этой бумажкой. Вас проведут к нему и он будет приветствовать вас соответствующим моменту завтраком», — перевел переводчик.

Андрюшка с достоинством нагнул в знак согласия голову.

Переводчик спросил андрюшкин адрес и на вызванной машине он был доставлен в дом своего китайца.

— «Совсем, как в «Китайских тенях», — подумал Андрюшка, засыпая.

Но радужным мечтам Андрюшки о таинственной и влекущей Америке не удалось сбыться. Нужно сказать, что в те времена Китай представлял собой не целое государство в обычном смысле этого слова, а отдельные, часто огромные районы, возглавляемые различными правителями с громкими званиями маршалов, генералов и т. д., которые почти все время вели борьбу между собой. Одни из этих правителей поддерживались Европейскими державами или Америкой, другие делали ставку на Советский Союз. Главными претендентами на верховную власть страны были представители севера во главе с маршалом Чжан-Цзо-Лином и южане, возглавляемые Чан-Кай-Ши явно — розового оттенка. Наряду с этими главными правителями были и правители других провинций, не признающие вообще никого, но имевшие свои армии. Поэтому огонь гражданской войны вспыхивал почти постоянно то в одном, то в другом районе. Само собой разумеется, что все эти правители засылали во вражеские районы своих агентов для сбора нужных сведений.

Чем занимался охраняемый им китаец Андрюшка не знал, но его часто удивляло, что его хозяин, иногда поздней ночью, выезжал в какой-нибудь далекий пригород, заходил в убогую, бедную фанзу, а машину отправлял домой. В таких случаях он возвращался обычно утром пешком, переодетый в костюм простого китайского рабочего. Бывали случаи, когда к нему, обычно вечером, или тоже ночью являлись какие-то китайцы. тоже бедно, а иногда по-нищенски одетые,

но их всегда сразу же провожали к хозяину, с которым они вели какие-то беседы до поздней ночи.

И вот ранним утром того дня, который сулил Андрюшке новую блестящую жизнь, в ворота дома раздался громкий стук, затрепала взламываемая калитка и во двор ввалился целый взвод вооруженных полицейских. Расталкивая полупроснувшихся слуг, они с маузерами в руках бросились в дом. В тот же момент в комнатах хозяина раздался резкий выстрел, а когда полицейские и вместе с ними перепуганные прислуга и Андрюшка вбежали в кабинет хозяина, то увидели его лежащим на полу с простреленным черепом. В сжатой руке его темнел небольшой браунинг. Весь участок был оцеплен полицией, в доме с утра до вечера производился самый тщательный обыск, около согнанной в одну комнату прислуги и Андрюшки безотлучно стоял часовой и к вечеру их всех на грузовике под конвоем отвезли в главное полицейское управление. Только тут Андрюшка понял, что его хозяин был очень важным агентом северян, за которым давно велось наблюдение.

Допрос прислуги длился всю ночь и Андрюшка с сердечным трепетом наблюдал, как падали в кровь избиваемые слуги его покончившего с собой хозяина, от которых требовали каких-то сознаний в том, что они участвовали в шпионской работе своего господина. Когда дошла очередь до Андрюшки, главный следователь в нерешительности остановился: он знал, что власть юга, которой он служил, имеет большую поддержку со стороны Советского Союза, иначе говоря русских, каковым был и Андрюшка.

Применить к Андрюшке те меры, которые применялись к китайцам, было опасно — в примитивном уме не очень грамотного следователя все русские объединялись в одно, а стало быть, особые меры могут вызвать недовольство русских друзей, а главное неудовольствие начальства. Он через переводчика выяснил чем занимался Коренев у бывшего шпиона, задал ему еще несколько незначительных вопросов, но все же, на всякий случай, отправил его вместе с остальными арестованными в тюрьму.

Таким образом в те часы, когда спасенный от банкетов американец ждал Андрюшку с богатым завтра-

ком и повторным обещанием устроить ему переезд в Америку, последний, в грязной сырой камере в компании с арестованными китайцами, рисовал себе как сложились бы все обстоятельства, если бы он из богатого отеля не поехал домой, а провел бы ночь, все равно где, хоть в ночлежке, но зато теперь все было бы иначе.

Около месяца просидел он в этой камере. Каждый день, а то и ночью его невольных companions вызывали на допросы, с которых они приходили или их приводили, в самом жалком виде. Через несколько дней вызванный на допрос повар самоубийцы-разведчика не вернулся. Затем также исчез шофер. Остальные три китайца, примирившись с ожидаемой их участью, спокойно, с застывшими лицами, сидели на полу, ожидая очередного вызова.

Вскоре Андрюшка остался один. И снова сидя в тюрьме, сам не зная за что, он вдруг ярко и отчетливо вспомнил другую камеру, страшные переживания тех дней, лампочку под потолком, кабинет Волокитина, возродилось, как живое, лицо Вари, грязное оскорбление, которое он бросил тогда ей. Горячей болью заболела душа, мстя за его непрощаемую вину. Как сквозь сказочную огромную линзу видел он все внешние подробности тех дней, подробности, которые мучили и жгли, но самым страшным было воспоминание, как подло-угодливо вел он себя в разговоре с Волокитиным, как вскакивал со стула, кланялся, поддакивал. И снова ненависть, неугасимая прошедшими годами, вспыхнула, загорелась ярким пламенем. Бросая ему упрек за невыполнение Вариной последней просьбы, память воскрешала строки ее предсмертного письма. Это письмо он всегда бережно носил с собой; оно было неотступно с ним и во время скитания по взбаламученной России и в ледяной, дремучей тайге, где за каждым деревом могла караулить смерть, в двадцати шагах от спасительной границы, и в убогой комнате, где также истекала кровью душа Лидки — третий сорт. Ни разу он не решился распечатать и перечитать его — было почему то просто страшно. Этот страх особенно усилился после пьяных слов Лидки: «Или не ненавидишь, или не простишь».

Время брало свое, жизнь тоже помогала ему.

Сгладились впечатления прошлого, утихла боль, растаяли воспоминания и только все реже и реже, вспыхивало чувство совершенно неумираемой злобы к Волokitину. И странно, если время затушевало черты лица Вари, то классически прекрасное лицо врага вставало перед ним как живое, когда он его вспоминал. Но зато, все равно трезвый или пьяный — каждый вечер перед сном он бережно брал в руки запечатанный конверт и нежно его целовал. В этом поцелуе уже не было какого-то глубокого чувства — это стало привычкой, но он, особенно пьяный, отождествлял эту привычку с чем-то гораздо большим, хотя иногда думал в эти минуты о чем-то совсем другом. И вот теперь все прошлое вдруг воскресло с небывалой, мучительной силой. После того, как увели на допрос и не вернули в камеру его последнего сокамерника, Андрюшка понял, что очередь пришла и за ним. Безумный страх предстоящего конца, вызванный неумной любовью к жизни, обуял его. Для его поверхностного разума была не так страшна сама смерть, как нарисованная фантазией картина, как он обезображенным, холодным трупом будет валяться около какой-нибудь стены, как взяв за ноги и за руки, бросят его в грязную телегу, а потом засыпят сырой грязной землей в глубокой яме. Дальше этого, внешнего, его ум не шел, упуская все величие и загадку самой смерти. Сам не понимая почему, но бессознательно ища в этом защиты от страха, он выхватил из-за пазухи пожелтевший конверт. Должно быть его, как русского, с которым нужно быть осторожнее, не обыскивали и старый конверт сохранился в кармане.

Дрожали руки, стучало в висках, в глазах мелькали какие-то мухи, когда Андрюшка разрывал пожелтевшую бумагу конверта. Прыгали перед глазами строки, от которых он ждал поддержки, но если те слова, которые относились к нему и вливали в душу его бодрость, то последние слова снова беспощадно воскрешали невозможность их выполнения.

— «Прости его ради меня. Переломи себя ради меня, ради греха моего непростяемого», — отмечало зрение.

И ярким ответом на это, убивающим эту просьбу давно умершей Вари, из полумрака камеры выплыло

на момент торжествующе-прекрасное лицо, ненавистное до смерти, ненавистное ненавистью, с которой бороться нельзя. И в унисон этому, почти физически, ухо уловило слова другой, тоже умершей, фактически чужой ему женщины, пьяной, распутной: «Или не ненавидишь, или не простишь!»

В отчаянии, совершенно запутавшись, Андрюшка, не запечатав, скомкал письмо и сунул его за пазуху.

День тянулся запутанной, жгучей вязью. Мысли в диком хороводе теснились в голосе, несвязанные одна с другой, путаясь, противореча друг другу то сплетаясь, то расплетаясь нераспутывающимся клубком, переплетая рисунки действительности бреднями, фантазиями, вспыхивая яркими огнями, расплываясь серым туманом.

Поздно вечером дверь камеры открылась и его вызвали на допрос. И также, как когда-то давно, угодливо кланяясь и улыбаясь, Андрюшка пошел за часовым китайцем. Но затопляя все радостью, сохранившейся и теперь жизни, сказанные на чистом русском языке, донеслись до него слова молодого китайца, сидевшего за столом.

— «Гражданин Коренев, вас задержали по ошибке. Никакого состава вины за вами нет. Нам хотелось бы, чтобы вы не были в претензии на нас за то, что вас так долго задержали... Слишком серьезным было дело о вражеской разведке. К вам же, как к русскому, которые нам помогают, мы чувствуем самую искреннюю дружбу. В доказательство этого мы можем предложить вам хорошо оплачиваемую службу в одном из наших правительственных учреждений. Теперь вам, конечно, нужно немного отдохнуть, а через неделю, часов в двенадцать, я вас буду ждать по этому адресу». — Китаец протянул Андрюшке свою визитную карточку на китайском языке. — «Адрес и моя личная печать на обороте», — добавил он и встав протянул Андрюшке руку: — «До скорого свиданья!..»

Потом он бросил несколько слов по-китайски часовому и последний, проводя Андрюшку через все здание тюрьмы, вывел его во двор, и, открыв ворота, выпустил на улицу.

После своего освобождения из московской тюрь-

мы Андрюшка получил от Волокитина толстую пачку денег, теперь же он оказался в полном смысле слова на улице. Все его имущество заключалось в том, что было на нем. Пытаться получить вещи, которые остались на квартире его бывшего хозяина, покончившего с собой, было прежде всего опасно, так как это снова навело бы на мысли о его связи с разведчиком противной стороны, и эту мысль он сразу отбросил. Но оставался еще один выход из создавшегося положения: записка, которую дал ему спасенный им американец, была при нем, и Коренев решил попытаться воспользоваться ею, хотя американец за это время мог уехать из Шанхая.

К его радости служащий отеля, прочитав записку, сначала подозрительно осмотрел его, но все же отправился с этим клочком бумаги куда-то наверх. Через несколько минут, шагая через три ступеньки своими палкообразными ногами, спасенный им американец слетел вниз и, схватив его за руку, потащил за собой.

Настали дни совершенно неожиданные для Андрюшки. Узнав о всех его злоключениях, мистер Смит закатил ему потрясающий завтрак, после которого они оба с трудом различали окружающую обстановку. Сняв ему номер в том же отеле, хорошо его одел и, наконец, через несколько дней через переводчика объявил ему, что, миновав всякие визы и квоты достал ему разрешение на въезд в Америку.

Сам он еще оставался в Шанхае по делам своего предприятия, а Андрюшку усадил на пароход, вручив ему билет 2-го класса и крупную сумму долларов.

Все дни перед отъездом Андрюшка пребывал в блаженном состоянии непроходящего легкого опьянения и поэтому, садясь на пароход, не задумался даже о том, к кому же и куда обратиться в Америке после приезда туда. Его благодетель все время уверял, что для Андрюшки в Америке открыты все пути для свободного и богатого существования. Он по своему легкомыслию этому с удовольствием поверил и, выпив с американцем перед отходом парохода последний дринк, двинулся в страну необычайных возможностей.

В те самые минуты, когда пароход, дав последний гудок, начал отваливать от пристани Шанхая, судьба

точно наметила последнюю дорогу Андриюшкиной жизни, дорогу в конце которой эта же судьба роковым и неожиданным образом, столкнула его с тем, которого он должен был «или не ненавидеть или не простить». Но о такой возможности Коренев не думал.

В это время, в далекой Европе, вспыхнули, разгораясь в мировой пожар, первые зарницы небывалой войны. Но Андриюшку это не тревожило. И, блаженствуя, он плыл к тому гибельному моменту, когда связанные между собой много лет назад в голодной Москве, два человека встретятся лицом к лицу, то подымаясь, то падая на самое дно жизни.

Глава 12

Страшные, небывалые годы текли чередой над страной, погруженной в густой туман, накрепко отгороженной от всего света, загадочной и непонятной в своей покорности, бесправии и нищете!.. В лаборатории бездушных опытов корчилось тело страны, но чем больше продолжались эти опыты, тем безответственней и покорней становилось это тело. Неслыханный страх как наркоз усыплял души людей, перекраивал их, выжигал... Сотнями тысяч, миллионами тянулись по голодной, жестокой стране серые тени, уползая бесконечными очередями, в обледеневшие просторы севера и... таяли там, оставляя после себя невысокие холмики небрежно набросанных комьев промерзшей земли. Совершенно невыносимым гнетом висела над страной железная воля человека обожествляемого в стихах, песнях, речах, скульптуре; человека, одно имя которого стало символом сверх-человеческого рабства, произвола и ледяной жестокости. Если можно было как то бороться против всего этого, то никак и никто не мог предугадать куда и против кого будет направлена загадочная, необъяснимая никакими логическими доводами или фактическими причинами жестокая воля таинственного полубога..

Сегодняшний друг этого тирана, друг внешний, ибо друзей настоящих у него не могло быть, завтра клеймился самым позорным именем и бесследно исчезал, провожаемый проклятиями, которые нужно было

бросать ему вслед. Гранитным, бездушным идиолом, всемогущим и непонятым, одно движение пальца которого могло бросить тысячи людей в темноту полярной ночи, в смрадные тюремные камеры, уничтожить, облив грязью, возвышался адский зверь над странной. Тысячи лстивых, лживых, пропитанных несывалой жестокостью, растворивших свою волю в его воле рабов, служили ему... От края до края огромной страны, извивались они, ловя каждое слово, каждый взгляд, каждое движение и жест. Добровольно обезволившие себя, восприняв волю тирана безумно и беспрекословно ее выполняя, они по тонким, никому невидимым нитям жестоко и бесстрастно предавали и продавали всех и каждого своему повелителю... Глубокими ночами в своих удобных кабинетах, осатаневшие следователи проводили свои кровавые расследования, и никто не мог быть уверен в том, что сегодня, завтра, через месяц он не попадет в беду.

Жестокий страх пригибал к земле, заставляя никому не верить, молчать или славословить. Впрочем и славословие и подхалимство помогали далеко не всегда. И даже те, кто потеряв облик человеческий, искренне ткали свою паутину лжи, предательства и провокаций, даже те, кто думал не своими мыслями, а мыслями своего вождя, даже те, кто честно служил свою кровавую службу — не были уверены в завтрашнем дне, ибо не знали, куда направится завтра луч воли их повелителя.

Давным давно отгремели громы гражданской войны; в пушечном грохоте и пулеметных очередях был сломлен мятежный Кронштадт; устелили своими телами землю антоновские мужики; опухшими от голода безобразно гнили миллионы тел времен коллективизации; обесчещенные клеветой погибли те кто помогал идолу стать идиолом и чьи имена до этого произносились со страхом и показным уважением; давно умер первый начальник Волокитина — красивый высокий поляк, мечтавший в молодости стать ксендзом; умер и второй начальник, спавший днем, а ночью работавший, писавший не увидевшие света стихи; пришли на смену другие и, когда подошел 35-ый проклятый год, Волокитин, один из немногих сохранившихся первых гвардейцев кровавой службы, был уже в вы-

соких чинах. Иногда он и сам удивлялся тому, что очередная кровавая чистка не коснулась его. Казалось для этого была одна из наиболее веских причин — его происхождение. Это было помечено и записано во всех его документах, но, тем не менее, ему доверяли расследовать почти все наиболее важные и ответственные дела. Может быть ему помогал его своеобразный способ вести следствие, когда он, с заведомо преступным в глазах власти человеком, никогда не повышал голоса и не прибегал к приемам, практикуемым другими, подобными ему, а оставался всегда холодным, безукоризненно вежливым. Эта вежливость сбивала обвиняемых с толку и помогала ему распутать самые запутанные дела. Ни разу, за все время работы, он не коснулся пальцем подследственного. Но это было не потому, что он проявлял какую-то доброту — ему просто было противно пачкать руки... Может быть, это было неосознанным им самим отзвуком того далекого момента, когда он ударом кирпича убил маленького котенка и пригляделся к окровавленной шерсти зверька. Может быть, играла роль простая брезгливость к таким приемам, брезгливость против воли унаследованная от предков. Но все это не мешало ему совершенно спокойно отправлять человека на смерть или в те проклятые тундры или тайгу, которые были хуже смерти.

Всегда изысканно одетый, в штатский костюм или сшитую лучшим портным свою проклятую форму, с застывшей раз и навсегда маской прекрасного лица, он почти никогда не улыбался и не опускал серые глаза. Никто никогда не слышал, чтобы с его губ сорвалась, бесконечная среди его сослуживцев, часто богохульная брань. Трудно было сказать что вообще толкнуло его, по своему, честно и безукоризненно, нести взятые на себя обязанности... По всей вероятности в нем смешалась кровь многих поколений его рода, в котором были и аскеты-монахи, и помощники Пугачева, и опустившиеся на дно пропойцы. Он никогда не думал о тех людях, которых отправлял на смерть и, выйдя из своего кабинета, искренне забывал о них. Никакие мольбы, даже заведомо не виновных ни в чем, но которых нужно было убрать, не производили на него никакого действия. Даже наоборот, угощая папиросой или протягивая стакан с во-

дой такому умоляющему о пощаде, он чувствовал к нему брезгливое презрение, которое впрочем никогда не показывал. Вначале его тешило сознание своей бесконтрольной власти над человеком и его жизнью, но постепенно и к этому он привык — осталось одно пренебрежение к людям, которые, по его мнению, лучшей судьбы и не стоили; как это миллионы людей, из которых каждого он мог привлечь в свой кабинет, не протестуют, не борются с ним и подобными ему, сравнительно немногочисленными? Почему воля человека, стоящего на вершине пирамиды, является непреложным законом? Он отдавал должное и часто восхищался волей этого человека, но он не верил в его государственную мудрость, а, иногда, и в простой нормальный разум. Впрочем, это не мешало ему верой и правдой служить этому человеку, а остальных, исчисляемых многими миллионами, считать мелкими, цепляющимися за жизнь трусами, которые, кроме презрения ничего не заслуживают.

Много сот людей прошло через его кабинет, но ни о ком не осталось у него какого-нибудь яркого впечатления. Были ли цепляющиеся за жизнь, перепуганные на смерть, или смелые, гордые, бросавшие ему вызывающе-дерзкие слова... все они сливались в одну серую массу, беспрекословно подчиненную ему и его решению. Внешне, на словах он проповедовал те идеи, которые диктовались высшей властью, но эти идеи не захватывали его душу. Как в блестящем зеркале, они отражались в его душе, но, как в зеркале, были мертвыми, пустыми. Только один раз он с удивлением взглянул на человека. Было это в дни страшного, искусственного голода на Украине, когда десятки тысяч людей, распухшие, страшные, безобразные, ползали по земле в поисках хоть какой-нибудь съедобной травинки. По делам службы он был в одной из таких вымирающих деревень и зашел в какую-то покосившуюся избу. Глубокий старик умирал лежа на лавке. На другой лавке лежал от голода потерявший человеческий вид мальчик, мучительно доживая свои последние часы.

Волокитин в своей форме, красивый, стройный и спокойный, хотел уже выйти из этой избы, как вдруг услышал хриплый шепот старика, звавший его.

— «Послушай, ты, — захрипел старик. — Весь

ты в крови!.. Зло за твоей спиной... Всегда, везде оно с тобой!.. Сделай хоть раз доброе дело. Я не хлеба прошу...»

— «Доброе дело, — улыбнулся Волокитин и, вдруг, сам не зная почему, спросил старика:

— «А разве добрые дела есть?»

— «Есть, — приподнялся старик. — Вон, видишь, в углу на лавке внук умирает... Мается... Помрет все равно... Чем скорее, тем меньше маяты у него будет!.. У тебя наган на поясе — пристрели его!.. А потом и меня!.. Хоть раз доброе дело сделай!».

Волокитин задумчиво посмотрел на старика, не совсем его понимая, а в это время из угла от мальчика послышался не то визг, не то хрип.

— «Дедушка, не надо... Боюсь!».

Смрадный, тяжелый полумрак висел в избе, паутина заплела все углы, две жизни кончали свой путь и резким контрастом выделялась в этом мраке стройная фигура чекиста.

— «Пристрели, — стонал старик. — «Может этим добрым делом все твое зло уменьшишь!..»

Слезы текли по обезображенному лицу ребенка... и вдруг, с непонятной силой, старик встал на ноги и тоном беспрекословного приказа, завизжал:

— «Стреляй, тебе говорю! — Боишься доброго дела!.. Трусишь!.. Боишься зло свое искупить?.. Трусы вы все!.. И ты первый!..»

По какой-то совершенно нелепой ассоциации промелькнуло в голове Волокитина письмо умершей давно Вари к Андрюшке, письмо, которое он тогда прочел, прежде чем передать Кореневу. В диком хороводе закружились мысли, а снова упавший на лавку старик хрипел одно:

— «Трус!.. Добра струсил!..»

Два выстрела почти слились в один и видел Волокитин, как в ужасе прижались тонкие исхудалые руки к детскому лицу, а ухо уловило стариновское: —

— «Спасибо!».

Не раз потом в мыслях возвращался Волокитин к этому случаю и никак не мог понять слова старика о том, что зло выкристаллизуется в добро и что за убийство внука дед скажет «спасибо».

Все в том же розовом особняке, где покончила с собой Варя, жил в Москве Волокитин. Он собрал

большую библиотеку, в которой на первом плане стояли книги классиков новой власти и которые он со скукой должен был осилить. По-прежнему, он время от времени открывал своего любимого Блока, но, однажды, среди конфискованных у кого-то книг, ему попался небольшой сборник стихов Гумилева. С тех пор он собирал все книги этого поэта и, если загорались его глаза, то только тогда, когда он читал его стихи. Сила, красочность, дерзание стихов погибшего поэта импонировали ему.

Он хорошо помнил как, в 21-м году, его как наиболее опытного и верного работника командировали в Петроград в связи с заговором Таганцева. Ему, как представителю столичной службы передали для допроса самого Таганцева и его 26-летнюю жену. Первый, просто, с самого появления в кабинете Волокитина заявил, что отвечать ни на какие вопросы не станет, а готов подписать любую бумагу, которую ему дадут для подписки, независимо от того будет ли там правда или сплошная ложь. Волокитина это не удовлетворяло, так как ему нужно было узнать об участниках заговора.

— «Вы напрасно не хотите говорить со мной. Конечно, скрывать от вас нечего — ваша участь решена... вам это понятно не менее чем мне. Но...», — он на момент прервал фразу, а потом спокойно закончил. — «Но, если вы попадете к другим на допрос — для вас будет еще хуже».

Таганцеву, как и всем, было давно известно к каким звериным способам допроса прибегают следователи, но он еще раз повторил свои слова. Волокитин пожал плечами:

— «Воля ваша, сидите и ждите, пока я буду писать, а пока можете курить», — и протянул ему свой портсигар.

Список заговорщиков у него был и он просто списал их имена, добавив к каждому все то, что приходило в голову и, что для каждого означало роковой конец. Среди этих фамилий была и фамилия Гумилева. Накануне, в разговоре с Волокитиным, тогдашний диктатор Петрограда, жирный, с лоснящейся физиономией, Зиновьев с раздражением оказал:

— «Вот тут из Москвы кто-то, кажется Горький, за Гумилева хлопочет — поэт, видите ли он! Тоже Шекспира нашли!».

Поэт, как один из не главных участников заговора, попал на допрос к кому-то другому. Волокитин пожалел теперь об этом. Он знал, что участь Гумилева он не изменил бы — он был враг и поэтому должен был быть уничтожен, но встретиться с человеком, создавшим такие стихи он хотел бы. Позднее он перестал жалеть: в конце концов был важен не человек, а то, что он создал, а это — созданное смертником волновало, как то затрагивало, заставляло задумываться. На другой день после допроса Таганцева, он допрашивал его двадцатилетнюю жену. Этот допрос немного взвизгнул его нервы и позабавил. Когда ее — красивую молодую женщину, ввели в кабинет, он встал и предложил ей стул. С нескрываемой ненавистью смотрела она на него.

— «Могу предложить вам сигарету? — тихо спросил он и, на отрицательный кивок головы арестованной, также изысканно вежливо продолжал: — Может быть вы хотите чаю или кофе? Вам сейчас же принесут».

Задышающимся высоким голосом, пропитанным несусветной злобой, она ответила:

— «К чему эти комедии? Чай, кофе, сигареты!.. Я хочу одного, чтобы скорее наступил конец».

Волокитин улыбнулся.

— «От конца вы не уйдете, но почему бы не скрасить те минуты, что остались перед этим концом?»

Таганцева встала и одновременно с ней встал Волокитин, пристально глядя на нее. Она громко расхохоталась:

— «Какая вежливость! -- встать перед дамой!» — презрительно бросила она. -- Видимо вы знаете правила приличия и воспитанности. Но тем более я вас не только ненавижу, но и презираю! Презираю за то, что вы, по всей видимости человек не из общества Зиновьева и подобных ему... продались, пошли к ним на вашу окаянную работу!»

Волокитин снова усмехнулся.

— «Сударыня, не волнуйтесь и сядьте!»

Покоренная его непререкаемым тоном, а может

быть, и внешней его красотой, женщина покорно опустилась на стул. Волокитин несколько минут молчал.

— «Мне бы очень хотелось, чтобы мои дальнейшие слова не были приняты за ловкий прием следователя. Вы изволили сказать: «продаться» и «пойти на службу». А вы когда-нибудь думали, что не все продается за деньги и не все готовы продать себя за них? А вы не подумали, что можно пойти на эту «проклятую», как вы сказали, службу, только по убеждению? Я знаю, вы ответите, что это еще хуже! Но, впрочем, это дело взглядов... И, согласно этим взглядам, я вижу в вас только непримиримого врага, который должен быть убран с дороги. Ведь, если бы ваш заговор не был открыт и вы, хотя бы ненадолго пришли к власти, то разве вы и все ваши друзья не сказали бы мне или подобным мне то же? Вы игру проиграли и должны платить по проигрышу. Вы не можете не согласиться с тем, что это логично. Проявление ненависти и презрения, о котором вы говорили здесь, просто неуместно и... простите меня, — просто смешно. Скажу больше, ваше дело погубили эти неумело скрываемые ненависть и экспансивность. Такие дела, как ваше, нужно делать с застывшими лицами, крепко связанными нервами и умением артистически, тонко притворяться. Холодный разум, точно рассчитанный взгляд, жест, интонация голоса, а не горящие ненавистью глаза и мятежные фразы, даже между собой, могли вам принести хотя бы временную победу! А что она была бы временной — я уверен, ибо, победив, вы все впали бы в такую экзальтацию и победный восторг, что вскоре последовали бы за теми матросами, что недавно вздумали бунтовать в Кронштадте... А ведь они были посильнее вас!».

Волокитин замолчал и у заворуженной его обаянием женщины вырвалось:

— «Вы правы в этом. Мы были слишком неосторожны. Но все-таки та ненависть, с которой я вошла сюда, в ваш кабинет, не только не замолкла, а еще усилилась!» — она задыхалась.

Волокитин с удивлением посмотрел на нее.

— «Усилилась? Но почему?».

— «Потому что вы умнее нас в таких делах, опытнее что ли».

Волокитин опять улыбнулся.

— «Но ведь это уже простая зависть».

Неожиданно Таганцева вскочила со стула, подбежала к столу и, стуча по нему слабым женским кулачком, крикнула:

— «Пусть зависть с ненавистью, но они остаются навсегда!».

Волокитину стало скучно — он тоже встал и сухим, официальным тоном сказал:

— «Подсудимая, сядьте и потрудитесь отвечать на мои вопросы! Время пустой болтовни кончилось. Сейчас мы приступим к вашему делу. Вчера ваш муж назвал несколько фамилий участников заговора. Может быть, и вы поможете нам окончательно распутать ваш клубок. Говорю прямо: вашей вины это не уменьшит, но может предотвратить ненужные аресты людей, которых мы пока только подозреваем, а это им принесет немало тяжелых минут. Может быть, даже не совсем заслуженный конец. Вы удивляетесь этим словам, но вспомните пословицу — лес рубят — щепки летят».

И зная о тех, кто уже арестован и чья участь predetermined, она назвала эти несколько фамилий.

Это было давно, многое из дальнейшего опроса Волокитин забыл, но запомнились почему-то, не волнуя и не трогая слова молодой женщины с порога кабинета, когда ее уже уводили:

— «Ненависть всегда останется ненавистью!»

Подобных случаев в практике Волокитина было немало, и он давно перестал обращать на них внимание. Один раз ему по какому-то делу пришлось говорить с тем человеком, чье имя произносилось или с бесконечными дифирамбами или проклятиями. Про безукоризненную черную работу Волокитина он, конечно, знал, так же, как знал и о том, из какой семьи он вышел. И прервав на полуслове его доклад, упершись в него своими желтыми глазами, вдруг спросил:

— «А скажите, товарищ Волокитин, почему вы у нас работаете и, насколько мне известно, честно?».

И не опуская своих глаз под испытующим взглядом, перед которым дрожали даже близкие этому человеку люди, Волокитин спокойно ответил:

— «Потому что люди другого не заслуживают!». Собеседник, видимо заинтересовался.

— «Как не заслуживают? А ваши помощники-чекисты?»

С застывшим лицом, так же спокойно, Волокитин ответил:

— «Чекисты, говорите вы. Да, избивать при допросах, придумывать небывалые истории, расстреливать они умеют хорошо. Но кто из них сумеет тонким подходом, играя на психологии виновного, психологии, которая у каждого разная, распутать такие запутанные узлы, от которых откажется всякий из них, и, чтобы поскорее отделаться, сам придумает и заставит подписать небылицы, упуская часто главное, нераспутанное. Это вам, наверное, известно!».

От удивления от такой смелости или от раздражения, вождь бросил трубку на стол.

— «Ну, а я? Я ведь тоже человек!»

Чаруя собеседника своим взглядом, не дрогнув ни одним мускулом прекрасного лица, Волокитин спокойно и просто ответил:

— «У вас есть то, чего нет у других — это ваша нестигаемая, холодная воля, которая вам всех нас подчинила. И если собрать вместе, соединить воли всех наших чекистов, то они будут слабее вашей. Человека выделяет из среды подобных ему только воля, не ум, не способности, ни даже таланты. Вашей воле подчиняются беспрекословно миллионы, и это сразу выделяет вас из среды просто людей, о которых я говорил, делает вас человеком высшей воли».

И под горящим взглядом глаз Волокитина желтые глаза чуть прикрылись веками. Оба собеседника молчали. Так прошло минут пять, может быть, десять. Никто не знает, какие мысли роились в голове человека, сидящего за столом. Но Волокитин в своих словах был искренен — волю этого человека он признавал безоговорочно. И медленно подняв голову и снова впившись глазами в глаза Волокитина, тот тихо произнес:

— «Ты смелый!.. Ну что же служи, как служил... пока что!..» — и кивком головы отпустил его.

И вот это «пока что» было первым намеком Волокитину, что его очередь опалы не за горами, и что

нужно что-то предпринять. Страшна была не опала, а то, что в результате ее, какой-нибудь безграмотный следователь будет бить его по лицу, от чего вся гордость Волокитина вставала на дыбы. Страшно было и другое — грязные, вшивые нары в каком-нибудь лагере и зависимость от любого безграмотного, озлобленного конвойного, а особенно было страшно, что его будут как диковинного дикого зверя караулить натренированные в поимке людей собаки-овчарки.

Все это было пока только предупреждением, против которого нужно принять какие-то меры.

Другой случай, неожиданный и странный, перевернул вверх дном всю его психологию, все его взгляды.

Откуда-то из небольшого захолустного городишки, вроде Чухломы, для допроса привезли человека по фамилии Пресняков. Фамилия Волокитину показалась почему-то странно-знакомой. В его кабинет ввели хилого старика, обросшего длинной седой бородой, еле передвигавшего ноги. Как всегда, Волокитин предложил арестованному сесть и отпустил конвойного. Взглянув на него, старик удивленно откинулся на спинку стула, не отводя от него глаз. Волокитин с вопросом посмотрел на старика.

— «Что вы так на меня смотрите?»

Старик молчал, не отводя глаз. Следователя это начало сердить.

— Отвечайте, когда вас спрашивают!» — повторил он.

— «Я Пресняков, Ипполит Петрович. Помните в вашем доме бывал часто, компаньоном у вашего отца по его делам был».

И Волокитин вспомнил, как этот Пресняков считался самым близким другом его отца, знал всю их семейную хронику и, будучи старым холостяком, каждый день обедал у них. Веселый балагур, не любивший выпить, он всегда оживлял общество своей постоянной жизнерадостностью. Теперь он сидел старым изможденным призраком далеких лет. И вдруг он заговорил.

— «Почему я смотрю на тебя? А потому что я говорил часто твоему отцу, чтобы он побольше смотрел за тобой. И говорил потому, что верил в неумолимый закон наследственности и в то, что существует другой закон — закон вырождения».

На минуту он замолк. Молчал и Волокитин, потерявшийся, вероятно, в первый раз за всю свою кровавую службу.

— «И я оказался прав! Ты же знаешь всю твою родословную: и пугачевский помощник, и монах в далеком монастыре, и пьяница, ушедший в Хитров рынок — передали тебе свою кровь. А к этому прибавилась и не одна сотня лет, что насчитывал твой род. И видно тот, который сотни лет назад помогал Малюте Скуратову, передал тебе несколько капелек своей палаческой крови. А твоя кровь, ослабевшая от вырождения, бороться не могла. Вот ты и нацепил на воротник себе разные кубики и шпалы и пошел по дороге, проклятой дороге, безвольно, не думая, не разбираясь, подчиняясь без борьбы своему пра-пращуру. Я знаю, что ты меня судить или допрашивать будешь, но знай и твердо знай, что ко всем твоим вопросам я буду относиться как к вопросам выродившегося, полунормального человека. И теперь смотрю на тебя, как на человека, в крови которого, а значит и в мозге, кипят и подчиняют тебя себе образы твоих далеко не всегда нормальных предков. Суди меня, как хочешь, делай со мной, что хочешь, но я все приму от тебя, как от человека, который явился представителем вырождения. Впрочем, для твоих хозяев такие люди и нужны».

С грохотом полетела со стола на пол тяжелая чернильница, и бледный как смерть Волокитин, вскочив со стула, тяжелым ударом обрушил кулак на стол и диким голосом закричал:

— «Молчи!.. Сейчас молчи! Убью, как собаку!...» — и выхватил револьвер.

Тогда встал и старик.

— «Что ж, — насмешливо сказал он, — убивай — мои слова еще больше докажешь!»

Волокитин бросился к двери.

— «Часовой, уведите арестованного».

И когда остался один, опустил на стул, уронил голову на крышку стола, закрыл ее руками и застыл в неподвижности.

С этого самого момента в Волокитине произошел тот душевный перелом, который впоследствии привел его к совершенно неожиданному повороту всей его жизни.

Несколько дней он не выходил из своего розового особняка, сказавшись больным. Но, если бы на самом деле его скосила самая мучительная, самая страшная болезнь, он страдал бы меньше. Над всей его прошедшей жизнью, над всей его проклятой работой, над его давно-прошедшей молодостью, наконец, даже над его чувством к покойной Варе, висело одно страшное слово «вырождение». Выходило, что все его поступки, все его поведение было не результатом мысли и воли разумного, нормального человека, а наследством, переданным ему то сумасшедшими, то опустившимися предками. Его воля, которой он так гордился, стала не его волей, а чьей-то чужой волей. Он безвольно подпал под влияние далеких предков, выполняя то, что они ему нашептывали. Его мысли были отзвуком их мыслей, даже его внешность приближалась к внешности того, на ком, хоть и ненадолго, но все же с нежностью останавливались глаза блестящей Императрицы. Сама кровь его, полученная от этих предков, благодаря древности его рода, стала жидкой, слабой кровью, текла по его венам не живая, нормального человека, а тусклое повторение грехов тех, кто до него носил его имя.

Сидя неподвижно за столом, он мысленно перелистывал страницы всей прошедшей жизни и, чем больше вчитывался в эти страницы, тем более приходил к убеждению, что старик, раскрывший ему его сущность, был прав. Изящный красавец-студент, надменный, поклонник Блока, подражавший ему в своих каких-то стихах, отдавший всю силу надломленной вырождением души девушке, которую любил и которую отдал клоуну Андрюшке Кореневу. Мысль шептала: «А ведь все могло быть иначе. Дикая, неумная самоуверенность диктовала требовательность в отношении ее,... и испугала, оттолкнула ее. А разве были основания для этой самоуверенности? Это кто-то из неизвестных ему предков, страдавший такой же гордостью, говорил в нем, диктовал ему свои слова. А он — он безвольно их повторял». А другая мысль начинала мучить еще сильнее. Вспомнился прапрадед, ушедший накануне свадьбы в далекий монастырь. Это он шептал ему, когда Варя была в его власти, не позволив даже прикоснуться к ней. Порядочность? Какая там порядочность, когда он

был способен проводить свою кровавую работу! Это он, в своей черной рясе, поработив его, запретил приближаться к той, которая была ему дороже всего на свете. «А если бы все было иначе?» — продолжала издеваться мысль. — «Если бы ты воспользовался ее незащищенностью? Тогда все могло сложиться иначе и покоренная Варя осталась бы жива».

Но тут, в каких-то вполне нормальных, сохранившихся извилинах мозга, вспыхнул резкий протест — слишком кощунственной была эта мысль. На этот короткий момент он стал вполне нормальным человеком и, как ни странно, он почему-то навсегда, на всю жизнь запомнил этот голос протеста, который в дальнейшем помог ему во многом. Мучая и радуя одновременно вспыхнули когда-то любимые строки: «Я здесь один хранил и теплил свечи, единый страж дрожал в дыму кадил, и в оный час, один участник встречи, я этих встреч ни с кем не разделил». И как венец всего, медленно поползла новая мысль. Не было сомнения, что Варя ему отказала потому, что он стал работником своей кровавой службы. Но что заставило, что толкнуло его на это? Сознание полной, бесконтрольной власти над жизнью людей? Презрение к этим людям, которых всех он считал ниже себя? Стремление к кровавой карьере? Глубокая вера в то, что строящееся при его активной помощи новое фантастическое царство будет идеальным?!

Откинувшись на спинку кресла он громко рассмеялся — так нелепы были все доводы.

Мысль безжалостно плела новый узор... в низком поклоне склонился пред изможденным, в черной скуфье повелителем, верный слуга. «А убрать этого крамольника - князя пошлю, царь батюшка, Ваську Волокитина — он мастер, пожалуй не хуже меня самого!». Вот его-то, этого самого Васьки Волокитина, заплочных дел мастера, буйная, но здоровая еще кровь, через три сотни лет несколькими каплями разошлась, растворился в его крови. Заплочных дел мастер!.. И разве он сам, хоть и другими словами, не выразил то же — говоря с человеком, стоящим над всей землей. И нагромождаясь на предыдущее, сливаясь с ним, рисовалось, как перед большим, бородатым человеком в казачьем чекмене, с Андреев-

ской голубой лентой через плечо, также склонялся стройный красавец, докладывая, что приказание царя - батюшки исполнено и семь плотов с виселицами спущены вниз по реке. А немного погодя, прощенный за предательство этого бородатого самозванца, в щегольском камзоле и пудренном парике, он спокойно встретил горящий лютой ненавистью взгляд того, кому еще недавно льстил и который сидел перед казнью в железной клетке. А разве он сам, чаруя внешней вежливостью и тактичностью, безжалостно обманывая красивыми и тоже лживыми словами, приведенных к нему на допрос, не предавал их? Строгая логика, безжалостная и грубая, подсказывала, что и от этого предка влилось в него несколько капель крови. Но все это было еще не так страшно. Самым страшным — до ужаса, до желания кричать и кататься по полу было то, что составляло главную сущность характера Волокитина — его бескрайняя гордость, порождавшая такую же бескрайнюю самоуверенность. И все это рухнуло, как карточный детский домик от немногих слов допрашиваемого старика. Гордиться было нечем, быть самоуверенным тоже стало нелепостью, ибо это были не его, Волокитина, качества, а втиснутые в него другими, давно умершими людьми. Своего, собственного — не оставалось ничего — он, как замороженный, повторял то, что приказывали из дымки времен другие люди. Его слова, его поведение, его поступки были созданы не им самим, а продиктованы кем-то другим, и он безвольно, как граммофонная пластинка, повторял подсказываемое ему, делал то, что они ему приказывали. Мысль уперлась в нелепый тупик — он был не самим собой, а отзвуком, отблеском других.

Он вскочил не помня себя со стула: из тупика нужно было как-то выйти — все равно как, хоть умереть, но не быть нелепой копией.

Рука сама открыла ящик стола... черной сталью сверкнул там браунинг; Волокитин схватил его, но в тот же момент увидел лежавший рядом желтый конверт с карточкой погибшей Вари. И страстное, всепобеждающее желание увидеть ее черты еще раз охватило его. Он снова сел, положил браунинг на стол и распечатал конверт. Печально, и, как показалось ему,

недоуменно смотрела на него с фотографии та, которую он любил так, как мог любить. Приставив карточку к чернильнице и опустив голову на руки, он неотрывно смотрел на нее. И чем больше смотрел он, тем больше утихала невыносимая перед этим боль. Вспомнилось еще ее письмо к Андрюшке, которое он прочел, прежде чем передать по назначению.

Ночь тянулась бесконечно долго и в глухой тишине дома перед ним вырос новый тупик. Он не был таким темным, как первый, но и из него нужно было найти выход. За все зло, что он причинил ей, за ее гибель... она просила Андрюшку простить его — Волокитина — не мстить ему. Выходило совсем нелепо, непонятно, но почему-то и облегчающе: заплатить добром за непрощаемое зло. Добро и зло — два несовместимых полюса — середины между ними не было и не могло быть. Он встал снова и стал шагать по кабинету, но в уме его замелькали мгновенные, как тысячные доли секунды, не успевавшие даже как-то оформиться, светлые намеки на новые мысли. Он старался их уловить и не мог — слишком велика была тягость того, что он передумал до того как открыл стол.

Ярко горела люстра под потолком чужого особняка, а он все шагал и шагал. Потом вдруг резко остановился перед книжной полкой и вынул из-за стоящих книг тоненькую, пожелтевшую книжку. Присев к столу он наугад открыл ее. «Пять коней подарил мне мой друг Люцифер» — уловили глаза. Он начал читать стихотворение и вдруг весь вздрогнул и побледнел — последняя строфа разрушила все тупики, все ужасы истекающей ночи. «И смеясь надо мной, презирая меня, Люцифер распахнул мне ворота во тьму, и тогда подарил мне шестого коня и отчаянье было названьем ему». Отчаянье... Волокитин закрыл глаза и откинулся в кресле — ему стало все ясно — всеобъемлющее отчаянье владело им и родилось оно потому, что принятый им дар был даром Люцифера, который над ним же смеялся и его же презирал. Значит источник всего ужаса не умершие предки, не потеря Вари, не его проклятая работа, а тот чьим именем называлась утренняя звезда. Из всего этого вытекало лишь одно — объявить жестокую, не на

живот, а на смерть борьбу тому, кто явился источником его отчаянья.

Усталое от бессоницы и переживаний тело требовало отдыха, и, засыпая, Волокитин думал только о том как начать эту борьбу. Скрестив руки на столе, он опустил на них голову, и задремал.

Спал он совсем недолго, может быть это был даже не сон, а полудремота, во время которой он увидел то, от чего быстро очнулся. Ему привиделся чей-то огромный, во всю стену, широко-раскрытый рот с оскаленными зубами, сведенный гримасой неудержимого хохота; потом, как на экране, рот стал удаляться и Волокитин увидел дико хохочущую рожу Андриюшки Коренева; потом стала удаляться и эта рожа и на фоне книжных полок появился весь Андриюшка, неудержимо хохочущий и в хохоте хватающийся за живот. Весь в холодном поту очнулся Волокитин и повернулся к книжным полкам — там никого не было. И в диком приливе несгибаемой силы он бросил:

— «Смеется тот, кто смеется последним!».

Ночь подходила к концу. Он быстро встал, переоделся в штатский костюм, достал из стола какие-то документы, положил их вместе с карточкой Вари в боковой карман, надел пальто, сунул туда же браунинг и осторожно, стараясь не шуметь вышел черным ходом на улицу и растаял в темноте ночи.

Когда рассвет осветил Москву, в двери розового особняка раздался резкий стук. Не совсем проснувшийся чекист, живший в одном доме с Волокитиным, отворил двери — двое в форме и один в штатском оттолкнули его и бросились в комнаты. В доме кроме чекиста никого не было. По всем телефонам, телеграфным проводам и радио было оповещено, что скрылся злейший враг народа, предатель и агент капиталистических разведок, Волокитин. Но найти его не могли.

Шел октябрь 35-го года.

Глава 13

После того, как Иван Иванович захлопнул за собой навсегда двери своей квартиры, где последний год, обманывая сам себя, верил в Барб и в ее к нему

чувство, он почувствовал себя в какой-то непонятной пустоте. Сказывалась с одной стороны привычка к той жизни, которой он жил до разрыва с женой, а с другой — не отходила тупая нудная боль души — слишком груб и неожидан был обман.

Все окружающее покрылось серым, тусклым светом, ничто не интересовало, отпало стремление к чему бы то ни было. Он ходил каждый день в редакцию, выполнял всю работу, отвечал на все задаваемые ему вопросы, но сам разговора ни с кем не начинал. Над всем висела непроходящая надоедливая боль, заставляя думать только о ней. О самой Барб он почти не вспоминал, дело было не в ней, не в том, что он ее потерял навсегда, а в самом факте обмана. Особенно нудно было по вечерам. Когда он, после работы, возвращался в снятую им небольшую комнатуху, он переживал то, что, вероятно, переживал бы человек, потерявший чувство притяжения к земле. Он не знал, чем заняться, чем развлечь себя, не знал о чем думать. Мысли разбегались, как клубы тумана, ни на чем не останавливаясь, ничем не увлекая, ничего не говоря. Он пробовал читать, но книга не увлекала, и, читая, он не переставал чувствовать опостылевшую, тупую боль души. Он пробовал уйти от нее, вспоминая прошедшие годы, но, даже, когда он доходил в своих воспоминаниях до своих молодых лет и своей первой любви, то и тогда образ Вари рисовался расплывчатыми, туманными чертами.

Однажды он вынул из стола большую карточку, на которой была снята их молодая студенческая компания. Спокойно, как на картинку какого-нибудь журнала, посмотрел он на нее и также спокойно положил обратно в стол. Как-то ему приснилась Барб во всем великолепии ее рыжей красоты; будто он вошел с ней в великолепный, сверкающий ресторан и все сидящие за столами оглядывались на них, говорили о них, провожая насмешливыми улыбками. Он проснулся от этих улыбок и понял, что боль его рождена тем, что он, как обманутый муж, вызывал только насмешку. В редакции никто не знал о его разрыве с женой, и он ясно представил, какими вопрошающе-насмешливыми взглядами встретят его сослуживцы, когда узнают всю правду. Куда-нибудь уехать, туда, где его никто не знает? Но непреодолимым препятствием являлось то,

что на это не было средств. Кроме того, он собирался хлопотать о разводе. Но как приступить к этому делу он не знал, а спрашивать об этом у кого бы то ни было стеснялся.

Однажды, вечером он лежал, глядя бесцельно в потолок — кто-то постучал. Для него это было неожиданно: свой адрес он никому не давал. Пока он раздумывал, как и что ответить на этот стук, дверь без его разрешения открылась и в комнате появился его бывший командир, у которого он и познакомился с Барб. Критически осмотрев комнатушку Ивана Ивановича, он не здороваясь произнес:

— «Лежишь? Страдаешь? Переживаешь? А о чем? Раньше надо было думать, да внимательнее смотреть».

Иван Иванович продолжал молча лежать, а командир, усевшись на стул, закурил и спокойно продолжал:

— «Я вообще не понимаю, как ты так долго жил с этой рыжей ведьмой!».

И, как ни странно, такая аттестация женщины, которую он еще недавно любил и любовь к которой одевал в сказочно-красивые одежды, ничуть его не задела. Трудно сказать, была ли эта любовь не настоящей, а искусственно созданной, или слишком большой тяжестью был удар обмана, но он продолжал лежать, ничего не отвечая. Это молчание взорвало экспансивного командира.

— «Что ты был не совсем в своем уме, когда с ней связался, я понял в день твоей, вернее вашей свадьбы. Ну, а теперь к этому милому качеству прибавилось другое — ты просто вахлак, способный только вот так лежать и думать черт знает о чем! А ведь время идет, дело стоит, вернее лежит, как ты теперь. А дело это простое и ясное: тебе нужно официально развестись с ней. У тебя есть все доказательства! Твоя рыжая рассказала только вчера обо всем жене, а она мне. Ты, конечно, хранишь, как некую драгоценность ту замечательную записку, что твоя дура выронила. И хорошо, что выронила, а то ты до бесконечности продолжал бы ходить, нося на голове этакое красноречивое украшение! Что? Теперь, небось, встал! Правда глаза колет?»

Иван Иванович действительно вскочил с кровати.

Вопрос развода, о котором он думал и к которому не знал как приступить, теперь при помощи командира можно было решить. С растрепанными волосами, нелепо размахивая руками, он сбивчиво заговорил.

— «Да Иван Капитонович!.. Да я... Да как это? Да у кого? Да я не знаю... Да я сам об этом думал»...

Ответ командира привел его в себя.

— «Во первых, никаких Иван Капитоновичей, а господин полковник. Во-вторых, корнет, не забывайте с кем вы говорите и не машите руками! В третьих, извольте привести в порядок вашу прическу, в четвертых, не забывайте, что вы состояли в нашем славном полку, где меланхолическим бабам места не было, и, в пятых, когда все это будет выполнено — тогда мы начнем говорить о деле. А до тех пор вас, как забывшего наши славные традиции, я могу считать не за боевого корнета, а за последнего нестроевого, с которым говорить мне просто недостойно».

Такая тирада командира привела Ивана Ивановича в себя. Он причесал растрепанную прическу, поправил съехавший на бок галстук и вытянувшись отчетливо произнес:

— «Простите, господин полковник!»

— «Ну вот теперь другое дело — садитесь и слушайте», — последовал ответ.

И результатом этого своеобразного разговора было то, что через три месяца при помощи командира, знакомый ему адвокат устроил развод, причем роковая записка, оброненная Барб и которую Иван Иванович, сам не зная зачем, сохранил, сыграла главную роль. Постепенно стала затихать и та тупая боль, что мучила его, и он вошел бы опять в нормальную колею жизни, если бы не одно маленькое обстоятельство.

— ☆ —

Вскоре после получения развода, газета, в которой он работал — перестала выходить. Иван Иванович снова остался безработным. В его жизни было немало нелепых случаев, включая его семейную жизнь, но случившееся с ним после закрытия газеты превзошло всякие фантазии.

Избаловавшись на службе в редакции, Иван Иванович не хотел снова браться за мытье посуды в ресторане и, сократив, елико возможно, свои расходы, приискивал что-нибудь более подходящее. В один прекрасный вечер, уже без всякого стука, к нему влетел его командир, держа в руках бутылку шампанского.

— «Корнет, давайте бокалы... впрочем, их у вас нет! Давайте пролетарские стаканы и выпьем за наш славный полк и за офицера этого полка, который несмотря на свой малый чин станет скоро инспектором кавалерии, то есть за вас!».

Даже найденная им записка Барб была для Ивана Ивановича менее неожиданной, чем эти слова командира. Ничего не понимая, он стоял не двигаясь и вопросительно смотрел на своего гостя.

— «Корнет, вы русский язык еще понимаете? — я вам ясно говорю: давайте ваши стаканы и выпьем за наш славный полк, который, конечно, возродится в будущем, когда мы выгоним из Кремля всю эту сволочь! В офицерском собрании, на мраморной доске золотыми буквами, да будет написана фамилия корнета Логинова, который в прокисшей эмиграции заложил наши блестящие традиции в кавалерию чужой страны, будучи ее инспектором кавалерии. Вы меня понимаете?»..

Ничего не понимающий Иван Иванович побежал к хозяйке за стаканами, и, пока они до конца не распили принесенное дорогое вино, командир ничего не говорил, а потом сел, пригласил сесть Ивана Ивановича и поведал ему такое, от чего у нашего героя закружилась голова и перед глазами поплыли какие-то неопределенные пятна.

Чтобы яснее было все то, о чем будет вестись дальше речь, нужно сказать, что описываемые события в жизни Ивана Ивановича происходили в 31-м году, когда после Первой мировой войны блаженствовала далекая Европа и державы победительницы в слепоте своей вытягивали из побежденной Германии все соки, порождая в ней неясные, но постоянные мысли о реванше. Эти мысли крепили год от года все больше, только ожидая человека, который бы мог как-то их оформить и поверженную, бесправную

и униженную Германию снова ввести в круг великих держав. В те годы никто, ни в Германии, ни в Европе не предполагал, что где-то в глуши у бывшего ефрейтора бывшей немецкой армии зреют и выковываются идеи, которые бросят весь мир в хаос небывалого ужаса. Европа жила своей веселой, беззаботной жизнью, аплодируя голой Жозефине Беккер, уверенная в своей безопасности, строя на всякий случай бесполезную линию Мажино, слабея в своей самонадеянности и самоуверенности. Правда, в Италии возник какой-то новый, невиданный, режим с всемогущим диктатором, бывшим журналистом, но что представляет собой Италия? К тому же диктатор вел себя в отношении других держав вполне прилично.

Чудесно развивалась воскрешенная войной Чехия и чешские соколы не помышляли или не знали, что их братья или отцы в далекой Сибири, свершив небывалое предательство, помогли созданию нового загадочного колоса, о котором знали очень мало и который широкой полосой чертополоха отгородил себя от всего мира.

Европа отдыхала после войны, полузакрыв глаза под звуки джаз-бандов, слабея и духом и телом день ото дня все больше и больше. И в это же время на другой стороне земного шара в экзотической Южной Америке жизнь шла почти так же, как шла двести лет назад. Правда, внешне эта жизнь изменилась, да и то разве только в том, что, вместо привычных кабриолетов, карет и колясок, запряженных горячими лошадьми, появились автомобили, да время от времени бороздили небо странные, дикийвинные по виду монопланы и бипланы. А в остальном, в большинстве республик, (иногда с площадью меньше, чем какая-нибудь бывшая Тобольская губерния), с красиво-звучащими именами, существовали президенты, парламенты, конгрессы и другие громко-звучащие учреждения. Президенты этих стран редко правили страной, указанный в конституции срок, в большинстве случаев, недавно избранный на этот высокий пост Дон Педро свергался другим каким-нибудь доном. Революции в этих миниатюрных республиках были явлением довольно обычным и сегодняшний президент, в одну секунду непрекрасную для него ночь, направлял

свои стопы к рубежу другой республики, до которой было совсем недалеко и в президентский дворец торжественно въезжал его противник, будущее которого было тоже весьма проблематичным.

Вот в такой-то обстановке, бывшей в одной из этих миниатюрных республик, и сложилось то, что заставило командира явиться к Ивану Ивановичу с бутылкой шампанского.

Усевшись в кресло командир вынул из кармана маленький атлас и открыв карту Южной Америки ткнул в нее пальцем.

— «Читай!»

— Ничего не понимающий Иван Иванович с трудом прочел около крохотной точки на карте звучное название и вопросительно посмотрел на собеседника.

Закурив папиросу, командир продолжал:

— «Видишь ли, каждая страна страдает какой-нибудь болезнью: наши американцы копят доллары, испанцы дерутся с быками, французы голых девчонок на сцене разглядывают, а жители этой «великой» республики влюблены в лошадей. Армия в этой стране, конечно, существует, но главным ее ядром является конница, которой любой из жителей, независимо от своих политических взглядов, гордится. Конечно, этой конницы — кот наплакал, но все жители стараются сделать ее лучше. Что эти кавалеристы сидят на конях, как собака на заборе, им неважно, но каждый житель имеет право подать в сенат свой проект улучшения формы своих кавалеристов. Потому-то, когда идет их эскадрон, то диву даешься: и султаны на шапках в аршин высотой, и золотые шнуры на каких-то доломанах, с длинными фалдами, и сабли до самой земли, и шпоры времен Ричарда Львиное Сердце — словом в глазах рябит. Правда, надо сказать, что кони все как на подбор, подобраны по мастям и какое-то большое государство учреждает заведует этим делом. Никакие смены президентов не влияют на такое положение, поэтому члены лошадиного учреждения несменяемы по закону и их выбирают всеобщим голосованием».

При всем своем уважении к командиру, Иван Иванович понял, что тот в своем рассказе немного прибавил. Выяснилось, что в указанной республике инспектором кавалерии был тоже русский кавалерийский офицер, но теперь он стал стар, вести дело ему уже

не под силу и он решил уйти в отставку. Будучи знакомым с командиром Ивана Ивановича еще по России, он написал ему письмо с просьбой найти ему заместителя, конечно, лучше всего своего брата, бывшего русского кавалериста. Подумав минут пять, Иван Иванович согласился, но большим препятствием являлось незнание языка республики. Однако и это было разрешено легко и просто, так как там говорили по-испански, а этот язык он немного усвоил на службе у Дона Игнацио, кроме того, по словам командира, бывший инспектор кавалерии выучил своих всадников русским командам, а команд на своем языке они как следуют и не понимают.

— «Ты понимаешь, — продолжал между тем командир, — условия отличные, дело свое, родное, форму снова наденешь, шпоры, саблю, своих конников оденешь в форму нашего полка — на это деньги дадут. Представь — ты впереди своих всадников; проводишь их на параде перед президентом! Обидно, конечно, что он, наверное, в этом ни уха ни рыла не понимает и одет в какую-нибудь визитку с зеленой лентой через плечо и с двумя таинственными звездами. Но это не так важно... важно, что ты подчинен непосредственно ему и вхож к нему в любое время. Конечно, этот президент может через три дня слететь со своего места, но ты несменяем по их законам, так что для тебя это не страшно».

В результате этого разговора было то, что через две недели старый инспектор кавалерии приехал в город, где жил Иван Иванович, рассказал ему о его будущей службе приблизительно то же, что говорил ему его командир, привез и передал ему, на большом листе толстой бумаги с сургучной печатью и не особенно разборчивой подписью, приказ президента о его назначении. Бурно и шумно втроем справив это назначение Иван Иванович выехал к месту своей новой службы. Старый инспектор выехал с ним тоже, представить его президенту и познакомить его с кавалеристами.

Но на этот раз блестящая карьера Ивана Ивановича лопнула в начале оформления. В столицу республики приехали они вечером. Проехали на квартиру бывшего инспектора, где должен был жить в дальней-

шем и Иван Иванович. На рассвете другого дня, их разбудили какие-то крики и шум на улице, а потом, где-то хлопнуло два-три выстрела. Бывший инспектор отнесся к этому довольно спокойно.

— «Наверное новая революция — это здесь часто бывает!».

Но через минуту, спокойствие его покинуло: в окно они видели, как толпами шли горожане, неся впереди себя не флаги республики, а красные знамена и плакаты. Вдруг толпа отхлынула к тротуарам: по улице двигалась в своих пестрых мундирах конница, тоже с красным флагом впереди. По всем признакам, революция на этот раз была настоящая. Предшественник Ивана Ивановича поглядел на него и чуть свиснул.

— «Не знаю как вы, а я, как говорят, экстренно сматываю удочки! Зараза и сюда попала!».

Иван Иванович тоже отлично понимал, что оставаться ему нельзя: красный цвет флагов и плакатов доброго не сулил. Быстро одевшись, они спустились черной лестницей во двор, где стоял автомобиль инспектора кавалерии; старый инспектор сел за руль, и дико гудя, они вылетели на улицу. Никто их не задерживал, думая наверное, что это летит машина новой власти, и через несколько часов они благополучно миновали границу соседней республики. За линией этой границы их машину остановили пограничники, но, увидев паспорта американских подданных, пропустили дальше. Во время проверки документов, Иван Иванович увидел другую машину, в которой сидел какой-то бледный, худой человек. Старый инспектор усмехнулся:

— «Бедняга! Хороший был парень. Я должен был тебя ему представлять, а вот вышла какая сплошная меланхолия!»

Бледный, худой человек был тем, кто вчера был президентом.

Когда они вернулись из своего путешествия во взбунтовавшуюся республику и пришли к бывшему командиру Ивана Ивановича с рассказом о неудавшейся блестящей карьере Логинова, тот долго молчал, потом вышел в соседнюю комнату и вернулся с бутылкой живительной влаги и тремя стаканами.

— «Выпьем! — начал он свой ответ. — А за что выпьем не знаю. Знаю только одно, что более невезучего человека, чем ты», — обратился он к Ивану Ивановичу, — я не встречал. Конечно судьба тебя кувыркает вполне заслуженно. Нет у тебя настоящей напористости, острого соображения и умения изыскивать средства для борьбы с этой судьбой. Спорить об этом не приходится — достаточно вспомнить, как тебя Варвара на себе женила. Слишком много в тебе этой самой, как у нас говорили, меланхолии!»

Таким незаслуженным обвинением возмущился даже старый инспектор кавалерии. На что командир развил мысль, от которой оба инспектора только почесали затылки.

— «Вы оба подумайте», — продолжал командир. — Старый президент был рядом с вами. Вне всякого сомнения в его автомобиле он увез немало презренного металла и конечно с удовольствием бы вернулся в свой, утерятый им президентский дворец. Безработной шпаны, готовой за плату отстаивать любой режим, в этих республиках полно. Это первое. Второе — так называемая армия и разноцветная кавалерия вашей бывшей республики в боевом отношении, конечно не стоит...» — он на минуту замолк, а потом продолжал. — «Ну деликатно говоря ни гроша! Вам обоим надо было подойти к бывшему президенту и предложить свои услуги для возвращения его на прародительский престол. Это конечно стоило бы кое каких расходов, но он бы безусловно согласился. Тогда вы в какие-нибудь три-четыре дня набрали бы немалое число указанной мною шпаны, скупили бы кое какое оружие и, торгнувшись с этой армией во взбунтовавшуюся республику, широко распустили бы слух, что верное президенту население требует его возвращения в свой дворец. Это было бы тем легче, что и внешнею и языком жители этих великих держав между собой ничем не отличаются. Этим бы вы заварили контр-революцию и, при вашем боевом опыте, нанятые герои быстро бы ликвидировали восстание, президент въехал бы обратно в свой дворец, а красные флаги на другой день сожгли бы торжественно на главной площади и население столицы аплодировало бы или даже плясало при виде такого великолепия»

ного ауто-да фе! А виновники же всей этой каши, которых наверное было полтора человека, поспешили бы скрыться, как и вы, за ближайшей границей. Ну, а если бы не успели, то уж ваше дело было бы, как с ними поступить. Вы подумайте, патриархальная страна, где на каждом углу стоит по церкви, в праздники переполненные и к тому же населенная людьми с горячей южной кровью, которые легко откликаются на всякие звонкие и увлекательные призывы, была вовлечена в эту катавасию совсем немногим числом агитаторов. К тому же и времени у агитаторов для проведения в жизнь московских идей было немного. Один из них часа полтора поговорил в кавалерийских казармах, другой наобещал всяких благ в каком-нибудь предместье, третий то же сделал на базаре, вытащили красные флаги, наобещали всемерной помощи от великой советской державы, слушатели от всех этих разговоров загорелись, достали длинные палки, нацепили на них новые флаги и вышли на улицу, чтобы добыть обещанные каким-то Марксом блага, остальное население, привыкшее к таким революциям, правда, все-таки более приличного порядка, присоединилось. Вот вам и вся история! А маршировавшие с красными флагами, с удовольствием наблюдали бы, как корежились в огне эти красные флаги. Вы оба этого не учли и теперь ты», — снова обратился командир к Ивану Ивановичу, — «снова на мели и тебе остается найти вторую Варвару и повторить все старое!».

Слушатели молчали: план командира был весьма фантастичен, но доля правды в нем все же была.

Вдруг в эту минуту из соседней комнаты до слуха Ивана Ивановича донесся залиvistый, так знакомый ему громкий хохот Барб. Он сперва побледнел, потом покраснел (он видел ее после разрыва только во время процедуры развода), встречаться с ней не хотел, а тут грозила опасность встречи. Командир равнодушно повернул голову в сторону этого смеха.

— «К жене пришла в гости. Все же сестра. Наверное, про нового Рамона Наварро рассказывает... Может быть, хочешь с ней поговорить? После такого крушения своей карьеры выплакать горе на любимой груди?», — но вдруг остановился.

Бледный, с сжатыми кулаками, Иван Иванович вскочил с кресла.

— «Если ты... Если вы еще раз позволите себе такие слова, то... я не ручаюсь за себя!».

Командир одобрительно кивнул головой.

— «Вот теперь ты молодец! Сразу узнаю офицера нашего славного полка. Пойдем, я выведу тебя другим ходом. — Пожимая на прощанье руку он сказал: — «Не падай духом! Бог не выдаст — свинья не съест. Что-нибудь да придумаем».

Но что-либо придумать было не так легко. Работа в русской газете, где не было нужным знать английский язык, Иван Иванович так и не осилил его, а тот небольшой запас, необходимых для жизни слов и фраз, был слишком мал, чтобы устроиться на интеллигентную работу. Правда, бывшие сотрудники газеты решили открыть что-то среднее между газетой и журналом и, его как бывшего сотрудника пригласили работать, но это предприятие просуществовало около полугода, после чего все работники мрачно обсуждали вопрос расплаты с хозяином подвала, где помещалась редакция. Положение было трагическое: утром хозяин заявил, что если в течение трех дней ему не будет внесена арендная плата, которую, к слову сказать, еще ни разу не платили, то он передаст дело адвокату.

Бывший корректор старой газеты, а теперь редактор мрачно произнес:

— «На ошибках учатся! В следующий раз, когда мы соберемся с силами, будем печатать газету на португальском языке и увидите, как блестяще пойдет дело».

Все в недоумении уставились на него.

Развивая свою мысль, он продолжал:

— «Бразилия не за горами, и вся она говорит по-португальски, выпишем оттуда какого-нибудь нашего брата, который знает этот язык. Мы будем ему диктовать, а он переводить. Назовем газету «Русский — бразильцам».

— «Бразильянкам», — робко поправил Иван Иванович.

Редактор вскипел:

— «Дело не в грамматических точностях, а в результате. Увидите — тираж будет колоссальный!

Бразильяны — люди любопытные, и подписчиков будет не меньше, чем в бывшей «Ниве».

— «Прежде, чем отправлять газету в Бразилию, нам нужно расплатиться с хозяином, а времени всего три дня!» — произнес сидевший в углу мрачный хроникер. Эта реплика заставила отложить в сторону проекты бразильской газеты и привела всех к разрешению рокового вопроса.

Часам к двенадцати ночи пришли к решению временно заложить где-нибудь старый линотип и такого же возраста печатную машину, а пока что заниматься кто чем может.

— «Время изменится, горе рассется», — пропел сипловатым тенором редактор. — «Пресса — великая держава, не помню только которая, да это и не важно. Теперь же, дорогие друзья, объявляю наше издательство закрытым до тех светлых дней, когда мы снова выкупим наши верные машины», — и, подумав, для большего эффекта добавил: — «Прошу вас всех простить меня, если, кого-нибудь обидел, также, как и сам я прощаю всех вас!».

Иван Иванович пришел домой в самом подавленном настроении — впереди была безденежная неизвестность и самые мрачные перспективы. Ночью ему приснился, как-то забравшийся в его комнату, линотип, который умолял его о чем-то человеческим языком и всякая другая несуразная дрянь. Кончилось все для него тем, что при помощи того же командира, он устроился уборщиком в контору, где тот работал уже много лет. Работа была легкая и состояла в том, что, приходя в контору по вечерам, он выносил накопившийся за день мусор и бумаги, а потом машиной натирал до умопомрачительного блеска полы. Заработка ему хватало только на самую скромную жизнь.

Через полтора года его постигло большое и искреннее горе: его бывший командир, единственный близкий человек, простудился, заболел крупозным воспалением легких, и скоро Иван Иванович провожал его в последний путь. Работать в конторе он продолжал, но чувства одиночества и тоски угнетали, пока с ним не произошло то, о чем он никогда не думал и не гадал. Он твердо запомнил этот день — это был

вторник 23-го октября 34-го года. С утра выйдя в город и бесцельно бродя по улицам, он, от нечего делать, купил газету, которую покупал очень редко, так как понимал в ней только фамилии президента и цены распродаж, особенно тогда, когда предметы распродажи были изображены. И вот в это утро он, перелистывая листы газеты, вдруг увидел какое-то непонятное объявление, в котором большими буквами была напечатана его фамилия. Заинтересовавшись этим, он зашел к знакомому, знавшему хорошо английский язык, чтобы выяснить, в связи с чем его фамилия фигурировала в газете. Прочитав объявление, знакомый всплеснул руками:

— «Родственники в Америке у вас есть?».

Иван Иванович пожал плечами:

— «Думаю, что нет... — но потом, подумавши, добавил: — «Хотя мой покойный отец говорил когда-то, что его какой-то внучатый племянник или что-то в этом роде когда-то уехал в Америку. Но ни имени, ни фамилии его я не знаю».

— «Послушайте, — отвечал взволнованный собеседник. — Тут говорится, что умер какой-то бывший русский мистер Штольц, что он был одинок и все оставшееся после него имущество и капитал завещает кому-нибудь из родственников по фамилии Логинов, а в случае, если таковых не окажется, то просит передать все его наследство Красному Кресту. Этим объявлением, душеприказчики и адвокат этого мистера Штольца разыскивают такого Логинова. Вам нужно сейчас же пойти к ним — тут и адрес указан — и кто знает, может быть, покойник и был родственником вашего отца. Доказав ваше родство с ним, вы получите это наследство, а оно, я думаю, не такое уж малое, если упоминается и имущество и капитал».

С этого дня в течение нескольких месяцев производилось детальное расследование, был ли Иван Иванович действительно тем самым Логиновым, про которого напечатано. Положение осложнялось тем, что, кроме Ивана Ивановича, нашлось еще четыре Логинова и все они претендовали получить наследство покойного мистера Штольца. Правда, двое из них быстро отпали, так как уверяли, что они оба близ-

кие родственники покойного. Один уверял, что он родной племянник, а второй, что он незаконный сын мистера Штольца. Так как в завещании было точно указано, что родственников у мистера Штольца нет, и таковые могут оказаться без его ведома в Америке, особенно после всех российских опытов, то указанных двух претендентов вежливо попросили не беспокоиться. Ивану Ивановичу помогло указание в завещании, что сам мистер Штолец в России носил фамилию Логинов и родом из того города, откуда был и Иван Иванович. Кроме того, главным доказательством было и то, что предусмотрительный мистер Штолец указал, что он имел в России родственника Ивана Ивановича Логинова. Последнее чуть не погубило все дело, так как указан был Иван Иванович, а наш герой носил такое же имя и отчество и надлежащие власти, от которых зависел исход дела, долго не могли понять, почему отец и сын называются совершенно одинаково, и пришлось нанять специального переводчика, который долго и обстоятельно объяснял, что у русских отчество дается по имени отца. И только к Пасхе следующего года дело было решено в пользу Ивана Ивановича и он был введен в права наследства.

Новая и неожиданная жизнь разворачивалась перед ним. Но первым делом, которое он сделал, имея в банке солидный счет, было сооружение богатого памятника на могиле своего бывшего командира с точным указанием чина покойного и полка, в котором он служил.

Глава 14

Когда после всех шанхайских приключений с полученной от благодарного американца сотней долларов и оплаченным билетом в кармане Андрюшка сел на пароход, то он не предполагал ни одной минуты, что ему снова придется вернуться к тому, что он пережил давно в далекой Москве. Последние дни, проведенные им в Шанхае в обществе длинного американца, для них обоих были покрыты блаженным туманом, в котором неясно рисовались бесконечные бутылки с обжигающими джинами и виски, какие-то

рестораны, поездки на автомобиле и вообще благоденственное и пьяное житие. В таком же расслабленном состоянии он погрузился на пароход и перед прощанием его меценат что-то долго говорил с капитаном, указывая головой на Андрюшку и капитан внимательно и почтительно ему что-то отвечал. Стоя на берегу, американец приветственно махал Андрюшке рукой, но как только пароход начал медленно отваливать от пристани, он вдруг крепко ударил себя по лбу рукой: он вспомнил, что ничего, кроме общих фраз о счастливой жизни в Америке и о всех возможностях, он своему спасителю не говорил и даже не сказал, к кому же Андрюшка должен обратиться по приезду в благословенную страну. Андрюшка, находясь все последнее время в полупьяном состоянии, тоже об этом не подумал — для него было важно, что его куда-то везут в шикарной каюте перwokлассного парохода с добавлением сотни долларов, которые для него были целым состоянием. Но его меценат все же сообразил всю нелепость поездки без указания, к кому же и куда должен обратиться в Америке спасший его от бандитов Анри, как он его называл. Американец быстро вытащил из кармана визитную карточку, чтобы передать ее Андрюшке, но было уже поздно: пароход на несколько метров отошел от берега. Находчивый миллионер нагнулся, вырвал из своих ботинок шнурок, привязал им карточку к валявшемуся на берегу небольшому камешку и швырнул все это сооружение Андрюшке. Увидев, что последний подобрал с палубы карточку с камнем и к нему подошел капитан, что-то говоря, американец успокоился: его карточка открывала Анри если не все, то почти все двери в Америке — его имя было там слишком известно.

Пройдя в свою каюту в сопровождении боя, которого специально приставил к нему капитан, Андрюшка растянулся на диване и заснул под монотонный, чуть слышный стук машины. Но через самое короткое, как ему показалось, время в двери каюты раздался стук и он проснулся. Сквозь полуоткрытую дверь показалась умильно улыбающаяся физиономия боя, который что-то убедительно говорил по-английски. Недовольный этим, Андрюшка подумав, пробормотал на шанхайском диалекте:

— «Воды бутунда», — на что китаец, еще больше улыбаясь, ответил на понятном языке:

— «Ниды чифана», — и что-то еще, чего Андрюшка не понял. Но первых два слова ясно сказали, что его зовут обедать.

Это ему понравилось — он быстро встал, привел себя и свою шевелюру в порядок и пошел за китайцем. Войдя в кают-компанию, он на момент зажмурился — так там все сверкало и искрилось. За всеми столами с белоснежными скатертями, уставленными чем-то привлекательным, сидели богато одетые люди. Одетые парадно дамы сверкали драгоценностями, оркестр что-то тихо наигрывал. Китаец отвел Андрюшку к отдельному столику, за которым еще никого не было, и усадил его туда. На столе сразу появились яства, о которых Коренев и не слышал. Привело его в смущение и то, что перед ним на столе лежало несколько ложек, ножей и вилок. Не думая об установленных этикете и правилах поведения, он задумчиво почесал в затылке и оглянулся по сторонам, отыскивая своего китайского руководителя, но тот куда-то скрылся. Махнув на все рукой, Андрюшка отодвинул в сторону лишние ножи и вилки и вооружившись теми, которые, по его мнению, были наиболее удобны, начал уписывать то, что стояло на столе.

В этот момент за его стол уселась старая сухая дама и заговорила с ним по-английски чрезвычайно медленно и свысока, чуть прищурив презрительно глаза. Андрюшка в это время ел уже что-то сладкое, орудуя теми же ножом и вилкой, которыми пользовался, расправляясь с кровавым бифштексом. Заглядевшись на свою гордую соседку и про себя обозвав ее старой каргой, он уронил кусок сладкого на скатерть — красное пятно расплылось на ней. Тощая дама демонстративно встала, жестом позвала к себе боя и что-то возмущенно ему говорила, показывая на отодвинутые лишние вилки Андрюшки и на пятно на скатерти. Из всей ее речи Коренев понял одно слово «шокинг». Угодливо кланяясь бой проводил ее к другому столику.

— «Подумаешь — шокинг», — сказал он громко по-русски. — Ну и не сиди здесь, коли шокинг».

Люди за соседними столиками, переглянувшись, недоуменно пожали плечами. Андрюшка неожиданно

почувствовал такое страшное, гнетущее одиночество среди этих нарядно одетых людей, что ему стало страшно. Попав в их общество волею дикого случая, не понимая их, не зная их правил, он искренне обрадовался, когда появился бой, приставленный капитаном. Резко встав из-за стола, он обратился к бою на своем русско-китайском языке:

— «Моя каюта ходи!» — и к великой своей радости услышал в ответ:

— «Ваша русский человек — наша русски мало-мало говори».

Ему стало легче: все-таки хоть кое-как, но все же он теперь был не один. Легко поддаваясь впечатлению минуты, Корнев, в самом тяжелом настроении, вернулся в свою каюту. Как, когда-то давно, еще до женитьбы на Варе, он питал неприязнь к Волокитину, прежде всего как к человеку высшего, не его класса, так и теперь, он сразу возненавидел всех пассажиров, которые всем, начиная с внешнего вида, резко отличались от него. Отожествляя их всех с чопорной англичанкой-старухой, сидевшей за его столом, он решил, что и от всех своих спутников он много отношения не увидит. Среди нескольких сот пассажиров океанского парохода он снова почувствовал себя совершенно одиноким. Вечером, когда из салона доносилась музыка и его бой снова звал его туда на вечерний чай, он отказался.

Поздно вечером, когда по спокойной глади океана серебряными искрами разбегались и дрожали лунные блики, Корнев вышел на палубу. Там на лонгшезах и в креслах сидели все эти чужие ему люди, слышалась непонятная речь и взрывы смеха. Сверкали в темноте огоньки сигарет. Около него было свободное кресло, но он из ложного самолюбия, боясь опять вызвать каким-нибудь неумелым поступком смех, не сел в него. Эта боязнь усилила раздражение против всех его спутников. Прислонясь к решетке, окаймлявшей палубу, он не видел всей красоты южного моря. В его памяти проплыла убогая комната, в которой он жил в Харбине, неумная фантазия разукрасила ее небывалыми красками, а потом, развиваясь дальше, память рассказала, как, в компании с полупьяной Лидкой, он так уютно и хорошо проводил там вечера. Затем, как естественное продолжение этого, вспыхну-

ли страшные слова его опустившейся гостью: «Или не ненавидишь или не простишь». И снова в сумрачной дали прошедших лет выплыло лицо человека, которое он ненавидел и должен был простить. «Все из-за тебя, из-за тебя, сволочь, чекист!» — сверкнула едкая мысль. И уже не только в том, что погибла Варя, а во всем, включая этот блестящий в темноте пароход с чванными англичанами, виноват был только один Волокитин. «Если бы сейчас он был здесь», — начала шептать дикая фантазия и... в недоумении, остановилась: даже и она не могла подсказать Андрюшке что бы он сделал с Волокитиным. Он быстро вернулся в каюту и не раздеваясь лег на приготовленную боем кровать.

Привычка к фантазерству требовала, чтобы он придумал что-то в отношении Волокитина, если бы тот чудом очутился на этом же пароходе, но придумать ничего он не мог. Пораженный этим, он сел на кровать. Как будто бы между ним и нереальным врагом встала какая-то тонкая невидимая стена, за которую Коренев переступить не мог. В озлоблении на самого себя за эту кажущуюся слабость Андрюшка раскрыл чемодан, достал оттуда положенную заботливым американцем бутылку коньяка и прямо из горлышка отпил несколько больших глотков. Но и это не помогло — даже стало хуже — прозрачная стена колыхалась перед его глазами, как тонкая, из паутины ткань, прозрачная и насмешливо-бессильная, но порвать ее, отомстить виновнику его крушения он не мог: фантазия, раньше питавшая его злобу, молчала. И почувствовав, что от всего пережитого им в первый день пути он страшно устал, Андрюшка снова прилег на кровать.

Все его существо, мозг, душа, самолюбие требовали отдыха, а для отдыха нужно было найти что-то такое, что бы этот отдых дало. Память безудержно неся его по пройденным им жизненным ухабам и косягорам привела к началу — к погибшей давно жене. Но и это не успокоило, а напротив еще больше приподняло его нервы. Выходило, что виной той стены, что отделяла его от недоступного, возникшего в его фантазии Волокитина, была сама Варя, вернее та ее предсмертная просьба, с которой она обратилась к нему перед смертью. Эта мысль мелькнула у него первый раз в жизни, и она была так кощунственно-страш-

на, что он снова вскочил. Растрепанный и полупьяный он стоял среди каюты, бессмысленно глядя в стену, а потом друг опять упал на кровать и, зарыв голову в подушку, прерывисто шептал одно слово:

— «Прости!.. Не то я хотел!.. Не так... Не знаю!.. Смогу ли?.. Но прости!..»

Так бессвязно повторяя одно и то же, весь во власти алкоголя, он заснул тяжелым, пьяным сном, и всю ночь, издеваясь над ним, пьяная Лидка шептала ему во сне свои страшные слова.

Проснувшись на другое утро, Андрюшка долго не вставал, и, когда приставленный к нему бой пришел звать его к завтраку, он с удивлением посмотрел на своего подопечного пассажира. Растрепанный, в помятом за ночь костюме, Коренев показал бою на дверь и со злостью бросил одно слово:

— «Мэю!».

Выходить снова туда, где сидели люди не только чужие ему, но к которым он чувствовал озлобление, он не мог. Он ярко представил себе, как с любопытством, смешанным с насмешкой, проводят они его глазами, когда он будет проходить к своему столику. Это еще больше раздражило его. Он закрыл на ключ дверь каюты и снова лег. Издалека, до него, чуть слышно, доносилась музыка, в иллюминатор врывались солнечные лучи, а он, чувствуя себя совсем одиноким, все больше и больше наливался злостью ко всем и вся. Сначала эта злость обрушилась на его благодетеля, длинного американца, усадившего его на этот блестящий пароход. Но это было настолько нелепо, что он при всем своем фантазерстве быстро выбросил это из головы. А потом мысль его вернулась снова к началу всех начал — к тому человеку, который сломал всю его жизнь. Смотря неподвижно в потолок, не зная, чем убить время, Андрюшка опять воскрешал в памяти все прошлое, начиная с давным-давно забытого университета. И над всем этим прошлым висела, с одной стороны, страшная злоба к своему победителю, а с другой, переплетаясь с этим, — последняя мольба погибшей жены. Давно он не чувствовал несовместимости этих двух моментов. Жизнь, хотя часто и очень тяжелая, но среди людей, близких ему по языку и образу жизни, борьба за кусок хлеба отвлекали его от подобных мыслей. Теперь он был один и та внут-

рения страшная борьба с самим собой, которую он переживал в пустой комнате, после выхода из тюрьмы, в ту страшную ночь, снова воскресла в его душе. Не имея сил отвлечь себя чем-либо другим, направить мысли в другое русло, он безвольно отдался во власть памяти, рисующей его страшные московские дни. Перед ним воскресли и камера, где он сидел, и страшное, грязное обвинение, брошенное им ни в чем не виноватой Варе, и, как венец всего, его подхалимистое поведение в кабинете Волокитина. Будь на этом пароходе хоть один человек, с которым он мог бы переброситься живым словом, он вел бы себя иначе. Но он был один. Может быть, если бы полупьяная Лидка не бросила ему свои страшные слова, он в ходе прожитых лет смог бы позабыть своего врага; может быть, выветрилась бы или позабылась его непримиримость и он как-то, хоть отчасти, выполнил бы предсмертную мольбу последнего письма Вари. Теперь же эти слова — «или не ненавидеть, или не простить» своей неумолимой логикой жгли его мозг... Выхода из этого заколдованного круга не было, не могло быть... — он закрывал глаза и ему рисовалась Варя, им грязно оскорбленная, и последние слова ее письма. От мысли, что он сможет исполнить ее просьбу — ему становилось легче, но неотвязно, вдруг, появлялось лицо его врага, и сразу же умирало умиротворение, уступая место неумирающей злобе.

Так, весь во власти противоречий и хаоса путанных мыслей, Андрюшка провалился на кровати до тех пор, пока бой, постучав в дверь, позвал его обедать. Он почувствовал, что он голоден. И, как всегда быстро переходя в мыслях от одного к другому, он, сам не замечая того, ухватился за свою обычную фантазию. Быстро приводя себя в порядок, он стал рисовать, как, гордо подняв голову, с каменным лицом, на котором будет написано пренебрежение: «Нет, лучше презрение!», — мелькнуло в голове, он войдет в кают-компанию и, чуть-чуть улыбаясь правилам сидящих там людей, сядет за свой столик. Торопясь к обеду, он забыл одно обстоятельство — как бы ни старался он придать себе тот вид, который ему рисовался, это было невозможно: придать требуемое выражение своей круглой, курносой, простой физиономии он не мог. Но так или иначе, рисуя себя именно так, презри-

тельно-гордым он спустился в кают-компанию, прошел к своему столику, за которым сидел весь обед один и, без особых приключений на этот раз, забыв мысли, которые мучили его еще полчаса назад, с удовольствием пообедал, а потом выйдя на палубу, продолжал наивно предполагать, что своим холодно-презрительным видом производит впечатление на остальных пассажиров. Он сел в первое попавшееся кресло и, небрежно развалившись, закурил сигарету.

Презрительно, как ему казалось, щуря глаза, он провожал ими проходящих мимо своих соплавателей, как вдруг к нему подошел какой-то господин и что-то стал настойчиво говорить ему по-английски, указывая рукой на кресло. Андрюшка, думая, что он не заметил и сел на что-то лежащее на сидении кресла, привстал, посмотрел туда и, ничего не обнаружив, уселся снова. Подошедший к нему господин продолжал что-то настойчиво повторять, а потом, слегка потянув Королева за рукав, жестами показал, что на это кресло он хочет сесть сам. Это еще больше раздражило Андрюшку, и, вцепившись руками в подлокотники кресла, он ответил на чистейшем русском языке:

— «Здесь я, понимаешь? я сижу, а ты можешь отправляться подальше, если не хочешь узнать, где это подальше!».

Подошедший незнакомец повысил голос и сказал какую-то непонятную фразу, из которой Андрюшка понял только повторенное несколько раз, слово «Капитан».

— «Что ты мне капитаном тычешь? — иди ищи себе другое кресло, подумаешь тоже, капитаном пугаешь! Не на пугливых напал!».

Незнакомец еще повысил голос, но в ответ на это Андрюшка, все еще держась за подлокотники, развалился в кресле.

— «Подумаешь Сталин какой нашелся!» — крикнул в ответ.

Покрасневший от возмущения господин во весь голос ответил:

— «Сталин — большевик!» — и чем-то дополнил имя всемирного отца народов.

Сидевшие справа и слева от них пассажиры повернулись и стали прислушиваться к их диалогу.

Освирепевший незнакомец наклонился, схватил

Коренева за ноги, сдернул с кресла и, перешагнув через него, уселся в кресло. Андрюшка вскочил на ноги и поднес к лицу своего победителя кулак. Неизвестно, чем кончился бы их разговор, но вынырнувший откуда-то бой потянул Андрюшку в сторону и на своем русско-китайско-английском языке объяснил ему, что это кресло записано за его противником и что он заплатил за это деньги. Андрюшка с грехом пополам понял и оглянулся: он увидел насмешливо улыбающиеся лица остальных пассажиров. Он было хотел ответить и им, но бой подтащил его к свободному креслу.

— «Чего ниды», — успокаивающе проговорил он.

Андрюшка на минуту замолчал, а потом опрокинул кресло кверху ножками.

— «Я не могу сидеть среди этих типов, но это кресло мое, и ни одна скотина не смеет садиться на него!», — стараясь придать своей круглой роже презрительное выражение, отправился к себе в каюту.

Закрывши дверь на ключ, он снова вытащил бутылку с коньяком и, отпивши прямо из горлышка несколько глотков, повалился на кровать.

Легкий приятный туман охватил его, и из этого тумана он составил для всех пассажиров их короткую характеристику: «Сволочи, а еще англичанами или американцами называются». Тут он вспомнил опрокинутое свое кресло и решил проверить, не занял ли его кто-нибудь. С растрепанной шевелюрой и съехавшим набок галстуком он снова появился на палубе. Кресло его стояло так как ему полагается стоять. Он опрокинул его опять и, для большей убедительности, достал из кармана блок-нот, вырвал оттуда один листок, написал на нем по-русски: «Коренев Андрей», прикрепил листок к ножке кресла.

Гуляющие по палубе пассажиры останавливались и улыбались его работе. Полупьяный Андрюшка повернулся к ним и погрозил им пальцем:

— «Пусть только кто-нибудь попробует сесть на него».

Зрители в ответ не стесняясь смеялись, а кто-то из их толпы бросил слово:

— «Коммунист!».

— «Это я-то коммунист? — угрожающе ответил

Андрюшка. — А ну выходи, кто меня коммунистом назвал».

В ответ пассажиры не стесняясь хохотали. И только он хотел сказать им что-то особенное, как снова появившийся бой, под руку, силой утащил его снова в каюту.

— «Ну и не надо — без вас обойдусь», — бормотал он снова укладываясь на койку.

Чувство раздражения, владевшее им на палубе, постепенно переродилось в злобу против всех и вся. Этому способствовало и то, что он привык к общению с другими людьми, а здесь не с кем было перекинуться словом. Чувство одиночества, среди этих сотен пассажиров, охватило его и, оглядывая убранство своей фешенебельной каюты, он перенесся памятью к той камере, в которой он сидел в Москве много лет назад. Там было такое же одиночество, но там была причина, вызвавшая арест, а здесь он по своей воле отправился в неведомую страну и в конце концов выходило, что и в камере было лучше. Но это было настолько нелепо, что он отбросил эту мысль, и она снова перескочила на главный источник всех его бед. В его памяти уже стали стираться и блекнуть черты погибшей жены, но облик человека, погубившего ее, запечатлелся как высеченная на камне надпись. Сознавая и сам, что это все не нужно и бесполезно, он развивал неумирающую ненависть к своему врагу. «Вот и сейчас, — шептала мысль, — я трясусь на этом окаянном пароходе, а он, наверное, там, в Москве, купается в милостях того, кому служит, и живет в свое удовольствие». Он затрясся в бессильной злобе и сел на койке. «Мало того, — шептала пьяная мысль, — если бы сейчас он меня увидел, то наверное, торжествуя хохотал. Впрочем, может быть, он, просто, не заметил бы меня, как не замечают пролетевшую муху». Не отдавая себе отчета, он снова пил обжигающую влагу коньяка и мучая самого себя, раздувал эту злобу. И уже не погубленная Волокитиным жена, а его положение среди других спутников здесь, в этой пловучей тюрьме, незаметно стало причиной его переживаний. «А ты еще просишь его простить», — бормотал он снова ложась на кровать.

Пьяный мозг путал мысли, нашептывал о невозможности прощения, как вдруг дверь тихо отворилась и Лидка в своем зеленом платье вошла в каюту. Она была немного навеселе, красные пятна горели на ее щеках и, улыбаясь, она приблизилась к нему и села на койку рядом с ним.

— «Откуда ты? Как это могло случиться? Ведь ты уже умерла и лежишь на харбинском кладбище!», — бормотал он, отодвигаясь к стене в пьяном ужасе, охваченный диким страхом и боясь к ней прикоснуться. Но она друг оказалась не в зеленом, а в черном платье и, наклонясь к его лицу, расхохоталась.

— «Ты меня боишься? — услышал он хриплый шепот. — Трус ты и больше ничего! Я думала, что ты сильнее... Помнишь мои слова? Или не ненавидишь или не простишь! А ты мечешься, как пугливая собачонка! И ненавидеть не хочешь и простить не можешь. Мечешься, как тряпка половая. А к тебе я сейчас пришла, чтобы укрепить тебя в твоей злобе. Кто знает? — вдруг встретишься с ним — тогда как поступишь? Подумай сам. Хочешь на двух стульях сидеть, а они вдруг разъедутся, и поедешь ты в тартарары, — и, погрозив ему пальцем с красным ногтем, продолжала: — Ну отвечай, как поступишь?».

Весь в холодном поту, Андрюшка прохрипел:

— «Уйди!.. Ты ведь мертвая... Я не звал тебя!»

Медленно тая в воздухе, исчезая, она прошептала:

— «Что ж что мертвая? Тебя и мертвая помню и хочу, чтобы ты на одном стуле и крепко сидел».

Потом на момент он видел, как она сбросила платье и страшная, худая, голая растаяла в воздухе.

Андрюшка, трясаясь как в ознобе, дернулся на кровати и проснулся.

Точно силясь вырваться из груди, билось сердце, дробно стучали зубы, было страшно до ужаса. Пьяными глазами он обвел каюту. Все было на месте, только подушку свою он в бреду сбросил на пол.

В дверь кто-то осторожно стучал, но открыть ее было страшно — вдруг опять войдет покойница со своим шепотом. Но стук повторился, и он услышал голос боя. Обрадовавшись ему, живому человеку, Андрюшка открыл дверь. Бой стоял с подносом в руках. На подносе был ужин.

— «Капитана говори ниды чифана каюта», — и бой поставил поднос на стол.

У Андрюшки все вертелось в голове, но так велика была радость увидеть живого человека, что он схватил боя за руку и крепко ее пожал. Китаец понимающе покачал головой: почти пустая бутылка от коньяка стояла на столе. Чтобы совсем отвязаться от бывшего только что наваждения, Коренев принялся за ужин, а потом, раздевшись, лег на кровать и без мыслей заснул спокойным сном.

Дальше листы рукописи были опять изгрызены мышами или испорчены водой. По отдельным уцелевшим фразам и словам можно было установить, что Коренев в Америке работал уборщиком, садовником и, в конце концов, попал в русский монастырь на окраине города. Страница, на которой было объяснение этому, была попорчена водой, и многое разобрать было невозможно. Только по уцелевшим словам можно было вывести заключение, что Коренев до изнеможения устал от своей собачьей жизни и в поисках покоя обратился в монастырь.

Глава 15

Когда Коренев вошел к настоятелю, отцу Аристарху, тот сидел за столом и что-то писал. Отпустив поклоном головы келейника, он небрежно бросил Андрюшке:

— «Подождите!» — и продолжал писать.

Такой прием задел Андрюшку. «Видно, разговоры о доброте и приветливости дамами распускаются, — подумал он, — а на деле — даже сесть не предложил».

Коренев стал осматривать комнату. Ее убранство очень удивило его. Стены были оклеены какими-то светлыми обоями серых тонов с розовыми цветочками, что давным-давно вышло из моды. На стенах висели картины. Центральное место занимала большая мастерски выполненная копия Левитановского «Над вечным покоем». Дальше, также, написанные маслом, были пейзажи Шишкина, «Девятый вал» Айвазовского и две картины, изображавшие местную природу.

Широкие белые тюлевые шторы прикрывали окна, а в углу, на табурете, около аналая, под иконой святого князя Александра Невского, тоже копией Васнецова, стоял в вазе большой букет цветов. Несколько стульев и небольшой письменный стол завершали убранство комнаты. Окна выходили в монастырский сад, и растущие перед ними кусты и деревья смягчали солнечные лучи, создавая в комнате особый летний полусвет. Выкрашенный, на российский манер охрой пол сверкал чистотой. «Не плохо живет его преподобие», — подумал Андрюшка и только теперь, осмотрев комнату, стал довольно бесцеремонно разглядывать настоятеля.

В сером подряснике, подпоясанный широким вышитым поясом тот что-то писал, время от времени заглядывая в какую-то книгу и, казалось, совсем забыл о посетителе. Был он среднего роста и, как говорится, «не ладно скроен, да крепко сшит». Длинные светлые волосы были сильно тронуты сединой, также, как и небольшая курчавая борода. Лицо было самое обыкновенное, но Андрюшку поразили яркий румянец на щеках настоятеля, отчего лицо казалось совсем молодым и никак не гармонировавшим с сединой волос. Позднее Андрюшка узнал, что о. Аристарх болен туберкулезом и что болезнь прогрессирует все больше и больше, так как настоятель лечиться не хотел. При своем первом посещении Андрюшка этого не знал и снова подумал какую-то пакость о вольготном житии монастырской братии, имеющей такой цветущий, румяный вид.

Стоя около дверей, он вдруг вспомнил почему-то, как так же стоял в кабинете Волокитина, не решаясь сесть. И при воспоминании об этом снова старая, ноющая душевная тоска охватила его. Снова нахлынуло тягостное, позднее раскаянье и загорелась в сердце изнуряющая борьба между последней просьбой Вари и чувством злобы к Волокитину, которую он никак не мог побороть. Охваченный этим чувством Коренев забыл, где он и зачем он здесь, как вдруг какой-то легкий стук привел его в себя. Он поднял голову. Кончив писать, о. Аристарх бросил на стол карандаш, и этот-то звук вернул Андрюшку к действительности.

Подняв голову от своих бумаг, настоятель смотрел в лицо Кореневу, и взгляды их встретились. Гла-

за о. Аристарха были так же, как и он сам, самые обыкновенные, серые, не выражали вовсе силы воли, но излучали они какое-то странное обаяние. Кореневу в первый момент показалось, что они смотрят через него насквозь и видят и прощупывают, как руки врача, всю его душу. Для Андрюшки, привыкшего думать примитивно, это было в первый момент неприятно, но потом сразу же, как он говорил позднее, почувствовал странную, почти физическую теплоту, согревшую его душу.

— «Зачем пришел?» — чуть глуховатым голосом спросил о. Аристарх.

Андрюшка, ничего не думая, ясно и громко ответил одним словом:

— «Спаستись».

Надо сказать, что, идя к настоятелю, он подготовил длинную и обстоятельную речь, но теперь все у него вылетело из головы и, кроме этого одного слова, он придумать ничего не мог.

— «От чего?» — спросил его настоятель.

И, снова ничего не думая, Коренев также раздельно и отчетливо ответил:

— «От себя!..»

— «От себя», — повторил за ним игумен, а затем встав подошел к окну и, повернувшись к Кореневу спиной, стал смотреть в сад.

Так прошло опять несколько минут. И не поворачиваясь к Андрюшке, он продолжал:

— «Если от себя, то приму! Если от мира захотел бы спастись — не принял бы! От мира нужно в миру спастись. А от себя только здесь и можно спастись. Только выдержишь ли?» — задумчиво продолжал он, снова подходя к столу и опускаясь на стул.

— «Сейчас ничего не спрашиваю и ничего не говори о твоей какой-то борьбе. Но на первый раз вот тебе мое задание, на которое я даю тебе неделю. За это время ты должен из всех молитв, которые ты знаешь, из всех церковных возгласов или даже частей их выбрать то, что покажется тебе наиболее действенным, целесообразным для того, чтобы, произнося или думая эти слова, ты нашел в них настоящую помощь для спасения от самого себя, как ты сейчас мне сказал. Сходи за это время в нашу церковь, к обедне, ко всенощной, напряги все свое внимание, собери

всю волю, в каждое слово вслушайся, ни одного не пропусти. И когда почувствуешь, что при таких словах всколыхнулось от радости все твое нутро, вся душа, то это и будет первая и главная помощь, которая тебе поможет. Повторяю — пусть это будет часть какой-то молитвы, часть возгласа священника или диакона, отрывок в несколько слов из чтения псаломщика — это неважно! Главное, чтобы эти слова разожгли, раздули твою волю к борьбе с самим собой. И когда найдешь эти слова, запомни их на всю жизнь. А через неделю придешь ко мне и скажешь эти слова. Тогда и будем говорить обо всем».

Настоятель задумался на минуту, а потом продолжал:

— «Жить где хочешь? У нас или на воле? Живи, где хочешь!».

И опять, почти не думая, Андрюшка ответил:

— «У вас, отец Аристарх».

— «Твое дело», — равнодушно ответил игумен. — Живи, как гость, делай что хочешь. Я скажу, чтобы тебе койку дали и кормили эту неделю. Да, ты куришь?»

И на утвердительный ответ Коренева продолжал:

— «Дай ка сюда твои папиросы».

Андрюшка послушно, сам дивясь своей покорности, подал недавно купленную пачку. Тот внимательно пересчитал их и возвращая сказал:

— «Тут четырнадцать папирос — за эту неделю ты выкуришь девять, а остальные принесешь мне через неделю. Вот и все. Хорошо понял, что я сказал?»

Андрюшка утвердительно кивнул головой, растеряв почему-то все свои слова, которые казались необходимыми.

Отец Аристарх подошел к двери и, открыв ее, позвал келейника.

— «Брат Андрей, проводи этого человека в сад, а потом вернись и я скажу тебе куда его устроить. Да, перед этим сходи к отцу эконому и скажи, что человек будет жить у нас неделю», — и обращаясь к Кореневу коротко сказал:

— «Можешь идти».

Андрюшка потом рассказывал, что его до смерти испугали слова игумена, что он будет жить там целую неделю. «А потом?» — мелькнуло в голове. —

«А потом опять маяться в этом своем противоречии с самим собой?», — как будто бы он уже разрешил все доселе неразрешимое, а через неделю, уйдя отсюда он снова будет метаться от одной крайности в другую, снова искать помощи и не находить.

С того самого момента, как, в сопровождении келейника, Андрюшка вышел в сад и опустился на скамейку, началась неделя его испытаний, одна из наиболее трудных недель в его жизни, как он сам говорил позднее.

Начались эти трудности с того, что он по привычке опустил руку в карман и вытащил оттуда пачку с папиросами, намереваясь закурить, но вспомнив слова отца Аристарха, остановился. «Девять штук на неделю», — подумал он. — «Это значит по одной с небольшим в день. Маловато, но что же — надо выполнить». И тут же у него мелькнула юркая, воровская мысль: не ошибся ли игумен, считая папиросы. Он внимательно их пересчитал — папирос оказалось не четырнадцать, а пятнадцать. Андрюшка возликовал — на одну штуку больше он может выкурить. Но эти расчеты сами собой разлетелись — он вспомнил, что ему было разрешено выкурить девять штук, вспомнил светлое чувство успокоения, которое он почувствовал во время короткого разговора с игуменом и решительно тряхнув головой, решил: «Выкурю девять, а верну шесть штук». Он закурил и стал дожидаться келейника, стараясь ни о чем не думать, греясь на солнышке. Минут через десять монах вернулся и Коренев вместе с ним направился к небольшому двухэтажному дому, полузакрытому зеленым деревьям. В нижнем этаже дома, куда они вошли, тянулся вдоль всего дома коридор, с обеих сторон которого виднелись двери. Подойдя к одной из них, келейник открыл ее и вошел в маленькую комнату вместе с Андрюшкой. Комната напомнила сразу Кореневу камеру тюрьмы в Москве. Узкая деревянная койка с тонким жестким матрасом, стол, табуретка и больше ничего. Только в углу виднелась старая, почерневшая икона с горящей лампадой и аналоем перед ней.

— «Вот вам на неделю эта келья отведена. Обедать я вас позову, а в остальном следуйте словам отца Аристарха».

Келейник поклонился, вышел и Андрюшка остался один.

Кажется, в первый раз в жизни Коренев почувствовал, что он не знает с чего начать необычную для него жизнь, — сесть, лечь, молиться, выйти в сад, начать выполнять наказ игумена об отыскании нужных ему слов какой-то молитвы?.. Андрюшка растерялся — он был предоставлен самому себе, ему была разрешена полная свобода, и в то же время он чувствовал, что с этой минуты все его поступки, мысли, желания — все должно быть каким-то особенным, не таким, каким было до сих пор.

Он продолжал стоять посреди кельи, мучительно отыскивая путь, по которому он должен идти эту неделю, и ничего не мог придумать. И вдруг, ему вспомнился его отец, заштатный диакон, старуха мать, — оба давно умерли, — и его далекое, забытое детство. Как написанные нежной пастелью, развернулись в его памяти светлые картины того времени, когда все было просто и ясно. И успокоенный этими воспоминаниями, полностью отдавшись во власть прошлого, Андрюшка сел за стол и стал воскрешать в памяти все мелочи детских лет. Он так увлекся этим, что позабыл о том, где он находится, о своих сомнениях, о трудных вопросах, что и как делать ему в эту неделю, и чувство облечения и легкой грусти охватило его. Ему было легко, и он продолжал воскрешать одну далекую картину за другой, и пришедший звать его к обеду келейник нашел его во власти прошлого.

Столовая или трапезная была уже пуста, и он один уселся за стол. Обед был по-монастырски скуден. Только что он хотел за него приняться, как келейник тихо сказал:

— «Перекреститься бы надо!» — и Андрюшка, вспомнив где он, быстро вскочил и начал креститься на большой образ в углу трапезной.

Пообедав, он вышел в сад, присел на скамейку, и ему до смерти захотелось закурить. Но, вспомнив запрет игумена, он решил приняться за исполнение главной части данного ему наказа. Он стал вспоминать все незабытые еще молитвы. Однако дело подвигалось слабо: он не мог как следует сосредоточить внимание... мысли разбегались, легкие требовали та-

бачного дыма. Просидев так часа полтора, он решил все же выкурить папиросу. «Завтра ограничу себя, а сегодня для начала разрешу еще одну». Он с наслаждением начал затягиваться, и голова прояснилась. «Выходит, что папироса пользу принесла», — подумал он, снова принимаясь за чтение про себя молитв. Прочитав их очень внимательно, он так и не нашел ни одной, которая бы отвечала тому условию, какое поставил ему игумен. Он стал вспоминать церковные службы, но так как в церкви был уже давно, то толком ничего вспомнить не мог.

В пять часов маленький колокол монастырской церкви зазвонил к вечерне, и Андрюшка пошел на его зов. Несколько человек монахов неподвижными тенями виднелись в полумраке храма. Посторонних не было никого. Служба была монастырская — человека два-три пели на клиросе, очень много читали. Андрюшка думал увидеть отца Аристарха, но тот, видимо, все время был в алтаре, а служил старый седой иеромонах, тихие, слабые возгласы которого Корнев большей частью и разобрать не мог. Конечно, ничего соответствующего требованию игумена он не уловил, но от непривычки очень устал и, выйдя из церкви, почувствовал, что его снова неудержимо потянуло закурить. На его счастье, келейник скоро позвал его ужинать, а после этого, чтобы не поддаться искушению, Андрюшка прошел в свою келью и скорее лег спать.

В такой борьбе с собой и привычкой к никотину Корнев провел шесть дней. Конечно, никакой молитвы он не отыскал. Явиться к отцу Аристарху он должен был на другой день, который совпадал с праздником Преображения. В запасе у него оставалось полпапиросы, которую он оставил на утро.

Вечером он пошел в церковь.

В канун праздника народа в церкви было много, и даже несколько человек из молящихся прошли на клирос, составив небольшой хор. Служил в первый раз при Андрюшке сам игумен и Корнев понял, почему эти службы особенные. Отчетливо и внятно произнося каждое слово каждого возгласа, отец Аристарх говорил их не растягивая по церковному концы, а в каждое слово вкладывал столько силы веры, столько чувства, что все молящиеся подпали

под его духовную власть и за всю службу никто не вышел из церкви. Чувствовалось, что игумен просто забыл о всем и всех и полностью ушел в молитву.

И снова, как при встрече с игуменом, Андрюшка как-то обезволился, забыл о непроходящей эти дни физической тяге к никотину, почувствовал снова какое-то тепло, отогревающее душу и не думал ни о чем, бессознательно со всей силой внимания вслушивался в слова службы, отыскивая ему нужное. И вдруг он вздрогнул. В длинном возгласе диакона он уловил десятка полтора слов, которые были ему нужны. Он повторил их про себя и весь во власти их, скорее вышел из церкви. В саду было темно. Над головой растянулось сверкавшее звездами небо, и сев на скамейку в глубине сада, он с огромной радостью и благодарностью без конца повторял эти слова и чувствовал, что они помогут, а может быть, уже помогают ему. Он весь пропитался их содержанием и их бесконечным смыслом и чувствовал, что все кругом становится проще, яснее, ближе и чище. Он оборвал эти слова и заставил себя вспомнить Волокитина, и сам поразился — злоба к нему стала как-то мягче, не такой острой, а, главное, не чувствовалось боли от того, что он не в силах выполнить просьбу последнего письма Вари.

Он быстро прошел в свою келью и, опустившись на колени перед образом, без конца повторял эти слова, вкладывая в них всю силу чувства. Он не слышал, как вошел к нему келейник, приглашая к ужину. Он отказался. Часа два стоял он на коленях, а потом, забыв о папиросах, лег и стал вдумываться в найденные, нужные ему слова. И чем больше он разбирался в них, тем больше убеждался, что, зная их раньше и молился именно этими словами, не было бы того тяжелого сумбура и мук, которые владели его душой столько лет. Мало того, он понял, что если бы каждый человек молился этими словами, то было бы всем людям легче. Всеобъемлющими были эти слова, каждое из них соответствовало душевному состоянию каждого человека в любую минуту, а кроме того, и это было главное, иного душевного состояния, кроме упоминаемого в них вообще быть не могло. Значит, в любую минуту, при всех без исключения жизнен-

ных обстоятельствах, каждый человек, повторяя эти слова, будет молиться о своем душевном состоянии. Так успокоенный и просветленный Андрюшка и заснул, и последней его мыслью было, что он нашел то, что давно искал.

Глава 16

На другое утро, проснувшись, Андрюшка прежде всего вспомнил светлые минуты вчерашнего вечера и самым искренним образом забыв о папиросах вышел в сад. Утро было чудесное и, сев в ожидании начала обедни на скамейку, он решил проверить себя. Для этого он постарался возбудить в памяти все то, что не давало ему покоя многие годы, и прежде всего Волокитина. Как только из мглы и тумана прошлых лет выплывало это прекрасное лицо, совершенно непримиримая злоба снова загорелась в его душе. И одновременно с этим вдруг родилась новая, еще незнакомая мысль: «А что бы сделал я на его месте со всей силой любви к Варе, что владела им?» — Коренев, как всегда, увлекся этой новой мыслью и, отдавшись своей постоянной фантазии, стал рисовать картины одна нелепее другой: то Волокитин вызывал его на дуэль, то убивал его потихоньку из-за угла, то, похитив Варю, улетал с ней на аэроплане. Исчерпав все возможные и невозможные планы, к которым он прибегнул бы на месте Волокитина, Андрюшка остановился и широко раскрытыми глазами в недоумении уперся в синее небо. Выходило, что и он тоже боролся бы, добывая свое счастье, выходило, что Волокитин не так уж и виноват в том, что такая беспощадная любовь горела в его душе. Такое решение вопроса страшно поразило Андрюшку, и если даже злоба к Волокитину еще горела в нем, то она напоминала уже не открытую кровоточащую рану, а только заживающий рубец от нее, который очень болел, когда к нему прикасались. И одновременно с этим вдруг появились еле заметные проблески, прозрачные намеки на то, что к выполнению последней просьбы Вари, о которой она писала в своей предсмертной записке, он, хоть и немного, но приблизил-

ся. Ему показалось, что густой туман, окутывавший его так долго непроглядной пеленой, чуть-чуть поредел, и даже как будто на один миг сквозь него мелькнул солнечный луч.

В таком приподнятом настроении он простоял обедню, после которой, отказавшись от обеда, опять уселся в саду на скамейку, ожидая вызова его игуменом. Он стал думать о том, как будет рассказывать отцу Аристарху свою историю, придумывая красивые, громкие фразы, которые скажет, касаясь наиболее тяжелых мест.

Между тем прошло два часа, потом три, небо стало хмуриться, затянулось серыми тучами, пошел дождь, и Андрюшка в уже испорченном настроении пошел к себе в келью. Часам к шести вечера от утреннего светлого состояния у него не осталось ничего, начал мучить голод и появилось раздражение против игумена. — «Человек помощи ждет, а он и знать ничего не хочет — опять, наверное, что-нибудь пишет», — со злостью думал он. И в тот самый момент, когда Андрюшка вспомнил, что он со вчерашнего дня не курил и полез в карман за последней половиной своей законной папиросы, вошел келейник и позвал его к игумену.

Насупленный и раздраженный шел к нему Андрюшка.

— «Всегда так, — ворчал он про себя. — Только чуть станет лучше, как обязательно кто-нибудь все испортит!..»

В таком настроении вошел он к отцу Аристарху и в удивлении остановился: тот сидел на диване в простой белой сорочке и держа на коленях подрясник пришивал к нему пуговицу. Должно быть, когда вошел Корнев, он сильно уколол палец, так как, вместо ответа на приветствие, он затряс этим пальцем в воздухе:

— «Господи, воля Твоя! — услышал Андрюшка. — Беда, брат, с этим шитьем. Вправду, что не наше это дело, да ведь и без пуговиц ходить не годится», — а потом, продолжая шитье, прибавил: — «Подожди минуточку, вот кончу — тогда и говорить начнем».

Ожидавший совсем другого приема, разочарованный и обозлившийся Андрюшка мрачно опустил ся в кресло.

Минут пять в комнате царило молчание. Наконец отец Аристарх кончил свое шитье и, надев подрясник, сел за стол. Из-за пасмурной погоды и деревьев перед окнами в комнате был полумрак. Игумен включил настольную лампу, отчего стало как то уютнее и теплее. В саду шумел дождь и под ним чуть слышно шептались листья деревьев. Лицо отца Аристарха в сумерках трудно было разглядеть.

— «Говорить, наверное, долго будем — трудно тебе будет, если хочешь можешь курить», — тихо сказал он.

Андрюшка, поддавшись теперь умиротворяющей тишине и уюту, забыв свое раздражение, вытащил из кармана папиросы и подойдя положил их на стол.

— «Ну, как хочешь — если надеешься на себя, то тем лучше, — продолжал игумен. — А теперь так условимся: ты сказал мне, что ты сам от себя ищешь защиты, от себя спастись хочешь. Так вот и говори мне все, что можешь сказать, а что трудно сказать — не говори, себя не насилуй, не будет пользы от того, что через силу говоришь! Ценным считается то, что говорится по доброй воле — оно искренно и откровенно до конца и беззлобно. А вот, если заставляешь себя говорить то, о чем может быть не хочешь сказать, то в нем непременно есть элемент злобы, раздражения. Отравленное этой злобой признание, рассказ, как хочешь назови, уже не так ценно и может быть, потом, даже через много лет, сам будешь жалеть, что говорил так. Времени у нас много, хоть до утра рассказывай. Затем — пока никаких советов не проси, утешения тоже пока не жди! Отвечать буду потом, позднее, когда сам во всем разберусь. Спрашивать, прерывать не буду — буду молчать и слушать, а когда кончишь, сам можешь встать и уйти. Позову снова через дня три, четыре, а до того времени живи, как жил. Но прежде чем начинать свой рассказ, скажи — нашел ли те слова, ту молитву, тот возглас, о которых я тебе говорил и, если нашел, скажи их. Этот вопрос к твоему рассказу пока не относится и потому я его тебе и задаю».

Игумен замолк.

Весь охваченный чувством, как было вчера вечером, Андрюшка вскочил и, повернувшись лицом к иконе, громко и отчетливо прочел вслух свое прощение-молитву. Когда он повернулся опять лицом к отцу Аристарху, то увидел его стоящим, закрывшим глаза рукой. Потом он широко и истово перекрестился и обращаясь к Кореневу тихо сказал:

— «Мудрые и великие слова! Запомни их на всю жизнь и знай, что, если Вседержитель-Господь услышит эту твою молитву, то и просимое тобой ты получишь и спасешься от самого себя! Этими словами ты молишься не только о себе, но о всех людях — о своих друзьях и врагах, но среди них будешь и ты! — А потом снова опустившись в кресло, совсем тихо, как бы про себя, добавил: — «Самое трудное, самое страшное — от себя спастись, от того зла, что привито нам нашей несовершенной, грешной человеческой природой. Ох, как это трудно бывает...»

Он на минуту задумался.

— «Да, чуть не забыл, прости меня, брат, — ты наверное сегодня не обедал? — и на утвердительный кивок Андрюшки добавил чуть улыбнувшись: — Ну, это не так трудно исправить!».

Он вышел в соседнюю комнату и вынес оттуда Андрюшке пару яблок и просфору.

— «А пить если захочешь — вот в графине вода», — указал он.

Почему-то чувствуя себя как дома, не стесняясь и не отказываясь, Андрюшка быстро проглотил все принесенное игуменом.

— «Ну, а теперь располагайся удобнее и начиная говорить то, зачем пришел», — неожиданно громким и властным голосом, в котором звучали совершенно непреклонные нотки, проговорил отец Аристарх.

И Андрюшка начал свою повесть. С самого начала своего рассказа он почувствовал, что просто не сможет что-то скрыть, о чем-то умолчать. Если бы он рассказывал все это какому-нибудь своему другу, он, наверное, не рассказал бы о том, как он вел себя в тюрьме или в кабинете Волокитина, не поделился бы и тем, как он провел последнюю ночь в Москве в доме, находившемся против розового особняка,

где кончила свои дни его жена. Слишком уж в неприглядном свете описал бы он себя. Но сейчас ему казалось, что в комнате нет никого и он один вспоминает все пережитое. Рассказ его был путанным и бессвязным. Вспомнив, что он что-то пропустил, он снова возвращался к этому, дополняя до самых крайних мелочей свою речь. Так, говоря о том, как он встретил Лидку и какие страшные слова она ему бросила, он вдруг вспомнил, как лихорадочно собирал в мусоре, посланные ему Волокитиным деньги, и, нарушая хронологию своего рассказа, вернулся к этому моменту. Таких мест было много, но, стараясь не пропустить ничего, он чувствовал, как тает неразрешимый вопрос о том, как совместить неумную злобу и прощение врагу, о котором просила Варя. Не понимая, почему ему так легко рассказывать о себе и своей жизни, безалаберной, часто пьяной, он легко и с непонятной радостью выворачивал всю свою душу перед игуменом, с которым и говорил и встречался всего лишь второй раз. Почему-то торопясь и захлебываясь, он, путаясь в датах, старался не пропустить чего-либо. Ему казалось, что он говорит так в первый и в последний раз и что в другой раз всю свою исповедь не скажет никому. Забыв слова игумена о том, что может не говорить то, что для него будет тяжело и трудно, он этих трудностей не испытывал. Наоборот, чем непригляднее и темнее был тот или иной момент, тем легче было вспомнить и рассказать.

Ему казалось, что, с каждым словом, с души сходит, смывается слой за слоем налипшая на нее грязь и что он все ближе и ближе подходит к разрешению неразрешаемого доселе вопроса. Но когда он говорил о страшных словах Лидки, игумен, сидевший до этого неподвижно, вдруг шевельнулся и провел рукой по лбу. Андрюшка забыл о времени, обо всем забыл, страстно стараясь быть откровенным до конца. Его голос охрип от долгого повествования, он ерошил волосы, расстегнул воротник и к часу ночи, когда он кончил свою исповедь, расстрепанный, красный от напряжения памяти, заключил все словами:

— «Нужно простить, а я не могу!».

Игумен молча, не шевелясь сидел за столом, и у

Андрюшки вдруг мелькнула, испугавшая его до ужаса, мысль: «Не простит, не поможет», — а потом зажглась другая, уже воровски-юркая и напуганная: — «Не напрасно ли говорил обо всем?».

Но в этот момент игумен быстро встал и вышел в соседнюю комнату.

Андрюшка остался один, окутанный страхом.

Отец Аристарх скоро вернулся, держа в руках что-то блестящее металлом.

— «Сейчас ты исповедался мне во всех грехах и сомнениях. После исповеди люди причащаются!», — и опять голосом и тоном не допускающим противоречия добавил: — «Встань на колени!» — и указал на образ в углу комнаты.

Андрюшка, ничего не понимая, опустился на колени. Опускаясь, он успел в полумраке заметить, что на игумене была епитрахиль. Потом эта епитрахиль покрыла его голову, и он услышал давным давно забытые слова:

— «И аз... властью... прощаю и разрешаю от всех грехов...», — а потом также непреклонно прозвучало: — «Встань!».

Андрюшка встал. Теперь перед собой он увидел Дарохранительницу и услышал, как будто откуда то издали:

— «Честного Тела и Крови... причащается раб Божий Андрей».

Андрюшке показалось, что зажегся небывалым светом полумрак комнаты.

Игумен снова вышел и вернулся уже без епитрахили.

— «Теперь иди к себе. Придешь ко мне послезавтра. И, спасая самого себя, тверди найденную тобой для себя молитву. Иди с Богом!.. Сегодня ты сделал первый и самый трудный шаг!».

Как в тумане вышел Коренев в сад. Дождь давно перестал, звездными огнями сверкало небо и глядя в его бездонность он, забыв обо всем, в полголоса прочел найденную молитву. И спокойным сном, какого не было давно, беспутный фантазер, безвольный и слабый, заснул Андрей Коренев в своей келье.

А в эти самые минуты мучительный приступ кашля, сдерживаемый во все время андюшкиной исповеди, охватил игумена, и на белом платке темным пятном выступила горячая кровь.

Глава 17

Получив неожиданное наследство от незнакомого дядюшки и отдав дань памяти командира, Иван Иванович стал раздумывать о том, как он будет жить дальше! Взяв бумагу и карандаш он стал исчислять необходимые расходы. Потратив на эти вычисления целый вечер, он пришел к заключению, что если он купит, хотя бы на окраине города небольшой домишко и будет жить соблюдая экономию, но и не особенно себя стесняя, то полученного наследства хватит на двадцать два года. Так как Иван Иванович понимал, что двадцати двух лет ему не прожить, то проверив еще раз свои вычисления, он твердо решил остановиться на этом варианте будущей своей жизни. Не откладывая в долгий ящик проведение в жизнь своего проекта, он обратился на другой же день в контору по продаже домов, в которой служил один русский агент. Это в значительной степени облегчало покупку дома, и через два месяца он стал хозяином небольшого, весьма ветхого дома. Этот дом находился на самой далекой окраине и требовал большого ремонта, но Иван Иванович утешал себя тем, что весь ремонт он произведет сам, не увеличивая сумму, ассигнованную им на это дело. Но тут опять судьба спутала все его расчеты.

Как то раз, когда он красил потолок в одной из комнат, проклятый потолок, который не хотел почему-то принимать благопристойный вид, а краска со щетки щедро стекала на самого Ивана Ивановича, украшая брызгами и его лицо и протекая за рукав рубашки, он услышал, что в дверь кто-то стучится. Сумрачный и злой он слез с лестницы и открыв дверь, отшатнулся от неожиданности — сверкая всей своей рыжей красотой в двери стояла Барб. Как ни в чем не бывало она вошла в комнату.

— «Ну здравствуй, Отелло! Может быть ты теперь,

став домохозяином, положишь гнев на милость».

Окончательно растерявшись Иван Иванович стал от нее отступать вглубь комнаты и ногой опрокинул краску, которая живописным пятном разлилась по полу.

Барб звонко расхохоталась.

— «Вот видишь, говорят, что если что-либо разольешь, то это к счастью! И знаешь что? — я к тебе пришла в такую даль затем, чтобы примириться! Суди сам, как хорошо мы бы здесь зажили!».

Барб спокойно прошла в другие комнаты и до слуха Ивана Ивановича донесся ее голос:

— «Вот смотри — в этой комнате был бы твой кабинет, в этой столовая, здесь еще что-нибудь, а в этой было бы — знаешь что? Здесь бы была наша спальня, наше гнездышко!».

Иван Иванович вдруг осатанел — размахивая кистью он подскочил к Барб.

— «Гнездышко? Спальня? Вон, сейчас же вон! Я не желаю с вами разговаривать!».

Барб вытянула платок из сумки и приложила его к глазам.

— «Ты... Вы сначала бы даме стул предложили, а уж потом говорили бы дерзости!.. Ах... я сейчас потеряю сознание!.. Помогите!»

У Ивана Ивановича голова пошла кругом и он поставил около Барб табуретку. А та, опустившись на нее, скороговоркой посылала на Ивана Ивановича целый поток слов и фраз.

— «Да, всегда так бывает!.. Вначале при первой же встрече ты клялся в любви, а теперь оскорбляешь!.. А за что? за дурацкую шутиливую записку!.. Забыл совсем, как я за тобой ухаживала, как себе во всем отказывала, платья нового не покупала — все тебе и тебе... А знаешь ли ты, что та, которой ты клялся в любви, теперь впроголодь живет?! В банке поломойкой работает и со вчерашнего дня ничего не ела!.. У меня от голода голова кружится, а он... он... так обижает и стакан воды холодной бедной женщине не предложит..., а еще хвалится своей воспитанностью!».

Все еще держа кисть в руках Иван Иванович топтался перед ней, не зная что делать. Услышав о ста-

кане воды он бросился в кухню и принес Барб питье. — «Неужели голодает?, — мелькало в голове. — Тогда нужно помочь!».

Барб, как будто подслушала его мысли и уже спокойным голосом продолжала:

— «Впрочем, если вам неприятно мое присутствие, то можно сделать иначе. Вы отлично знаете, что с английским языком у меня дело слабо, помните и то, как вы уверяли до свадьбы, да и после нее, в вашей любви ко мне! Так вот, та, которую вы любили, теперь накануне нищенства. И ваш моральный долг спасти эту женщину от нищенства. Коротко говоря, вы будете мне каждый месяц выдавать или пересылать...» — Барб на минуту задумалась, а потом закончила свою мысль: — «Ну хотя бы двести долларов».

Иван Иванович вспомнил свое вычисление о трате денег — теперь же появился новый неожиданный расход. Одновременно с этим Барб напомнила счастливые семейные дни, когда она занималась отысканием очередного Рамона Наварро, а он сам себе должен был готовить обеды. Наивно поверив, что она действительно находится в тяжелом материальном положении, он решил ее поддержать, но выдавать каждый месяц такую сумму, которую она просит, он не мог, чтобы самому не очутиться на склоне лет в бедности. Иван Иванович решил с ней поторговаться. Они сошлись на семидесяти долларах. Барб потребовала расписку в том, что он будет выплачивать эту сумму аккуратно.

— «Я, конечно, не сомневаюсь в том, что вы в своем завещании все ваше движимое и недвижимое имущество отпишете мне!» — закончила она этот разговор.

Желая, как можно скорее ее ухода он махнул рукой:

— «Да, да, я обязательно это сделаю!».

Получив первое свое жалованье и расписку, Барб направилась к выходу.

— «А может быть вы все же, обдумав мое первое предложение согласитесь, на семейную жизнь?» — с порога вопросительно бросила она, на что Иван Иванович в виде протеста с испугом замахал руками:

— «Ну, как хотите, но если вам когда-нибудь будет тяжело и плохо, то помните, что у вас есть предан-

ный друг», — с этими словами она удалилась, оставив его в самом расстроенном настроении.

В дальнейшем, не желая встречаться, он переводил Барб деньги по почте. Но как-то, один знакомый, тоже холостяк, отмечая свои именины, пригласил Ивана Ивановича в славившийся своими ценами ресторан. Сидя за столиком Иван Иванович вдруг увидел в декорированном до предела платье Барб. Заметив его и встретясь взглядами, она послала ему воздушный поцелуй. Он видел как окружающие ее, видимо все кандидаты в Рамона Наварро, заинтересовались им и Барб, что то им объясняла. Его рыжая бывшая жена совсем не походила на умирающую от голода женщину. Он только повертел головой и пожалел, что мало торговался и не ограничил свою помощь двадцатью пятью долларами.

Закончив ремонт дома Иван Иванович отправился в русскую эмигрантскую организацию и просил прислать ему прислугу (этот расход в его вычислениях фигурировал). Ему обещали направить одну очень нуждающуюся женщину. На следующий день к нему явилась женщина, которой можно было дать не меньше пятидесяти лет, но ее первыми словами было:

— «Я — девушка и могу работать у вас только на том условии, что вы не посягнете на мою честь! Зовут меня Аграфена Кондратьевна».

Глядя на ее костлявую длинную фигуру, Иван Иванович с удовольствием дал слово, что он этого никогда не сделает, и Аграфена Кондратьевна переехала к нему, поселившись в одной из комнат.

Надо отдать справедливость, что прислугой она была идеальной — завтраки, ужины и обеды она готовила с точностью до одной минуты, а своей бесконечной уборкой иногда его раздражала.

— «У вас немного измяты брюки — сходите переоденьтесь и я их выглажу», — заботилась она перед тем, как он собирался в город.

По его мнению брюки были в полном порядке, но он шел в свою комнату и послушно снимал. Заботливость ее распространялась на все, касающееся его.

— «Иван Иванович, вам нужно сменить очки, а то вы сильно щуритесь, когда читаете! Иван Иванович, вам нужно сходить в парикмахерскую — вы сильно

сбросли! Иван Иванович, у вас скоро износится подметка на левом желтом ботинке — надо отдать сапожнику. Иван Иванович, вам нужно сменить лампу на письменном столе — эта очень яркая, а это вредно!»

Так и сыпалась без перерыва этакая забота, что иногда умиляло, а чаще злило. Но честности она была исключительной и, каждый раз, возвращаясь из города с покупками, заставляла его пересчитывать в ее присутствии сдачу. Иван Иванович был доволен, что все мелкие заботы для него исчезли.

С живущими по соседству американцами Иван Иванович компании не вел, но зато крепко подружился с курносым в веснушках озорным мальчишкой. Мальчишка ходил в школу мимо дома Ивана Ивановича и тот заметил, что энергия и радость бытия так и брызжут из веснушчатого мальчишки. Заметив однажды торчащую из сумки с учебниками морду черно-белого щенка, которого мальчишка ради озорства нес в школу, Иван Иванович умилился. Раскрыв широко окно он дождался, когда его будущий приятель возвращался из школы, ведя щенка уже на веревке, и протянул ему плитку шоколада. С этой плитки и началась их дружба. Познакомившись ближе Иван Иванович узнал, что мать этого мальчишки — вдова убитого на фронте лейтенанта, что еще больше расположило его к мальчишке. Он старался, чтобы эта дружба окрепла и мальчишка, которого звали Джим, начал заходить к Ивану Ивановичу и делиться своими планами. Ему видимо импонировало, что взрослый, чужой дядя разговаривает с ним, как со взрослым и иногда придумывает и обсуждает очередную выходку, которую мальчишка планировал для школы. Когда же Иван Иванович подарил ему ко дню рождения роскошный костюм индейца, Джим стал видеть в нем своего закадычного приятеля.

Однообразно и монотонно текла жизнь Логинова, но это его не тяготило — он много читал, беря книги сразу в двух библиотеках. Изредка к нему заходил кто-нибудь из знакомых, кроме Джима, который забегал иногда даже поздно вечером, чтобы поделиться с ним своими новыми озорными планами, и никогда не думал, не гадал Иван Иванович, что он все больше приближается к тому моменту, который столкнет его

с теми, с кем он был близок давным давно в далекой краснойзвездной Москве.

Как то летом, гуляя в ближнем парке он вдруг услышал давно не слышанную им русскую «словесность» с упоминанием всех родственников. Оглянувшись он между кустами увидел какого-то оборванца, старавшегося свернуть из клочка газеты подобие сигареты. Руки у пропойцы дрожали и он, видимо, рассыпал табак. Иван Иванович, всегда радовавшийся встречам с земляками, подошел к бродяге и протянул ему пачку сигарет.

— «Ты, видно, богатый! — прохрипел босяк, беря сигарету.

— «Вы русский?» — спросил его Иван Иванович.

— «А тебе какое дело кто я? — услышал он в ответ. — «Разве не слышал? Американцы так не говорят — не умеют».

Кончилось тем, что Иван Иванович по своей доброте пригласил бродягу к себе пообедать. Тот согласился, но с условием, что о себе говорить ничего не будет.

— «Будешь спрашивать — плюну и уйду!» — закончил он.

Во время обеда Иван Иванович заметил, что его гость очень умело обращается с ножом и вилкой и понимает толк в вине. После обеда они перешли в кабинет и бродяга, развалившись на диване, с наслаждением затянулся сигарой, которой угостил его хозяин. И вдруг пришло то, что явилось началом к раскрытию драмы, о существовании которой Иван Иванович не подозревал и в которой он сам был едва ли не главным действующим лицом.

На его письменном столе стояла в рамке большая карточка, на которой была снята группа студентов и курсисток — еще в Москве. Бродяга вдруг швырнул сигару, затрясся, и вскочив, обеими руками схватил карточку. Он впился в нее глазами, а Иван Иванович, невольно переводя глаза с бешеного лица пьяницы на фотографию, увидел там то же лицо, еще совсем молодым, не обезображенным жизнью на дне. Это был студент Андрей Коренев, его бывший однокурсник и приятель в те далекие годы.

— «Андрюшка!» — вырвалось у него.

Но гость швырнул карточку на пол и под его каблуком захрустело стекло рамки.

— «Сволочь!» — крикнул он и выскочив из дома Логинова затерялся в толпе.

Глава 18

Если бы Волокитину сказали, что ему придется когда-то играть чью-то роль, перевоплощаясь внешне то в старика колхозника, то в спившегося босяка, лгать при каждом слове, следить за каждым словом, жестом и взглядом, не умываться и не менять белье целыми неделями, спать то в стоге сена, то на полу пропитанной нищенством, вонючей хаты, наконец, камнем прорезать себе щеку и замотать эту рану грязной тряпкой — он бы только улыбнулся — настолько это разнилось и с его молодыми годами, когда он подражал в своих стихах пленительному Блоку, и позднее, когда он так умело носил сшитую у лучшего портного Москвы форму проклятой службы. Но случилось то, что должно было случиться после того, как с самой вершины власти были брошены слова:

— «Ну, служи, пока что!».

Зная по опыту своей черной работы каждый оттенок немилости, замечая приближение опалы по едва заметным намекам, он понимал, что или нужно безвольно сдаться или бороться всеми способами, чтобы сохранить жизнь. Природное самолюбие отбрасывало первое — значит оставалась борьба. Дело было не в том, чтобы сохранить жизнь. Это было в конце концов второстепенным — сама его служба приучила к этому. Главным было не уподобиться барану, которого ведут на бойню. Избранный им путь заражал азартом игры, ставкой которой была его собственная жизнь.

Но еще больше бы он удивился и может быть рассмеялся, если бы его стали уверять, что в результате этой борьбы он, ни во что не веровавший циник, спокойно отправивший на смерть или в ледяные лагеря не одну сотню людей, лица и фамилии кото-

рых он забывал очень скоро, он, равнодушно выбросивший из своего лексикона понятия «жалость», «добро» и, наконец слово «Бог», он, выйдя из смертельной борьбы, победителем, вдруг вспомнит эти слова. Может быть, тяжело переживавший слова арестованного Преснякова, с презрением бросившего убийственную фразу о законе наследственности, он забыл, что в ряде мертвых предков, кроме помощника Скуратова или мимолетного фаворита прекрасной Императрицы, был и тот, который в суровом северном монастыре когда-то окончил дни свои под черной иноческой скуфьей. Почему-то теперь, в борьбе за жизнь, когда мог погубить его каждый необдуманный шаг, он не мог отделаться от чувства угнетения, порожденного в нем словами Преснякова... Вся эта вереница предков, издеваясь, окружала его серым туманным кольцом. Он всячески боролся с этим, но особенно по вечерам и в полубессонные тревожные ночи, когда грозил гибелью каждый шорох, он чувствовал себя бесильным против их власти над собой. Иногда ему в душу вторгался и тот, о котором было не принято говорить в его семье — опустившийся на самое дно Хитрова рынка босяк. Но его он быстро прогонял. Выходило, что он всю свою жизнь построил, отражая, как в зеркале, все действия и грехи своих предков, безвольно выполняя их веления, являясь сам продуктом простого вырождения семьи, насчитывающей не одну сотню лет. Одновременно с мыслями о способах спасения текли параллельно и другие мысли, беспощадно воскрешавшие в мозге образы людей, которых он не знал, но которые, взяв его за руку, вели по проложенному ими для него пути.

О Боге он не вспоминал давно и накрепко забыл о Нем. Но тут же зародилось другое — воскресли старые, давно забытые минуты, когда он увидел уже холодную, мертвую Варю, которую он единственную любил. Неумолимым и естественным продолжением было ее письмо, которое он внимательно прочел, прежде, чем передать Андрюшке. В нем слово «Бог» повторялось не раз, а главное, следуя заповедям этого Бога, она не только простила его — Волокитина, но просила и Андрюшку простить. Стало быть, через самоубийство, которое она считала смертным грехом,

в свои последние минуты она пыталась простить его, помня заповедь — «Любите врагов!». Он с досадой отбросил эту мысль, ибо она вела все-таки к Богу, Которого он не знал и не помнил. Впрочем, если есть Бог, то Он не допустил бы самоубийства и жизнь их сложилась бы иначе.

Он сам вел свою кровавую работу, но никакого раскаянья или угрызений совести не чувствовал. Бог, — символ любви и всепрощения, никогда не уронил в его душу искры сожаления и раскаянья. Мало того ... он не помнил... в сером тумане расплывались сотни людей, осужденных им, обращаясь в длинную очередь, идущую к смерти или ледяным лагерям. — «Какой уж Бог!», — думал он, засыпая. Но так или иначе его прадед, суровый монах, в тот вечер шепнул в первый раз что-то, чего Волокитин не мог толком разобрать.

По роду своей службы Волокитин знал все места, через которые проходили или в большинстве случаев пытались перейти смельчаки, не принявшие власть того человека, который невольно предупредил его своими словами: «Пока что!» Он знал и те места, которые охранялись самой природой — то черной топью непролазных болот, то подошедшей к самым границам непроходимой тайгой. И если еще в лабиринте столетних сосен, елей и бурелома можно было как-то перехватывать беглецов, то перед тянувшимся на несколько верст болотом охрана могла быть только случайной. Он помнил доклад своих подчиненных о том, как какой-то человек пытался спасти свою жизнь, вступив на обманчивую зелень топей и они наблюдали, как в нескольких десятках саженей от берега он медленно стал погружаться в болотную жижу. В докладе говорилось, что спасти его было нельзя и пограничники наблюдали, как он медленно погрузился по колени, по пояс, потом стала видна только голова, тоже скоро исчезнувшая в бездонной трясине.

К этому-то заколдованному самой смертью месту и направлял теперь шаги Волокитин. Он знал лучше других все приемы его службы и сразу же по выходе из Москвы изменил свой облик.

Скрываясь в роще, подходившей к какой-то деревне вплотную и наблюдая издали за жизнью этой

деревни, он с вечера заметил, как в одном дворе хозяйка повесила на веревку выстиранные белье и поношенную верхнюю одежду. Поздно ночью он тайком пробрался в этот двор и снял с веревки все ему нужное. Вернувшись снова в рощу, он переоделся в эти лохмотья. Подумав немного, поднял с земли острый камень и расцарапал им себе щеку. Царапина эта прошла в щеку глубоко, и он завязал ее тряпкой, случайно взятой с одеждой во дворе деревни. На тряпке скоро появилось темное пятно. Впрочем кровь скоро остановилась, но в согнутом нищем не узнать было вчерашнего неумолимого следователя. Свой костюм он связал в плотный узел, завернув в середину его камень, и бросил в какую-то речушку, протекавшую около деревни. Преобразившись таким образом, Волокитин почувствовал, что он голоден. Покупать что-либо на деньги, спрятанные им под рубахой, он не мог, чтобы не вызвать подозрения. Дождавшись снова ночи, он тайком пробрался в деревню и украл у кого-то буханку хлеба. Так, обросший, грязный с промокшей от крови повязкой на лице, он пробирался к неохраемому пограничниками болоту. Недалеко от болота он рискнул зайти в какую-то разоренную коллективизацией деревню. Согнувшись, с корявой палкой в руках, он не вызвал ничего подозрения и, прося милостыню Именем Христа, получил несколько кусков хлеба и штук пять вареной картошки. Он дивился: неужели Христос помог ему — неверующему?

Медленно и с болью в нем происходил процесс духовного порядка.

Зная детально все западни, в которые он мог попасть и в которые попадали неопытные люди, надеявшиеся обрести свободу, Волокитин умело их избегал, хотя отлично понимал, что в погоню за ним привлечена большая часть его бывших сослуживцев. Сеть паутин для этого была расставлена умело и широко и думать о переходе границы в местах, сугубо охраняемых, было неосторожно и глупо. Оставалось только то бездонное болото, перейти которое он решил, отлично понимая, что этот участок его борьбы будет наиболее трудным и смертельно опасным. Да другого выхода у него и не было.

Между тем призрак предка-монаха теперь не от-

ходил от него. Видя в этом только очередной гнет предков, он всячески старался от него избавиться. Днем, обдумывая каждый шаг, он еще забывался, но по ночам бывало страшно; изможденный, суровый монах обезволивал его, что-то нашептывал, что-то заставлял делать. Пытаясь избавиться от этого гнета, он грубо насмеялся и над предками и над Тем, Кому прадед посвятил свою жизнь. Это не помогало, тем более, что, в непосредственной связи с призраком и его заветами, из тумана выплывало лицо той, кого он так любил и которая, из-за него погибла.

Как то однажды вечером, уже недалеко от границы, смертельно уставший за день, он опять зарылся в стог сена. С наслаждением расправив уставшие ноги, он снова безвольно воскресил в памяти прадеда-монаха. Рассвирепев от навязчивости давно умершего старика, он бросил ему мужицкую грубую брань. Это не только не помогло, но еще обострило наваждение. Дикая мысль вдруг обожгла Волокитина: «Послушай!» — и безумная, кощунственная ругань повисла в душистом воздухе стога. — «Ну, а теперь как? Видишь? Ничего!..» — шептала бредовая мысль, но как неумолимое предостережение воскресло в памяти Варино письмо, и чувствуя, что он теряет разум — Волокитин, сломленный непроходящим наваждением, уже просительно, почти молитвенно, прошептал: — «Ну уйди! Ну не мучь!.. Потом... когда-нибудь я послушаюсь!». И совсем неожиданно добавил: — «Прости, прости за это!..» — И вдруг, уже засыпая, он увидел хохочущую, круглую рожу Андрея Коренева. Он очнулся: этот смех, торжествующий и наглый, звучал теперь как окончательно-победившее торжество. И всю ночь промучавшись без сна, он терзался запутанными и расплывчатыми мыслями. Гордость шептала: «Не покорись!», — а что-то новое, непонятное, тут же шелестело: «Покорись!».

Ранним утром, когда в предутреннем легком тумане все расплывалось, он подошел к окраине болота. Совсем неожиданно в уме, вдруг, сама собой, возникла мольба: «Помоги!.. спаси... тогда поверю... тогда по твоим следам пойду...» — шептал бывший чекист, глядя на уходящую вдаль ядовитую зелень, покрывавшую смертоносную бездну. Накануне, на до-

роге он подобрал кем-то оброненные две узкие, тонкие доски и, перед тем, как начать свой переход по болоту, он бросил одну из них около берега — она на дно не пошла, но сопротивляясь всей своей площадью тяге вниз, спокойно лежала на поверхности. Волокитин осторожно ступил на нее — она чуть опустилась под его тяжестью, но вода только немного смочила ему подошвы. Теперь все зависело от быстроты его движения. Он бросил вторую доску и ступил на нее — она тоже держалась крепко. Подняв первую доску он ее перебросил дальше и так, меняя доски, он передвигался над бездной грязи и гибели.

На берегу, оставшемся за ним, было все тихо — люди боялись подходить близко к проклятому болоту!

Утомленный борьбой с трясинной, он же приблизился почти вплотную к спасительному берегу, как вдруг произошло событие, изменившее в корне всю его жизнь. Торопясь и не рассчитав силы, он бросил слишком далеко очередную доску... ни перейти на нее, ни перепрыгнуть он не мог. Совсем близко росли березы, означая конец болота, но для него они были недостижимыми. Доска, на которой он стоял, под его тяжестью медленно начала опускаться в трясину. У Волокитина все поплыло перед глазами — погибнуть, стоя у границы было нелепо! Грязь уже медленно доходила до щиколотки! И вот тут-то, в преддверии страшной смерти, померещился прадед-монах. Вне себя он почти крикнул: «Помоги!.. Спаси! И тебе поверю... и в Бога поверю!» Вытянув вперед руки, он прыгнул к лежавшей далеко доске, рассчитывая схватиться за нее руками. Холодная, липкая грязь сразу пропитала его одежду и необоримая сила потянула его вниз, в глубину... Самыми концами пальцев, вытянувшись, он коснулся доски, но притянуть ее к себе он не мог; пальцы скользили по краю доски, а тело всасывалось болотом.. И тут-то, в отчаянии, до крови сорвав пальцы в тщетной попытке притянуть к себе доску, он вне себя прошептал: — «Господи! Спаси!.. Варя, помолись за меня!..» И случилось чудо: ногти вдруг зацепились за какой-то сучок на доске и он медленно потянул ее к себе. Через несколько минут, измазанный с головы до ног липкой грязью,

обросший, страшный, с грязной тряпкой на лице, бывший красавец и денди, бывший неумолимый следователь, ни во что не веривший циник, измученный борьбой со смертью, упал пластом на твердый берег.

Вдали, в роще, стоял небольшой деревянный дом и оттуда бежали к нему какие-то люди в незнакомой ему форме. Но за те несколько минут, пока они приближались и склонились над ним, дивясь небывалому происшествию, так как болото считалось непроходимым — он успел прошептать: «Спасибо, дед!.. Спасибо Варя!..»

Как вспышка молнии осенила слышанная в детстве не то молитва, не то возглас: «Живый в помощи Вышнего...» Это были давно забытые слова, но, тонким, теплым дуновением чего-то своего, родного повеяло от них... прозвучало... ясно, потом расплывчато ускользая... как недавно доска из-под пальцев. Он почти физически, реально почувствовал присутствие кого-то близкого, покровительство которого было успокаивающим.

Волокитин потерял сознание.

Глава 19

В себя пришел он в незнакомой комнате с выбеленными известкой стенами, на которой висели какие-то объяснения на незнакомом ему языке. К нему, лежавшему на скамейке, подошел офицер в чужой форме и ломанным русским языком спросил его фамилию и каким способом он перебрался через бездонное болото. И когда Волокитин назвал себя, офицер отшатнулся от него и протянул ему газету, в которой латинскими буквами, крупным шрифтом, была напечатана его фамилия. Он понял, что о его бегстве стало известно и здесь. Грязный и страшный он сел на скамью; офицер позвонил кому-то по телефону. Выслушав ответ, он снова подошел к Волокитину.

— «Ви уметь ехать лошадь?» — спросил он.

Волокитин кивком головы ответил утвердительно.

— «Но, — сказал он, — в таком виде?».

Офицер понял и позвал его в кухню, где на плите уже грелась вода. Какой-то солдат принес ему

белье и обмундирование без всяких знаков и сапоги. Волокитина вывели во двор к колодцу и туда же принесли горячую воду. Солдат достал ведро воды из колодца и жёстами предложил ему вымыться. Волокитин показал на свои заросшие щеки и попросил жёстами бритву. Сходив в дом к офицеру, солдат вернулся с пустыми руками.

— «Ни, неть!» — услышал от него Волокитин.

«Бояться, что начну их резать или сам зарежусь», — подумал Волокитин и с наслаждением сбросив с себя промокшую от грязи одежду, вымылся в корыте.

Он знал, что здесь с русской землей граничит маленькая республика, ставшая самостоятельной после революции. Пока он мылся и переодевался, к дому подошла военная машина и ему предложили сесть в нее. По своей прежней службе он знал, что отсюда беглецов не выдают, но он был слишком известен, как один из тех, кто кровью крепил власть страны, оставленной им и к нему местные власти могут отнести иначе, чем к обыкновенным беглецам из красной страны.

Генерал, к которому его отвезли, утонченно-вежливо беседовал с ним, угостил отличным обедом, а после дал понять, что Волокитин был очень важным чиновником и лучше ему, во избежание недоразумений, как можно скорее отсюда уехать. Узнав от Волокитина, что его родные проживают в Швейцарии, генерал, поговорив с кем-то по телефону, сказал, что ночь он проведет здесь, а утром ему будет предоставлен бесплатный проезд к семье.

Смертельно уставший Волокитин после обеда стал дремать, и ему предложили лечь в соседней комнате. Отвыкший за время своего скитания от простыней и одеяла, он с наслаждением вытянулся на кровати, но, засыпая, вдруг прошептал: «Спасибо, дед!.. Веди меня так и дальше!». — и, сам себе дивясь, неумело перекрестился.

Всю ночь под его окном монотонно ходил часовой. Без снов, спокойно провел он ночь, а утром его отвезли к станции и вручили билет железной дороги до Женевы.

Жестокий удар ожидал его там. Отец умер уже три года назад, а совсем седая мать встретила его

сидя в кресле, не пожелав дать ему руку. Младший брат стоял около нее, тоже с холодным, непрощающим выражением лица.

— «Мы вас не знаем, вернее не хотим знать! — тихо произнесла мать. — «Уезжайте, куда хотите — здесь вам не место! Может быть, вас простят в Москве и вы сможете продолжать свою кровавую работу. Впрочем это мне безразлично!».

Она замолчала, брат, прерывающимся от злобы голосом, закончил приговор.

— «Имейте в виду, что если бы вы захотели остаться в нашем городе — мы сумеем принять меры, чтобы вас здесь не было. Палачам нет места среди честных людей!».

Волокитин молчал — впрочем и отвечать ему было нечего — они были правы...

И, как прежде, спокойно и бесстрастно, мать закончила этот разговор:

— «Я не знаю сколько денег прилипло к вашим окровавленным рукам, но, если у вас их нет, то мы вас снабдим ими для отъезда в Америку, Австралию или куда хотите. Ваш отец до последней минуты не верил, что его сын стал палачом своих русских людей, и, умирая, завещал нам помочь вам в этом отношении. Мы пошлем вам деньги с нашим швейцаром, так как не хотим, передавать их лично, чтобы наши руки даже не прикоснулись к вашим! А теперь, просим вас, освободить нас от вашего присутствия!».

Волокитин вышел, вероятно первый раз в жизни, растерянным и униженным. Над его головой светило яркое летнее солнце, вдали виднелись заснеженные вершины гор, по тротуару навстречу ему шли беззаботные, веселые люди, откуда-то доносились звуки музыки, а он, угрюмо, как побитая собака, шагал опустив голову. Это сравнение пришло ему в голову, вызвав припадок бессильной злобы. Он понимал, что на иную встречу рассчитывать не мог, но это злобу не уменьшало, а наоборот раздувало ее, тем более, что излить ее на кого бы то ни было он не мог. Навстречу ему шел какой-то человек с веселым, довольным лицом, мурлыкая сквозь зубы какую-то песенку. «Проклятый — ему весело!».. — мелькнуло в голове и он грубо толкнул плечом веселого человека, но тот ви-

димо не обиделся, настолько был доволен собой и своей жизнью, он даже извинился.

В больной голове загорелась вдруг злоба на далекого предка-монаха. — «Спас, чтобы унижить?! Где же твоя любовь к людям?! Эх, ты, лицемер!..» — и опять, как недавно в стоге сена грязно, площадно выругался.

Всю ночь, в номере гостиницы он не спал и темными, тяжелыми тянулись нескончаемой нитью его мысли. На рассвете, когда солнечные лучи коснулись его окна, нарисовав отчетливо переплет рамы, он вдруг вспомнил ту, которую любил и продолжал любить и которая так жестоко ответила ему на его чувство. С той самой ночи, когда он хотел сжечь ее портрет, а потом спрятал в стол он ни разу не распечатал этот конверт. Если бы ему сказали, что им руководит самый простой, непонятный страх, он бы рассмеялся, но это было так. Смутные мысли, вернее намек на них, устанавливали, что между ним и той, которая изображена на карточке лежит непроходимая преграда и, если он олицетворял темное начало, то Варя была символом света, который наносит темноте тяжелые раны. Этих-то ран Волокитин и боялся, хотя все это было неясно, туманно и мгновенно. Вспомнив Варю Волокитин схватился за голову. Горький, тяжелый упрек сложился в уме: «За что? За то, что так любил? За то, что хотел бежать с ней от своей проклятой работы?»

И непризнававший никаких препятствий человек беспомощно опустил руки. Самым страшным была не ее смерть, а что он не смог заслужить ее любовь, получив в ответ наглый хохот круглой рожи Андрюшки. Это было кажется первое поражение, которое исправить было нельзя. И вдруг новая мысль загорелась в мозге — Варя просила Андрюшку простить его, а если так, то значит... что значит — он не мог уяснить, но значит она, если и не любила, то жалела его... От этой мысли, стало немного легче.

Утром в номер постучали и какой-то человек молча протянул ему объемистый пакет с деньгами, и он их взял, так как не имел за душой ни гроша, кроме вынесенных им из России, ничего не стоящих денег с красной звездой на них.

В американском посольстве его приняли радушно и сами предложили помочь как можно скорее в выезде в заокеанскую державу.

— Мы вас ни о чем не спрашиваем, но там вам придется ответить на много вопросов и рассказать о том, что нас интересует...»

Волокитин мрачно кивнул головой, и через два дня направился в Геную, чтобы там сесть на пароход.

В то время, когда Андрюшка был уже иеромонахом, а Иван Иванович благоденствовал в своем доме с мальчишкой Джимом, судьба начала сближать участников драмы, начатой на далекой Волхонке, когда Иван Иванович, повернув направо от университета встретил беспутного Андрюшку, а красавцу Волокитину дал его адрес.

Глава 20

Небольшой пароход, на котором плыл Волокитин, был заполнен самой разношерстной публикой и, если, в свое время, Андрей Коренев терялся в обществе холодных и гордых бриттов, то здесь терялись среди не знающих этикета итальянцев, греков и представители других наций, направлявшиеся в страну золота и головокружительных возможностей.

Во втором классе, где была каюта Волокитина, оказался один русский. Это был невысокий, плотный человек с самой серой, неприметной наружностью. Сначала он немного сторонился стройного красавца, выделявшегося своим аристократическим видом, говорившего свободно по-английски, с которым даже не считали унижением говорить два английских офицера, которым импонировал весь вид и поведение этого русского. Знакомясь с ними он, сам не зная почему, назвал себя Пресняковым.

Как-то вечером на палубе, когда спокойное море серебряной дорожкой отражало мерцание луны, Волокитин, назвавший себя и этому русскому чужой фамилией, разговорился с ним. Оказалось, что этот человек потерял жену и троих детей во время очередных чисток.

— «Но вы то сами, как спаслись?» — с воскрес-

шим профессиональным любопытством следователя удивился Волокитин.

Почему-то пристально глядя на него, человек, назвавшийся Петровым, рассказал свою историю.

Оказалось, что он был по непонятным для него причинам арестован и сослан куда-то в лагерь около Амура. Жена была направлена в другой лагерь.

— «А дети, — совсем шепотом закончил он. — «Дети отправлены в детдом, неизвестно куда!».

Петров до ареста служил шофером в каком-то кооперативе.

— «Широкая, вдвое шире Волги река Амур, — продолжал Петров. — Трое нас сговорились бежать в Китай. Двое добрались до китайского берега, а третий утонул недалеко от цели...» — И, почему-то пристально глядя на Волокитина, закончил: — «Наше дело вел самый страшный следователь — Волокитин. Что говорить! Был таким вежливым во время допроса, папиросами угощал, стул предложил... Ну, а потом эта вежливость лагерем обернулась. — Помолчав немного, он закончил: — Говорят, из хорошей семьи, да вот видно бес полутал. Только бес, без этого он не стал бы следователем».

Волокитин молчал, мучительно стараясь вспомнить этого человека, но все, прошедшие через его кабинет, сливались в одну серую вереницу, теряя лица и внешность.

— «Читал я в газетах, что бежал этот зверь куда-то и его разыскивают. Поймали, наверное!..»

Петров помолчал немного и почти шепотом продолжал, почему-то наклоняясь к Волокитину:

— «А может быть, и не поймали!.. Только, ежели бежал, — значит, пошел против воли бесовской силы!.. Значит, прозрел: кому и за что служил... Значит, взбунтовался против беса, к правде пошел. А я теперь, утром и вечером молюсь, что если он погиб — за упокой души его грешной молю... А если жив остался, чтобы Бог ему помог к Нему раскаянием крепким приблизиться и грехи замолить...»

И снова, как недавно, в памяти и душе Волокитина мелкнул образ прадеда-монаха. Совершенно непонятны показались ему слова бывшего шофера, молящегося за него.

— «Вы знаете, — шептал тот, — я иногда и за Ленина молюсь — Бог ему дал все — и острый ум, и способности, и волю такую большую, — а он забыл это и к бесу на поклон пошел. А вот за Сталина не могу: весь он в бесовской паутине и, чем дальше, тем больше запутывается... А за следователя Волокитина молюсь, чтобы накрепко от беса отказался. Много у него грехов, много людей от него слезами плачут, и трудно ему, коли жив останется, беса этого победить. Может быть, поможет ему моя молитва!..»

Петров замолчал, также пристально глядя на Волокитина.

В дикой пляске метались и запутывались мысли Волокитина. Снова из мглы прошедших десятилетий встал в его памяти суровый монах, теперь уже торжествующий и властный, и прерывая разговор, резко меняя тему, Волокитин вдруг спросил:

— «А вот вы скажите, если бы у вас был какой-нибудь предок, который святым монахом в монастыре жизнь закончил, помог бы он вам в вашей жизни? Мог бы подсказать вам, помочь?»

На этот вопрос, приближая его к правде, Петров убежденно и твердо сказал:

— «А вы разве не знаете, что умершие умерли только для нас и продолжают жить другой, не нашей жизнью?..»

Волокитин почувствовал нестерпимый озноб и, трясаясь, он схватил руку Петрова

— «Так это верно, что они на нужный путь могут направить?»

И опять отчетливо и с огромным убеждением, Петров прошептал:

— «Могут и помогают».

Также, почему-то снизив голос до шепота, Волокитин спросил:

— «Вот вы сказали, что за него молитесь, ну а если мать, родная мать от него отреклась и прогнала — тогда как?»

Ответ Петрова поразил его.

— «Это для него только на пользу. Ведь у каждого из нас в глубине души всегда живет мать... Забыть ее можно, но нет — нет, да и вспомнится она, и тогда делается теплее. А уж ежели она вас... то

бишь, его оттолкнула, прокляла, может быть, то он от этого будет стараться ну... исправиться что ли, жить так, чтобы, уйдя от нас, в другом мире, она не только бы простила, но и помогла, молила. Это... это, знаете, как горькое лекарство, которое нам жизнь сохраняет».

Не владея больше собой, Волокитин встал.

— «Очень устал я... Завтра договорим».

Встал и Петров.

— Так значит это вы?.. Я сразу вас узнал!.. Да как и не узнать?... Я вам говорил, что молюсь за вас, и это — правда, чистая правда! Только нам лучше больше не встречаться и не говорить! Вы мне доставили такое горе, что боюсь, по человеческой слабости, при встрече с вами не выдержу... все вспомню... и ваш кабинет, где вы папиросами меня угощали... и то, что из-за вас семью потерял, детей потерял — и злоба на вас загорится... И простить вас и молиться о вас не смогу... Лучше не встречаться!.. А раз вы против беса пошли, а может, и на самом деле заступника пра-прадеда имеете — отдайте себя в его руки, слушайте, что вам он внушает... Ведь он вас от беса уводит, верить в Бога учит... Но хватит — прощайте — не надо нам лучше встречаться!..» — и, повернувшись, Петров ушел.

Жизнь и служба приучили Волокитина к большой выдержке и самообладанию, но теперь, придя в каюту, он вдруг почувствовал полную беспомощность. Выходило все странно, непонятно и пугающе. И это состояние вызвало раздражение. Но и тут появился неразрешимый вопрос: против кого же это раздражение направить? И главным виновником всех переживаний он посчитал Петрова. «Молится...» — текли одна за другой мысли. «Молится... А почему и зачем?.. Может быть думает, что кесарево — Кесарю?!». Или думает, что я смог бы помочь ему в розыске семьи? Наверное на это рассчитывает... Бог и молитва, тут вовсе не при чем. Думал разжалобить сладкими словами!.. Он видит во мне врага и, иначе не может... и вдруг за этого врага молиться?!»

Мысли путались в голове как в паутине. «А если даже и молился и не врал, то что от этого пользы?.. Бог... Какой Бог? Где Он?» Волокитин забыл Бога еще в молодости. «А вдруг все это есть? Тогда как? Ведь

есть грехи, которых не замолишь!..» — и тут же приходило другое: «Значит и молитва никакая не поможет... Кому не поможет?.. Мне, а ему?.. а ему лишний козырь — вот-де, за врага молился». И выходило так, что есть ли все, о чем говорил Петров или нет — это — ему, Волокитину — не поможет. «Хитрый дядя, всяко в выигрыше будет!» — воровски промелькнуло в голове. Но этот вывод не успокоил; казалось, что из под него выдернули деревянный настил пола и он куда-то проваливается. «Но почему и зачем?» — мучила главная и отправная мысль, доминировавшая над всем. Прогоняя ее, Волокитин вспомнил, что Петров отказался с ним более встречаться. Это на чашу недоумения и неверия положило новый вес. «Сгоряча может быть и молился, а теперь встретившись лицом к лицу, испугался, что не сладит с собой и со своей ненавистью». Но и это не помогло. Серым туманом затягивало доводы, которые подсказывал мозг, и из этого тумана слышалось другое: «Вот молится, значит простил... А разве можно такое простить? А я? Ведь не жалею ни его, ни других, как он, и не раскаиваюсь ни в чем. Что было — то было и жалостью или раскаянием тут не поможешь!..»

Волокитин вспомнил о причинах, заставивших его бежать, и с совсем непонятной злостью прошептал про себя: — «Не было бы этого — не ушел бы отсюда».

Привыкши к своей кровавой службе, пропитавшись насквозь ее правилами, он унес их с собой — жалости к таким, как Петров не чувствовал, не понимал таких. Не было и злобы; нужно было осудить десятки или сотни таких Петровых — он их осуждал, равнодушно, не думая об их судьбе, не слыша ни просьб, ни проклятий. Так, как будто успокоил он себя... и вдруг в какой-то извилине мозга воскрес далекий прадед-монах, прошептавший несколько слов: «А Преснякова и его речь помнишь?».. И опять ужас сознания простого вырождения повис над Волокитиным. А что, если и это непонимание Петрова и главное, отношение к его словам, и злоба на него — тоже результат такого вырождения!.. Волокитин вскочил на ноги. «Пусть будет это, но не верю, не хочу и не могу верить в слышанное от этого Петрова». И уже совсем неожиданно и до холода пугающе донесся из тьмы небытия голос монаха

пращура: «А если все твое ошибка и Бог есть, и Его заповеди добра тоже есть — тогда что?» — И тут Волокитин пережил совсем новое. Ни раньше, в своей далекой студенческой молодости, ни дальше на своей работе он, внутренне во всяком случае, не признавал никаких авторитетов. Выдвинувшись на самый верх своей работы, он уже по своему положению считался со своим начальством постольку-поскольку. Так он держал себя и с первым своим шефом, также и с тем, кто стоял на самой вершине власти. А когда кончилось брошенное ему диктатором «Пока что», он вышел на борьбу, даже не столько для того, чтобы спастись, а чтобы не обратиться в одного из тех, кого осуждал... бесправного, беспомощного, объект для планетарных планов. Иначе смотреть на жизнь, поступать он не мог по своей натуре.

И плывя на этом пароходе, он впервые встретился с чем-то непонятным, отвергнутым им, что висело над ним какой-то неведомой, но всемогущей властью. По непонятной ассоциации он вдруг вспомнил Варю. Вспомнил дни, проведенные ею в его розовом особняке и свое поведение с ней. Она, давно ушедшая из мира, одна имела над ним свою непререкаемую власть. А теперь, против его воли, власть еще большую имело что-то, чего он не мог понять и чего не хотел признать. Так, промучившись в этой странной борьбе до глубокой ночи, он, не решив ничего, лег спать с одним твердым намерением встретиться вновь с Петровым. Эта мысль пришла к нему тогда, когда он уже засыпал, и почему-то облегчила все его сомнения.

Утром, Петрова на палубе он не нашел, но узнал, что тот едет в третьем классе в каюте, где, кроме него, помещаются еще три человека. Это внесло затруднение — он хотел видеть Петрова с глазу на глаз, и, кроме того, в присутствии своих соплавателей Петров мог встретить его неизвестно как: может быть, оскорблением или требованием уйти. Но решение увидеть еще раз своего странного собеседника не отходило от него, и часов в пять вечера, когда большая часть пассажиров была на палубе, он направился к Петрову. Войдя в его каюту он увидел, что Петров читает какую-то книгу и, кроме него, в каюте еще кто-то лежал на койке.

Петров посмотрел на Волокитина и с легким упрёком сказал:

— «Я же просил!.. Хотя очень хотел, чтобы ты пришел. — И, немного подумав, добавил — Выйдем на палубу».

Сам себе удивляясь, что не обиделся на «ты», Волокитин вышел с Петровым на палубу. Там, пройдя на самую корму, они уселись на скамейку. Несколько минут длилось молчание. Петров что-то думал про себя, а Волокитин не знал с чего начать. Потом, повернувшись лицом к нему, Петров произнес тихо:

— «Это хорошо, что ты пришел. Очень хорошо!».

И тут Волокитин вдруг почувствовал раздражение:

— «Почему хорошо? И почему это «ты»? — мы ведь с вами почти незнакомы!»

— «Почему хорошо? — ответил Петров. — Потому, что мои слова как-то подействовали, иначе ты не пришел бы... А «ты» потому, что мы сейчас одинаковы: оба едем в незнакомую страну, оба спасаемся от той бесовщины, что обоих нас хотела пригнать к земле».

Волокитина такой ответ не удовлетворил.

«Ну, хорошо — пускай «ты», но ты говорил, что молился за меня... а если я сам не хочу этого, если я не верю ни тебе, ни в То, во что веришь ты?».

Петров отвернулся и как будто весь увлекся видом пенистой волны, бежавшей за кормой, и, не глядя на Волокитина, проговорил:

«Не хочешь ты можешь, но то, что ты пришел ко мне, доказывает, что ты начал сомневаться в этом неверии. А от сомнения до доверия только один шаг!».

Окончательно теряя почву под ногами, Волокитин глухо, со злобой в голосе, бросил фразу, нелепую и ничего не доказывающую:

— «Ты говорил, что молишься за меня, а в каюте у тебя я не заметил никаких принадлежностей, необходимых для молитвы».

Петров с удивлением посмотрел на него:

— «Каких принадлежностей?»

— «Ну икон, или как там у вас зовут!»

Петров внимательно и долго смотрел на него, а потом, покачивая головой, произнес:

— «Ну и ну», — и снова отвернулся.

Осознав всю глупость своих слов, Волокитин хотел что-то ответить, но Петров жестом заставил его замолчать.

— «Помолчи пока что!».

И, сам себе дивясь, Волокитин, потеряв все свое раздражение, покорно замолчал.

— «Ты говоришь, что не веришь ни моим словам, ни в Того, в Кого верю я, в Кого будешь верить и ты. Не удивляйся... я все вчера вечером понял: был у тебя какой-то прадед-монах, который тебе что-то временами шепчет — значит заботится о тебе и его власть над тобою беспредельна. И если ты будешь жить, все равно подчинишься его голосу. Ты говорил, что мать тебя отвергла. Это тоже хорошо — не раз вспомнишь ее — и тебе будет больно. При боли душа смягчается, раскрывается как бы для добра!.. Столько зла, сколько ты принес людям, не измерить. Значит, и возвращение к добру и раскаянье придет к тебе тяжелым, очень тяжелым путем. А что это будет, я теперь верю — иначе не пришел бы... Врагов у тебя сотни, но ты их всех перезабыл, что и немудрено, благодаря затмению темным духом зла. Скажи: есть ли в твоей жизни кто-нибудь, кого бы ты ненавидел всей силой ненависти, но кого нужно простить, чтобы твоя душа этим прощением успокоилась?» — Петров, повернувшись к Волокитину, пристально поглядел в его глаза.

— «Личного врага? — произнес Волокитин. — И вдруг перед ним, как живое, предстало лицо Андриюшки Коренева с широко раскрытым ртом, в диком хотеве, как когда-то приснилось во сне. — «Есть, — медленно ответил Волокитин. — Но тут и другой человек замешан... Тот человек, которого я погубил, невинного погубил».

— «Сколько же ты людей погубил? — спросил Петров и продолжил: — «Так вот слушай: потом ты горько будешь каяться во всем! И этого твоего врага простишь. Это будет тебе очень трудно: темный дух не отдаст тебя даром. Но взглядишь-ка сам: если бы не появилась в твоём неверии теперь совсем маленькая трещинка, ты бы не пришел ко мне. Ты сам это понимаешь и без меня. Чем труднее будет твой путь к добру, тем искреннее будет и раскаяние во всем тобой сделанном, а врага своего не только простишь, но при слу-

чае и спасешь. Вот все, что я могу тебе сказать. Больше ко мне не приходи — все равно больше говорить не буду. Да к тому же завтра мы пристаем к берегу и кончаем наше плавание и не встретимся больше никогда! — Петров замолчал и тихо добавил: — «А молиться я за тебя теперь еще жарче буду! Прощай!»

И он ушел с палубы в свою каюту.

Глава 21

Вернувшись, после исповеди, от игумена, уставший от нравственного напряжения, которое переживал выворачивая наизнанку всю свою жизнь, Андрюшка кое-как перекрестился и быстро заснул; проспал спокойно без всяких снов до самого утра. Но утром он проснулся в каком-то туманном, путанном настроении. С одной стороны он чувствовал себя, по своему фантазерству, чуть ли не героем, сумевшим, ничего не скрывая, рассказать свою жизнь почти незнакомому монаху, а с другой стороны юркая, по-воровски увертливая, мысль нашептывала: «А стоило ли все рассказывать?.. И про то, как в тюрьме сидел и деньги волокитинские взял, и что позже было, и про Лидку и ее слова?.. Вспомнилось, как изменился в лице игумен, когда он про нее говорил. Да и вообще к чему было так откровенно распоясываться? Кто его знает, как отнесся ко всему игумен, когда остался один, хотя и причастил его. Может быть, все это было под влиянием минуты, под впечатлением всего рассказанного, а теперь, разобравшись во всем, увидит в нем не страдающего человека, каковым считал себя Андрюшка, а просто мелкого, может быть, смешного в своих трудно-понимаемых страданиях, запутавшегося в себе самом человечка. Может быть, улыбается про себя над тем, что услышал. Последнее было самое страшное: насмешка для Андрюшки была совсем непереносимой. И постепенно у него стала нарастать злость против игумена. «Вот все выпытал, все узнал, как у Ивана-дурачка!.. А теперь поди психологическим анализом занимается. В его деле все годится!». Андрюшка сунув машинально руку в карман за папиросами, вспомнил, что отдал их вчера игумену, это еще больше его разозлило. Курить хотелось смертельно, и, вспомнив разрешение игумена

жить в эти дни, как он хочет, Коренев решил сходить в ближайшую лавку за папиросами, но в это время в дверь постучал послушник и позвал его к чаю. Коренев грубо отказался.

— «Теперь все в столовой, или, как там?.. в трапезной, никто не заметит».

Он быстро вышел на пустой двор монастыря и отправился за папиросами. Тут же, в лавке он закурил с великим наслаждением и настроение тотчас же исправилось. Одновременно с этим все, что было вчера, перестало казаться плохим и смешным. Он вдруг вспомнил, как служит о. Аристарх, как подчиняет себе своей огромной волей молящихся, вспомнил вдруг, как тот пришивал пуговицу к подряснику, — и все это его умилило. Раздражение пропало, а новое теплое чувство к игумену снова загорелось. Сжигающий стыд вдруг охватил его — со злостью швырнув пачку папирос в канаву, он бегом бросился к воротам монастыря. «Только бы не увидел кто-нибудь», — шептала мысль. Но, не видел никто. Он быстро прошел в свою келью, и в это время снова постучался послушник.

— «Отец игумен вас просит к себе».

Страх охватил душу Андрюшки. «Значит видел», — подумал он и чуть не трясясь пошел за послушником, а тот, подходя к дверям игумена, тихо прошептал:

— «Только не тревожьте его очень: плох он совсем — болезнь загрызла его!»

И страх Андрюшки перешел в ужас. О болезни игумена он не знал и теперь сразу же решил, что эту болезнь усилил он, заставив его не спать за полночь, выслушивая его, Андрюшки, рассказ.

Игумен, осунувшийся и бледный, лежал на диване, накрывшись одеялом. Слабым, шелестящим голосом он подзввал Андрюшку:

— «Подойди, благословлю», — и не отдавая себе отчета, весь сгорая от стыда и страха, Коренев с размаху упал на колени, приложившись к горячей руке игумена.

— «Простите, отец, простите меня — обманул вас!. В лавку бегал!... Вы видели!..» — бормотал он.

Игумен с недоумением поглядел на него:

— «За что простить? В какую лавку? Расскажи толком».

И Андриюшка откровенно рассказал и о своем утреннем настроении и мыслях и то, как за папиросами бегал.

— «Ничего я не видел, и, наверное, никто не видел, — медленно проговорил игумен. — Да это и хорошо, что никто не видел».

И на недоуменный взгляд Андриюшки добавил:

— «Если бы кто увидел, то ты боялся бы, что об этом он мне расскажет. Страх бы тобой двигал. А теперь в твоих словах искренность!.. Да ведь я сам сказал тебе, что можешь это время жить, как хочешь. Хорошо, что сам сознался, — игумен устало откинулся на подушку. — Позвал я тебя за другим. Думал я о тебе много, всю ночь... И вот, если хочешь, только честно, от самого себя избавиться, то послушником для начала приму. Говорю прямо: трудно будет, своей воли лишишься, всякое слово исполнять будешь, должен, всякую работу, может быть грязную, безропотно выполнять! Игумен закрыл глаза в изнеможении от долгой речи. Сжигающей болью и страхом охватило душу Андриюшки. Отца своего он почти не помнил и здесь в покоях игумена вдруг остро почувствовал, что чувствует сын, когда на его глазах умирает отец.

— «Отец... Отец...» — бессвязно бормотал он. Но опять открыл глаза игумен.

— «Сейчас не в этом дело, — тихо промолвил он. — Не во мне дело — я давно готов. Теперь дело в тебе. Тяжелым будет для тебя испытание, но почему-то мне кажется, что ты его перенесешь. И когда игумен, сменяющий меня, позовет тебя и скажет, что ты готов к принятию ангельского чина, он, думаю, не ошибется...»

Он опять закрыл глаза, и в комнате несколько минут царил тишина. Не шевелясь, затаив дыхание, Коренев не спускал глаз с похудевшего за ночь лица игумена, а тот тяжело со свистом в груди дышал. И вдруг, приподнявшись на диване, громко и отчетливо спросил:

— «Готов ты к этому? Не посрамишь самого себя?»

И прерывающимся от волнения голосом Андриюшка твердил одно:

— «Готов, отец! Готов!...».

Игумен чуть улыбнулся:

— «Это хорошо, что ты меня просто отцом зовешь, а не отцом игуменом. Не было у меня детей, так хоть перед концом Бог сподобил — духовного сына мне даровал. — Он положил руку на голову Андрюшки: — Иди с Богом! Я обо всем распоряжусь... Устал я... Келейника пошли».

И чувствуя, что к горлу подкатил какой-то незнакомый клубок, Андрюшка встал и направился к двери, но прежде, чем открыть ее, оглянулся на игумена. Светлой улыбкой озарено было лицо умирающего игумена, и издали он благословил Коренева.

Как в бреду, тот выскочил из комнаты.

— «Отец!.. Отец!.. Отцу плохо!.. Помогите!» — бессвязно бормотал он подбежавшему келейнику, а потом выбежал в сад и забился в самый далекий его конец, где сел прямо на землю и, охватив колени руками, застыл....

Когда игумену стало немного легче, он вызвал одного старого монаха, отличавшегося необычной даже для монастыря добротой и трудолюбием. Он долго с ним говорил, рассказал вкратце всю историю Андрюшки и велел взять нового послушника под свое покровительство.

— «О твоей доброте, брат, рассказывают чудеса. И поручая тебе послушника Андрея, думаю, что ты этой добротой направишь его на правильный путь, подготавливая его к принятию ангельского чина».

Старый иеромонах вставая ответил:

— «Нет, отец игумен, доброта эта еще у меня вынужденная — слишком большую тягость моих прошлых грехов несу я за собой, чтобы доброта моя стала второй моей натурой. Каждый раз, проявляя ее, я еще заставляю себя так делать, искупая мое темное прошлое. Это искупление заставляет меня быть добрым без оглядывания назад -- тогда доброта моя оплата за мои грехи, а пропитает меня насквозь и станет необходимой для самого меня добротой, без которой и жить нельзя, тогда я поистине стану добрым без оглядыванья назад — тогда доброта моя станет для меня необходимой, как воздух. А пока я еще только за прошлое расплачиваюсь и доброта стала моя только средством, а не главной целью жизни.

Но теперь, выполняя твое приказание, возьму нового послушника под свое покровительство. Трудно ему будет у нас — слишком он еще пропитан мирскими соблазнами, но приложу все силы, чтобы ему помочь».

На другой день, одев подрясник, Андрюшка поступил под опеку старого иеромонаха. Поправившийся же игумен, каждый раз проходя мимо Андрюшки, как бы не замечал его, сухо отвечая на его глубокий поклон. А старик-наставник, как мог и умел, отогревал его душу, стараясь скрасить как только можно его новую жизнь. Он не посылал нового послушника на те работы, которые могли задеть самолюбие Андрюшки, долго с ним по вечерам вел тихим голосом разговоры, и Андрюшка чувствовал, как отогревается его душа и забывается все прошлое.

Через год он был пострижен в монахи под именем Нестора. Чин пострижения совершал сам игумен, отец Аристарх. Его болезнь снова обрушилась на него с особенной силой и братия монастыря решила тайком от игумена сообщить об этом Правящему Архиепископу и просить его заставить отца Аристарха обратиться за помощью к врачам.

Сразу же по окончании службы, когда был пострижен отец Нестор, игумен через келейника приказал ему придти к нему.

Когда отец Нестор пришел к игумену, тот лежал на диване, отдыхая после службы.

— «Спасибо, отец Нестор, что пришел так скоро — мои дни кончаются, я знаю это хорошо и перед концом в последний раз хочу побеседовать с тобой», — начал игумен свое слово. — «Ты, наверное, удивлялся, что я ни разу не говорил с тобой, а, проходя мимо, чуть отвечал на твой поклон. Это я делал сознательно, проверяя...» — игумен на минуту замолк, как бы подыскивая слово, а потом закончил: — «...Искушая тебя! Но, как говорил твой наставник, ты ни разу не посетовал ему на это. И это было очень хорошо: занятый борьбой с самим собой, ты не стал обращать внимания на такие, в сущности говоря, мелочи, как мой холодный ответ на твой поклон. Но главное не это, не для этого тебя позвал».

Страшный сухой кашель прервал его речь. Кое-как справившись с припадком, игумен еще тише продолжал:

— «Скажи другое — простил ли ты того, кто виноват смертным грехом перед тобой; смог ли бы ты протянуть ему руку искренне и честно? Не отвечай сразу, а продумай хорошо свой ответ».

Отец Нестор молчал, собираясь с мыслями и не скоро ответил:

— «Мне кажется, что это так».

— «Только кажется, или в это твердо веришь?» — слышалось в ответ.

И подняв голову, глядя прямо в глаза больного, новый инок ответил:

— «Твердо верю, что простил. Трудно было, очень трудно, часто вспоминал его и сначала даже думал, что напрасно стремлюсь к этому, что ничего у меня не выйдет. Но месяца три назад я заметил, что при воспоминании о нем уже не царит в душе непримиримая злоба, что эта злоба как-то утихает. А еще позднее, разобрался точнее и понял, что эта злоба стала злобой ради злобы же, не переносясь на него. Привычкой что ли стала... Я стал бороться с этой привычкой и, думаю, что победил. По крайней мере, сейчас я искренне и честно говорю это».

Помолчав и собравшись с силами, продолжал свое слово игумен:

— «Ну, если так, то я не боюсь подвергнуть тебя последнему искушению. «Вот там, — игумен указал на стол, — лежат газеты — возьми верхнюю из них, посмотри и тогда твердо, еще тверже повтори твои слова».

Ничего не понимая, отец Нестор подошел к столу и вдруг покачнулся: с первой страницы на него глядел портрет того человека, из-за которого он изломал свою жизнь. Игумен внимательно следил за ним:

— «Сядь, не волнуйся и прочитай все, прочтя, уйди, а вечером зайди снова»...

В газете было напечатано, что один из наиболее жестоких работников проклятой службы бежал и теперь здесь, дает надлежащим инстанциям Америки исчерпывающие и потрясающие сведения о правите-

лях обездоленной страны и положении там.

«Страшная слабость охватила отца Нестора. В душе ярким костром вспыхнуло все старое, прошедшее давно, но вспыхнув, как показалось ему, погасло. В отце Несторе загорелась та любовь к актерству, которая жила в Андрее Кореневе. Одновременно с этим вновь воскресшая фантазия подсказала, как эффектно будет выглядеть, если он сделает при встрече с Волокитиным то, что сделает сейчас. И, внешне искренне, он приложил губы к портрету, театрально произнеся:

— «Целую тебя, брат мой!»

Но в тот же момент почувствовал, что слова эти ложны, что при встрече с живым Волокитиным, а не с его портретом, он поступит иначе.

Внимательно следивший за ним игумен все же поверил в его искренность, так как сказал:

— «Подойди, благословляя, благодарю Бога, что помог мне направить тебя на верный путь!».

У отца Нестора было жгучее желание признаться, что неискренней была его театральная фраза, но боясь расстроить больного игумена и оправдывая этим самого себя, он промолчал.

Приехавший с Архиепископом врач сказал, после осмотра больного, что дни игумена сочтены и развязку надо ждать в любой момент.

Вернувшийся в свою келью отец Нестор много часов стоял на коленях перед образом Спасителя и короткими, без конца повторяемыми словами молил о помощи: «Не введи меня во искушение, но избави меня от лукавого», — и добавлял слова возгласа диакона, которые он давно уже уловил и которыми игумен велел ему молиться.

А через три дня гроб с телом игумена обносили вокруг церкви по пути к месту вечного упокоения, и после похорон о. Нестор горько плакал в своей келье, зная, что теперь его никто уже не удержит в его темных мыслях и поступках, если он встретится со своим смертным врагом. Не смыкая глаз, всю ночь простояв на коленях, он на рассвете, стал путать слова молитвы с обращением к покойному, прося его помощи.

Замкнутым и строгим к самому себе иноком стал он после смерти игумена.

Через два года, став иеромонахом, он умилял всех

своим церковным рвением, доброжелательностью и строгим, подвижническим образом жизни. Он не пропустил ни одной длинной монастырской службы, и никто никогда не видел его без дела. Не было слабого, кого бы он не поддержал или не помог. Многим инокам казалось, что он изнуряет себя, замаливая что-то, оставленное им в грешном мире. Но никто не знал, что отец Нестор заглушает в себе старое чувство злобы, которое время от времени вспыхивало в нем и которое он тушил своими трудами. Обросший седой бородой, в черной скуфье и поношенном подряснике он теперь внешне ничем не напоминал прежнего беспутного Андрюшку.

Беспощадно листает судьба страницы дней каждого, и вот на странице жизни иеромонаха Нестора яркими буквами вспыхнуло — «Рождественский Сочельник».

Не в снежном убранстве и бодрящем холоде страны, откуда бежал Коренев, разворачивался перед отцом Нестором этот день. Горячие солнечные лучи лились с синего неба, шелестели под ветром листья деревьев, и все это как-то уменьшало чувство радостного ожидания предстоящего Великого Дня, воссиявшего над миром Солнцем Правды. Но могучей силой молитвы, которую знал только он да умерший игумен, отец Нестор поборол это чувство и тихая радость разлилась в душе его. И, казалось ему, что если бы сейчас увидел он человека, сломавшего ему жизнь, то с чистым сердцем и душой, забыв все прошлое, он подошел бы к нему и обнял его.

Проходя по саду, он вдруг услышал тонкое, жалобное мяуканье: неизвестно как попавший в сад совсем маленький котенок, прижавшись к стволу дерева, всем своим существом выражал ужас перед огромным, непонятым и незнакомым миром, куда он попал. Острым ножом вспыхнуло в памяти, как много лет назад в московском переулке человек, которого он столько лет пытался простить, обломком кирпича оборвал слабую жизнь такого же котенка. Сметающим вихрем ворвалась в душу иеромонаха, жившая где-то на самом дне души, придавленная, но не умершая злоба. В ужасе он перекрестился и со всей силой, на которую был способен, повторял слова

своей узаконенной покойным игуменом молитвы. Но между ее отдельными словами ядовито просачивался шепот вдруг ожившей злобы. Тогда он подошел к сжавшемуся от ужаса зверьку, взял его на руки и, нежно поглаживая, отнес его в кухню и налил ему в блюдечко молока. Котенок захлебываясь и трясаясь, стал его лаять. Вдруг скользящая мысль мелькнула в голове отца Нестора: «Вот ты убил, а я спас».

И чувство злобы к Волокитину, перекрасившись в другой цвет, но оставаясь по существу самим собой, шепнуло: «Видишь насколько я выше тебя даже в таком маленьком деле!» Снова прочитав про себя заветную, спасительную молитву, он успокоился, решив, что сумел побороть в себе бесовское наваждение. Так, по крайней мере, ему казалось.

Но в этот момент келейник позвал его к игумену. Идя к нему, не думал, не чувствовал иеромонах, что его ожидает самое страшное, самое черное во всей его жизни испытание, которое разбив его будущее, сведет на нет всю его борьбу с самим собой, бросит в грязный омут.

Глава 22

Вскоре после того, как судьба столкнула Ивана Ивановича с его бывшим однокурсником, опустившимся на самое дно Андрюшкой Корневым, у него наступила такая полоса тяжелых переживаний, каких он не испытывал за всю свою путанную жизнь.

Уже само посещение пропойцы-босяка сразу разбудило в нем давно забытые воспоминания. Он стал нелюдим, молчалив и к удивлению верной Аграфены Кондратьевны не сидел по вечерам в кресле, как раньше, за книгой. К ее возмущению он по вечерам запирался в кабинете и на все ее попытки проникнуть туда и разобраться в причинах его угнетенного настроения, он односложно бросал сквозь закрытые двери:

— «Оставьте меня в покое!»

Но не такова была Аграфена Кондратьевна, чтобы сдаться без боя.

— «Что значит «оставьте в покое? — повышенным голосом возражала она. — Может быть, вы больны и надо вызвать врача — откуда я знаю? Может

быть, письмо какое неприятное получили? Может быть, на старости лет какой-нибудь американкой увлеклись? А может быть... — тут ее голос обратился почти в крик: — Может быть, я чем-нибудь не угодила и вы хотите меня уволить? Тогда это нужно прямо сказать, а не запираяться от меня на десять замков...»

После двух-трех вечеров, которые он хотел провести сам с собой, Иван Иванович не выдержал. Резко отворив двери, он завопил не своим голосом:

— «Никто не болен, никто не влюбился, никто вас увольнять не хочет, только оставьте меня в покое ради Христа! Идите в свою комнату и отдыхайте, а меня оставьте в покое!»

На это он получил резонный ответ:

— «Я, конечно, девушка слабая, но, работая у вас, я и ответственность за вас перед своей совестью держу... Может быть, вам киселя молочного сварить? — ведь вы его любили раньше, да к тому же, говорят, он нервы успокаивает...»

Такие разговоры, только с переменной гастрономических соблазнов продолжались каждый вечер, и в конце концов Иван Иванович стал по вечерам для вида держать в руках книгу, а думать свои нелегкие думы.

Жизнь подходила к концу, он это сознавал, но до посещения Андрюшки, он как-то об этом не думал, а теперь вдруг ожило все старое, пережитое давно — и отец с его голубями, и студенческие недолгие годы, и война и дальнейшее, когда все закружилось, смешалось в диком хороводе. Все это проходило в памяти, как на экране, не вызывая жалости, не согревая теплом. И вдруг он вспомнил о том, как млея и таял перед далекой молодой любовью к той, которая стала женой вот этого бывшего у него недавно босняка. И когда он вспомнил это, то решил отыскать Андрюшку, не ради того, чтобы помочь ему, а чтобы узнать, что стало с его женой.

Но скорее можно было найти иголку в стоге сена, чем в городе с населением в несколько миллионов отыскать горького пьяницу-босняка. Иван Иванович обошел все благотворительные организации, которые изредка кормили таких босяков, побывал во многих притонах, ютящихся на окраине, но следов Андрюшки не нашел. И когда он убедился в тщетно-

сти своих поисков, на него напала тупая, серая, как туман, тоска. Из этого тумана, как мертвые марионетки, выскакивали: то старый мастер Федичкин, то Барб, то Дон Игнацио, своим появлением подчеркивая пустоту и ненужность прожитой жизни. И только маленьким, чуть видимым колеблющимся огоньком вспыхивало лицо девушки, которую он любил чистой молодой любовью и которая даже не знала об этом.

Омраченный угрюмостью серой и нудной, тоской о бесполезно-прожитой жизни в те дни был пропитан Ивач Иванович и только немного оживал тогда, когда изредка к нему прибегал уже повзрослевший Джим, оставшийся таким же изобретателем различных фокусов и каверз. Предвидя недалекий уже конец, чтобы как-то придать хоть какой-нибудь признак полезности своей жизни, он решил написать завещание в пользу веселого мальчишки. Достав необходимые бланки завещания, он уселся за стол и только начал их заполнять, как услышал сзади тебя шорох. Оглянувшись, он увидел Аграфену Кондратьевну, с сожалением глядевшую на него.

— «А этой что? — мелькнуло в голове. — Ведь она от чистого сердца служила и работала для меня».

И изорвав бланк, он заполнил другой, в котором все движимое имущество, находящееся в доме, завещал ей, а дом и оставшиеся деньги, Джиму.

Но когда на другое утро он хотел идти к адвокату, чтобы узаконить завещание, во входные двери раздался стук и вся в слезах ворвалась мать Джима.

В это утро, как рассказала она, давась слезами, Джим был необычно задумчивым и грустным. А когда он шел в школу, откуда-то из-за угла вылетела на отчаянной скорости машина — и... Джима не стало! Иван Иванович бросился с матерью к убитому мальчику. Он лежал на широком диване и из губ змеилась по щеке черно-красная полоска. Доктор установил смерть, мгновенную и безболезненную. Он расстегнул курточку мальчика — вся левая половина груди была вдавлена вглубь.

— «Сердце раздавлено», — коротко сказал он и ушел.

Плакала по мальчику Аграфена Кондратьевна, а

Иван Иванович мрачно и молча сидел в кресле. У него глубокая жалость по убитом веселом приятеле смешалась с другим: оборвалось, сломалось первое, как он думал, доброе дело, которым он хотел хоть немного скрасить свою пустую жизнь. И чтобы хоть немного облегчить жгучую боль от этой мысли, он потихоньку от Аграфены Кондратьевны достал из буфета бутылку коньяку и, запершись в кабинете, давясь и захлебываясь, прямо из горлышка высосал добрую ее половину. Непривыкший к алкоголю мозг вдруг загорелся диким протестом против всего и всех. С треском полетел стул, разбивая зазвеневшие стеклянные дверцы шкафа с книгами, грохнулся на пол чернильный прибор, и в этот момент влетела в кабинет Аграфена Кондратьевна. Увидя на столе полупустую бутылку и совершенно ошалевший вид своего хозяина, она вдруг истошным голосом завопила на него:

— «В кровать, сейчас же в кровать!.. Ложитесь, а то силой уложу!.. Подумаешь от горя вещи стал ломать, как заправский пьяница!.. Сейчас же ложитесь!..»

И сразу, от грозного крика смирившийся Иван Иванович, испуганно на нее оглядываясь, поплелся к кровати и свалился на нее. Аграфена Кондратьевна уложила его на спину, прикрыла одеялом и села в кресло, наблюдая за ним.

— «Понимаете, Аграфена Кондратьевна? — пробормотал пьяный. — Первое доброе дело хотел сделать... и не вышло... одна сплошная меланхолия!..»

И сквозь пьяную дремоту уже охватившую его, до сознания Ивана Ивановича донеслось с кресла:

— «Лоб надо было перекрестить за убитого, а не напиваться!»

— «Правильно, — пробормотал он, засыпая и, сложив пальцы, хотел перекреститься, но не смог: рука почему-то не подымалась. — Завтра перекрещусь», — шепнул пьяный мозг, и с этим он заснул.

Долго и усиленно извинялся Иван Иванович на другой день перед своей слугой, но та до полудня молча выслушивала его сетования не отвечая на них, и только позднее положила гнев на милость.

— «Разве я не понимаю... Только, в другой раз,

коньяк из буфета не берите, а то ведь и бедному Джиму небольшая радость смотреть, как вы стулья ломаете!»..

И только Иван Иванович начал отходить от этого горя, как судьба послала ему другое испытание.

Как-то вернувшись домой, он увидел Аграфену Кондратьевну в очень возбужденном состоянии:

— «Там к вам какая-то дама пришла, худая, все кашляет, и рыжая..»

Иван Иванович понял, что пришла Барб, о которой Аграфена Кондратьевна не имела представления. Чрезвычайно обозленный, он быстро вошел в гостиную и сразу потух: похудевшая до прозрачности, в нимбе рыжих волос, Барб в неистовом припадке кашля прижимала к губам платок. И не успел Иван Иванович сказать слова, как она, поникши в кресле, тихо произнесла:

— «Не гоните меня!.. Послушайте сначала... Я очень больна — вряд ли и выживу... Сестра уехала — я совсем одна. Я пришла просить прощения... В последний раз пришла — завтра кладут в больницу, но я знаю, что не выйду оттуда... Простите ли вы меня?.. Я очень виновата перед вами, но что я могла с собой сделать? Быть иной не могла...»

У Ивана Ивановича все поплыло перед глазами: где-то там в глубине души, сам боясь себе сознаться, он продолжал ее любить. И теперь, видя ее уже полуживой, он подошел к ней и протянул обе руки:

— «Не надо говорить об этом, Варя! Забудем все, что было... Теперь самое главное — тебе поправиться. Я возьмусь за это...»

Но Барб грустно покачала головой:

— «Поздно!.. — и вдруг, взглянув на него глазами полными слез, добавила: — Спасибо!!! Хотя изредка вспоминай ту, что принесла тебе горе!. Помнишь, как мы познакомились? — чуть улыбнулась она. — Когда ты в первый раз у нас ночевал?»

Все прошлое воскресло в памяти Ивана Ивановича, и он схватил ее холодные руки:

— «Нет, Варя, нет!.. поправишься и еще поживем, по-настоящему, по-хорошему...»

Он поместил Барб в одну из лучших больниц, но

врачи сразу же сказали, что надежды нет — одного легкого уже не было — и что конец ее только вопрос времени. Полными тихой любви и боли глазами встречала она Ивана Ивановича, когда он каждый день приходил к ней, принося целые охапки цветов. Однажды его задержал доктор.

— «Положение больной критическое — конец можно ждать каждую минуту».

В этот, последний день Барб была особенно нежна.

— «Уже второй раз причиняю тебе горе, — чуть слышно прошептала она. — Тогда... и теперь своей болезнью и концом... — и вдруг чуть приподнявшись добавила: — Так ты правду говоришь, что простил за то... прошлое, — и на отчаянные протестующие слова Ивана Ивановича добавила: — И за это, что скоро будет, простишь?»

Давно не плакал Иван Иванович, не помнил, когда это было, но теперь не стыдился, что теплые капли текли по щекам. А умирающая тихо, успокаивала его.

— «Не надо!.. Не плачь!.. Мне теперь так хорошо!.. Сама виновата, что не подумала раньше!..»

С глубокой душевной раной вернулся Иван Иванович с похорон, не предполагая, что впереди его ожидает очень скоро самое страшное.

Когда, в девятый день, после панихиды по Барб, он вернулся домой, увидел на столе письмо. Каллиграфическим выведенный адрес, почерком не напоминал никого из его знакомых, но когда он распечатал конверт, то увидел два листка, исписанные дрожащим, неразборчивым почерком, с подписью «Андрей Коренев».

— «Не удивляйся, Иван, что я пишу это письмо. Наверное, перед скорой смертью, хочется поделиться с кем-нибудь. Был здесь один человек, да и он умер! Когда совсем плохо будет и смерть подойдет, то напишу, где меня можешь найти, чтобы мне умереть не здесь, а у тебя, по человечески! Жизнь прошла совсем кривобоко, в пропойцу-босняка обратился, а ведь совсем был человеком стал. Ты не удивляйся: иеромонахом был — человеком! И опять он все разбил, будь он проклят! Ты его помнишь по Москве — Волокитин — такой красавец! Потом он чекистом сделался

— у меня Варю, жену отнял. Потом здесь оказался и второй раз погубил меня навсегда! Ты помнишь? — мы встретились в Москве, когда ты с фронта приехал и вечером обещал быть у нас? Нашего адреса никто не знал, и он не мог узнать — мы жили без прописки. Но он все же от кого-то узнал и, вместо тебя, в тот вечер мы встретили его помощников. Меня арестовали, а Варю он к себе перевел. Там она и покончила с собой. Потом я по всей России мотался, пока не убежал. Говорила мне одна женщина, которой я открыл душу: «или не ненавидишь или не простишь». Простить его я не могу, значит ненавижу. А ужас весь в том, что должен был бы простить. Ну да ты обо всем перед концом моим узнаешь — есть у меня одно письмо — даже пьяный, в ночлежке, сохранил — когда умирать буду тогда покажу и ты поймешь все. А теперь жди от меня письмо с просьбой взять меня к себе перед смертью. Найти меня не старайся — все равно не найдешь. Ох, как мне бывает тяжело! Андрей Корнев».

Несколько раз прочитал Иван Иванович письмо своего бывшего однокурсника и невольно улыбнулся: так было нелепо, что Андрюшка в монастыре был, в ангельском чине спасался. Вспомнил очень туманно и Волокитина и... вдруг, задрожал мелкой дрожью, когда вник и понял самые страшные для него строки письма. Перед глазами, возник вокзал, забитый грязными, потерявшими человеческий вид, вонючими людьми в серых шинелях, и красавец-барин Волокитин.

Сквозь туман прошедших лет он услышал его вопрос, где живет Андрюшка, и ответ его, Ивана Ивановича. И совершенно невыносимой тяжестью, стопудовым грузом, придавило к земле сознание, что во всей андрюшкиной драме и гибели Вари виноват больше всего он сам. Это было так страшно, что он подумал, что все видит во сне. Он укусил палец — стало больно — значит все это наяву. На момент ему показалось, что душа и мозг его закрутились в кошмарном танце, который от него распространяется на весь мир. Не зная, что делать с собой, он вскочил, снова сел, встал опять и зашагал по комнате, трясая головой: залитый ужасом мозг распирает ее, все путалось и мешалось в

один серый, туманный клубок, усеянный острыми колючками. И, бледный, дрожащий, он поднял кверху руки: «Будьте прокляты!.. Вы все!.. Я первый!..» — успело прозвучать в голове и вдруг цепкими клещами охватило сердце. Дикая, нечеловеческая нота провизжала в ушах, и он плашмя свалился.

Глава 23

Когда Волокитин плыл пароходом в Америку, выработавшаяся за время службы привычка замечать все происходящее и запоминать лица оставила его. Сначала это было в силу тех тяжелых мыслей, которые опутывали его мозг, а потом, после встречи с Петровым, он вообще никого не замечал. Не обратил он внимания и на одного пассажира, который явно не хотел попадаться ему на глаза, но издали внимательно за ним следил. После разговора Волокитина с Петровым, этот, невысокий с самой ординарной физиономией, человек в сером костюме подошел к последнему.

— «Как приятно встретить земляка! — произнес он. — Я тоже русский, хотя уже много лет живу в Америке. Там много нас, русских изгнанников, и я состою в двух самых сильных противобольшевистских организациях. Они ведут большую работу и мы всегда будем рады, если и вы присоединитесь к нам».

Говорил этот человек по-русски безупречно, и только чуткое ухо могло уловить слабый, чужой русскому языку, акцент, да слишком старательное произношение отдельных слов.

— «Я очень рад, что вы едете в страну, полную самых больших возможностей. Поверьте через год-два вы будете там богатым, а главное свободным человеком. Совсем не так, как у нас на так называемой любимой родине. Я знаю очень хорошо, что там делается, да и вы, наверное испытали это на себе».

Петров холодно смотрел на незнакомца и молчал. Но не обращая на это внимания тот продолжал:

— «Я был в Белой армии у Деникина, с ним и отступил за границу».

— «Простите, — перебил его холодно Петров. —

Во-первых, я даже фамилии вашей не знаю, а во-вторых, откуда вы узнали что я русский?»

Незнакомец вежливо улыбнулся.

— «Я виноват, что не представился вам раньше — моя фамилия Роджерс — это по-американски, а русская моя фамилия Вавилов. Я, знаете, родом из центральной России, где мой отец имел небольшое имение и был убит дезертирами солдатами в семнадцатом году. Я расскажу вам эту мою драму. А, что вы русский, я узнал из того, что вы говорили по-русски с тем красавцем-пассажиром. Да, между прочим, он тоже едет в Америку? По виду, он очень культурный человек и по-английски говорит лучше меня, хотя я уже больше двадцати лет в Америке. Вероятно, он из очень хорошей семьи, и, вероятно еще мальчишкой попал за границу. Он не говорил вам об этом?.. Я хотел к нему подойти, но у него такой гордый вид, что я побоялся... Фамилии его я не знаю, а подойти к нему и просто обратиться «мистер» как то неудобно».

— «Его фамилия Пресняков, а больше я про него ничего не знаю», — оборвал Петров словоохотливого земляка.

— «Преш... Пресняков, — протянул человек, назвавший себя Роджерсом. — Это хорошо, что он так вам представился», — и хотел еще что-то продолжать, как Петров его перебил:

— «Простите, я уйду в каюту! До свидания!»

Волокитин, занятый своими мыслями, не обратил внимания, что этот человек спускался по трапу непосредственно за ним. Не знал он, что этот человек незаметно указал на него глазами другому, стоявшему на берегу.

И как только Волокитин ступил на землю этот человек подошел к нему.

— «Мы очень рады вашему приезду, — начал он по-английски. — Мы вас очень ждали! Поверьте, здесь вам будет очень хорошо и материально и морально. Но об этом после, а пока вам надо с дороги отдохнуть, посмотреть наш город, по праву считающийся одним из красивейших городов мира, — приглашая Волокитина сесть в автомобиль, он представился: — Меня зовут Фостер.

Небольшой, скромный на вид, коттедж весь был скрыт от любопытных глаз высокими широколиственными деревьями, растущими вдоль забора. За деревьями, почти до самого дома, тянулась покрытая травой лужайка, по которой было разбросано в симметричном порядке несколько клумб с яркими цветами. Веранда дома была затянута полосатым тентом, а на крыше, на каминной трубе, виднелась антенна телевизора. За домом был небольшой двор, тоже покрытый травой и отгороженный от соседнего участка невысоким деревянным забором. Словом, это был обычный для этой страны дом людей среднего достатка.

Позднее Волокитин узнал, что это его новое жилище расположено совсем недалеко от пристани, но он со своим новым, встретившим его знакомым ехали туда около двух часов, то ускоряя ход машины до разрешенной скорости, то значительно ее уменьшая, без числа сворачивая из одной улицы в другую. Впрочем, Волокитин этому и не удивлялся — правила конспирации были ему известны хорошо. Во время поездки его спутник почти неумолчно болтал, рассказывая историю города, описывая его достопримечательности, расхваливая его климат и с грустью вспоминая страшное землетрясение, которое в начале века почти полностью разрушило город. Волокитин ограничивался только краткими вопросами, которые должен был задавать по ходу рассказа собеседника.

Позднее он сам говорил, что сам точно не знал, как он тогда себя чувствовал. Привыкший за все время своей службы к почти полной самостоятельности и независимости, которые так соответствовали его характеру; зная, что только по воле одного человека с ним могут что-нибудь сделать; видя почти каждый день людей, участь которых зависела только от него одного, наконец, бросивший вызов своим бегством всемогущему диктатору и выигравший этот вызов, здесь, он просто не знал: ни как себя вести, ни той обстановки, в которую добровольно попал, ни того, что сулит ему будущее. «Осведомитель... Стукач...», мелкнуло у него в голове. Он хорошо знал этот тип людей еще по своему московскому кабинету, изредка пользуясь их услугами, но питал к ним брезгливое отвраще-

щение. Правда, здесь, судя по разговору спутника, ему предназначалась какая-то другая роль, и это его немного успокоило.

Уже в сумерках летнего вечера они подъехали к скрытому в саду коттеджу. Машина еще не совсем остановилась, как Фостер выскочил из нее, быстро выбросил из багажника его чемодан, и автомобиль, с места, рывком, исчез за поворотом тихой улицы.

Как только он, открыв калитку, вошел в сад, маленькая рыжая собачонка с заливистым тонким и звонким лаем бросилась к нему. Видимо, боясь подойти к незнакомому, такому большому человеку, она издали, шагов за десять, звенела своим тьяканьем. Его спутник вынул из кармана какой-то бисквит.

— «Бросьте ей этот бисквит», — сказал он улыбаясь, — «Она ничего другого не признает и не ест, но с тем, кто ей это даст, сразу устанавливает дружеские отношения».

Волокитин дал ей бисквит и собачонка быстро его проглотила, подошла к нему и стала ласкаться у его ног.

— «Замечательный сторож, — объяснил ему Фостер. — Она ест исключительно это — так уж приучена, но зато никто во двор или сад не пройдет».

Волокитин вспомнил волкообразных, злых как дьяволы овчарок и чуть пожал плечами: разница была огромная.

В доме было пять, обставленных со вкусом комнат, в одной из которых должен был жить и его спутник. Он долго извинялся перед Волокитиным за то, что стесняет его своим присутствием, но так как тот города не знает, то он познакомит его со всеми достопримечательностями города и поможет во всех вопросах, которые могут у него появиться в новой стране.

На столе в столовой их ждал обильный холодный ужин и бутылка вина. Старинные темные картины украшали стены. Фостер сказал, что каждый день по утрам к ним будет приходить женщина для домашних работ и оставаться до вечера. Потом он провел Волокитина в другую комнату, с письменным столом, удобными креслами и книжными шкафами с рядом стоящих на полках книг. Далее была спальня с широкой кроватью под белым покрывалом и необходимой ме-

белью. Войдя туда, Волокитин на момент резко остановился: в углу, над кроватью висела старая почерневшая икона и красный огонек лампадки озарял ее. И совсем неожиданно в ворохе тревожных мыслей, осаждавших его весь этот день, мелькнула догадка: «Дед, ты здесь? Не оставишь?» Но он сейчас же отбросил эту мысль: «Не до дедов и всякой психологии!».

Фостер предложил ему поужинать, и, сидя за столом и потягивая из бокала вино, Волокитин вспомнил вдруг самого себя, тонущего в тине бездонного болота. Это сравнение было настолько нелепо, что Волокитин невольно улыбнулся. Фостер это заметил и протянул к нему бокал.

— «За вашу улыбку! Мы — американцы люди веселые, улыбаемся и часто громко смеемся, даже тогда, когда может быть неуместно».

После ужина Фостер предложил Волокитину перейти в гостиную.

Начав свою речь поздравлением Волокитина с благополучным прибытием в настоящую (это слово он не подчеркнул, а произнес, как что-то обычное) свободную страну он продолжил:

— «Вы на пароходе назвали себя Пресняковым — это хорошо, так как ваша настоящая фамилия может привлечь внимание. Так и условимся и на эту фамилию вам будут выданы документы. Себя вы можете считать абсолютно свободным; можете выходить из дома когда угодно и куда угодно — это ваша личная воля и нас не касается. Только я попрошу вас каждый раз перед уходом предупреждать меня: город вам незнакомый — вы можете заблудиться, а кроме того.. — Фостер замялся, но быстро поправился. — Кроме того, всех новых людей, попавших сюда на улице может встретить опасность — движение здесь очень большое — не дай Бог автомобиль налетит на вас. Или что-нибудь другое». — Он многозначительно посмотрел на Волокитина, не ставя точки над «и».

Волокитин отлично понял и, кивнув головой, спросил:

— «Так ли это важно?»

— «Это спрашиваете вы? — сделав ударение на «вы» удивился Фостер и закончил: — Вас, незаметно и

совсем не вмешиваясь в ваши намерения куда-нибудь пройти или встретиться с кем-нибудь, будут незаметно сопровождать...»

— «Я понимаю, — перебил его Волокитин. — И благодарю! Было бы нелепо погибнуть теперь и здесь от.. от автомобильной катастрофы... — Помолчав немного, Волокитин спросил: — А скажите, мистер Фостер, когда меня вызовут на опрос?»

— «На опрос? — удивился Фостер. — На какой опрос?»

— «Ну на опрос, когда я должен буду рассказать то, что я знаю о стране и людях той страны, откуда я ушел?»

— «Ах это... — протянул Фостер. — Но ведь никакого опроса в том смысле, как вы понимаете, не будет. Будет несколько встреч, когда, в процессе разговоров о всяких мелочах, вам зададут несколько вопросов общего характера относительно того, о чем вы упоминали — вот и все...»

Фостер затянулся сигаретой.

Волокитин, пожав плечами, справился:

— «Но тогда зачем в отношении меня вы проявляете столько... столько заботливости и внимания? Ведь чем то я должен за это отплатить?»

Фостер с минуту молчал, а потом очень серьезно ответил:

— «Вы уже отплатили и оплатили наше, как вы говорите, внимание. Оплатили тем, что будучи там у самой вершины черной власти, сеющей зло и ложь, горе и слезы, муки и смерть, власти, жаждущей залить этим ужасом весь мир, вы вольно или невольно — это безразлично — рискуя каждую минуту жизнью, порвали с этой властью, ослабив, может быть в незначительной степени, ее могущество. Уже этим самым фактом, вы, как вы говорите сами, отплатили за наше гостеприимство. Не думайте, что у нас нет людей, поклоняющихся вашей власти — они есть, как это ни странно. Но то, что ушли оттуда вы, одна из звезд высшего общества и высшей власти вашей страны, может быть заставит задуматься кого-нибудь и из наших поклонников тьмы и зла. В тот самый день, когда вы ушли из вашего дома в Москве, мы уже знали об этом! Каждый час после этого наши радиостанции слушали, не

передаст ли в эфир станция той страны, куда вы сначала направились, весть о вашем прибытии. Надлежащие инструкции были даны туда заранее. И когда мы услышали, что вы вырвались на свободу, мы были искренне рады, и не потому, что вы сможете нам что-то рассказать, а потому, что своим уходом вы сделали лишнюю трещину в монолите, в основании черной власти... Впрочем, разговоры на эту тему не входят в круг моей компетенции — об этом вам скажут другие. А теперь располагайтесь в этом доме, как вы хотите, считая этот дом вашим. Отдохните с дороги, почитайте — там в кабинете порядочный подбор книг, всяких: и старых и новых. Составьте план на завтрашний день — словом располагайте собой, и если я понадобится зачем-либо вам, располагайте и мной. В гостиной стоит телевизор — он тоже к вашим услугам. А пока, я вас покину, чтобы не мешать вашему отдыху и течению ваших, может быть, тяжелых мыслей, которые у вас могут явиться», — и, поклонившись, Фостер оставил Волокитина одного с его думами и сомнениями.

Чтобы отдохнуть от пережитого, Волокитин, следуя совету Фостера, прошел в гостиную и включил телевизор. Только что начался какой-то фильм из мексиканской жизни с умопомрачительными красавицами, гориллоподобными злодеями и невероятно-порядочными героями, со стрельбой, всадниками на горячих лошадях и всеми прочими аксессуарами подобных фильмов.

И странно: холодный и бесстрастный бывший следователь Ч.К. увлекся невиданным им зрелищем, мелькающим на экране, забыв про все бесчисленные вопросы, мучившие его еще совсем недавно, и искренне пожалел, когда фильм кончился. Он вышел на веранду. Подняв тент, он сел в кресло и закурил.

Из темного сада доносился слабый аромат цветов, деревья вдоль забора казались какими-то сказочными стражами, над головой в глубоком небе дрожали незнакомые звездные сплетения, а над городом, вдали от его улицы, висело розовое марево, отражающее мириады огней этого города-гиганта.

В пригороде, где находился коттедж было тихо. И, вдруг, во взволнованную событиями и жизнью пос-

ледних лет душу его, тихим, позабытым дуновением, вошло чувство светлого покоя. Откинувшись в кресле и полузакрыв глаза, он весь отдался во власть этого покоя. Отошли, растаяли тревожные мысли о будущем; растаяли злость и нетерпящая противоречий гордость; и только туманные, пастельных тонов, воспоминания поплыли перед ним. Сам не зная почему, отбрасывая темные страницы прошлого, он во всех деталях воскрешал только теплые и светлые минуты. И плыли перед его глазами далекие годы студенчества, родной дом, показалась, на миг, из тумана прошлого, Варя... Он вздрогнул... Варя... Одна... Первая и последняя!.. Потом вдруг мелькнула старуха-колхозница, подавшая ему во время бегства краюху черствого хлеба... ради Христа. И, наконец, показался маленький, странный и смешной человечек на палубе парохода, человечек, который молился за него, разбившего ему жизнь. Эти воспоминания, не нарушили чувство покоя, наоборот, сливались с ним, делая этот покой еще более сладким.

И вдруг, вопреки этому, возник в памяти страшный момент, когда в своем кабинете в Москве, от приведенного к нему старика, фамилию которого он почему то выбрал теперь для себя, он услышал убийственные слова о жестоком законе наследственности. Волокитин вкочил — в голове его родилась другая, уже дикая мысль, что и это чувство пережитого им покоя — нашептано, наговорено, внушено одним из его дедов, — тем стариком-монахом, которого он то просил, то проклинал.

И в сумбуре путающихся противоречий — беспощадно — ярко загорелась одна мысль, заслонившая все остальное. Выходило, что сам он не мог сделать ни одного шага без указания исчезнувших во мгле времени предков; выходило, что у него не было свободной воли, что он шел, как на поводу теми путями, которые ему были подсказаны кем-то из них. По своей натуре, ему было противно быть безвольным исполнителем чьих-то приказаний — это не допускали ни его гордость, ни его воля. Наряду с этой мыслью, другая мысль шептала, что он бессилен бороться с волей тех, кого уже давным давно не было, так как в нем бродили капли крови, унаследованной от них.

И наконец, со всем этим боролось чувство жгучего протеста, требующего проявления самостоятельности: «Я сам!.. Я сам.. Не вы! Один против вас всех!.. Я буду сам!..» — звучала в уме фраза, без начала и конца. Впившись пальцами в перила веранды, уже не видя звезд, не слыша запаха цветов, он повторял почти вслух слова: — «Я сам!.. Я сам!..» И убивая свет и воскрешая тьму, вдруг расцвело наглое, хохочущее лицо Андрюшки, виденное им давно во сне. А потом неизвестно по какой ассоциации, темной и страшной, вдруг вспомнилось, что здесь, в спальне над кроватью, горит лампадка. Он бросился туда с бредовыми словами: «Я сам!.. Я сам!..» — и дунул на мерцавшее пламя лампы, но она не тухла, он дунул второй раз — лампадка продолжала теплиться... Точно молния пронзила мысль, что этот неугасимый огонек затеплен кем-то по воле черного монаха... Вдруг он сообразил, что в стаканчик лампадки вставлена маленькая электрическая лампочка. Он бросился искать выключатель, но найти его не мог. Тогда, в полубезумии, он схватил стоявшую на туалете какую-то коробку, и под ее ударом, потухая, стекло лампадки мелкими красными брызгами усыпало пол... Но не успел еще замолкнуть тонкий звон рассыпавшихся стеклянных осколков, как тупым клином врезалась в мозг новая и холодная мысль: «Схожу с ума!..» И эти короткие слова распылили и властно отогнали все остальное.

Не знавший страха чекист, — недавно поборовший смерть в топях бездонного болота, вышедший победителем из поединка с человеком, от одного слова которого зависела жизнь миллионов — весь сгорбился под тяжестью страха. «Я схожу с ума!..» Как на экране представилось: как его, буйствующего в безумии, связывают дюжие санитары смиренной рубашкой, а потом выплыло его собственное лицо со слюнявым ртом, опухшее, с оловянным взглядом безумных глаз. А затем, как капли крови — красные стеклянные осколки разбитой лампы сверкнули на полу — они жгли, они пронзали его душу!..

Лихорадочно, дрожащими пальцами, он включил свет, схватил лежавшую на столе газету и, став на колени, стал осторожно собирать эти красные стеклышки. Где-то в глубине мышления проскользнуло,

что, если он их все осторожно соберет. то как-то в самой малой доле, он поборет то безумие, на пороге которого он себя чувствовал. Собирая осколки лампы, он одним из стеклышек порезал себе руку. Боль и выступившая на пальце кровь отрезвили его. Продолжая стоять на коленях, он обвязал раненый палец платком и аккуратно завернул в бумагу красные осколки стекла. Подымаясь с колен, он невольно поднял глаза кверху, в угол, где была лампадка и столкнулся с другими, невиданными им никогда громадными черными глазами.

Со старинной, почерневшей от времени, иконы на него смотрели глаза Богоматери. Неразгаданной никем тайной были заполнены эти глаза, и ему на миг показалось, что сквозь эту тайну мелькнула и скрылась бесконечная, неизмеримая жалость. Но это исчезло также мгновенно, как и появилось. Он овладел собой, и в нем проснулся прежний Волокитин. Он подставил стул и, встав на него, стал внимательно рассматривать икону, и ничего, кроме почерневших красок, не нашел... Сходя со стула, он пожал плечами: «Блик света от горящей лампы упал и оживил черные глаза», — подумал он, но неотступно и пугающе в глубине души, хотя и значительно слабее, все еще шевелился темный страх безумия. И, вдруг, опять настойчиво и твердо, чуть слышно прошептал его прадед-монах: «Осколки, разбитые тобой собрал?!.. На икону смотрел, искал в ней чего-то?!» И собрав всю уже надломленную волю, бывший следователь черной службы решил: «Сегодня ночью нужно покончить со всем... Куда-то, к чему-то прийти... Что-то решить!.. На чем-то остановиться!..»

Он вышел в гостиную и опустился в кресло. Мозг и душа постепенно освобождались от того, что он пережил в спальне. Почти спокойно он решил окончательно и навсегда разрешить два вопроса. Первый: должен ли он продолжать борьбу с доносившимся из глубины времени зовом предков или полностью поддаться ему и оправдать слова старика Преснякова, о законе наследственности и его Волокитина, вырождении. И неразрывно с первым вопросом вставал и дру-

гой: кому же из предков подчиниться, чью далекую волю отражать всей жизнью, если уйти от подчинения не удастся.

В доме была мертвая тишина. Настольная лампа мягким светом создавала иллюзию покоя и уюта, а он, внешне спокойный, в тяжелых думах, коротал свою первую ночь в чужом городе.

И вышло как-то так, что первый вопрос разрешился сам собой довольно скоро и легко. Он стал внимательно просматривать всю прошедшую жизнь, и в каждом ее отрезке, в каждом своем поступке, он находил отражение воли кого-либо из предков.

Как замороженный, он клал в основу этого анализа, надломившие его слова Преснякова, не замечая, что его предки часто были не при чем, что всякий человек, на его месте, поступил бы так же. Под гипнозом страха наследственности, борясь с ним и его проклиная, он не мог победить этот страх, рассматривая все приключения сквозь призму, услужливо подставляемую ему этим страхом. Если бы в этот вечер кто-нибудь ему сказал, что им руководит только страх, он возмутился бы и горячо стал бы протестовать. Не отдавая себе отчета, он уверял себя, что тяжелые переживания порождены его жестокой, по существу нереальной, борьбой с наследием, полученным от предков, упуская, что и этой борьбой руководил страх. Он должен был решить — подчиниться ли безвольно зову предков или бороться с их настойчивым шепотом, подчиняющим и обезволивающим.

Людей, прошедших через его кабинет, приговоренных им к той или иной каре, он не вспоминал; их было слишком много и их лица слились в одно серое, туманное пятно. Забылось и то, как они себя вели: унижались ли и умоляли или, проявляя ненависть к нему, бросали дерзкие и гордые слова. Правда, последних было мало... Да и не в этих людях было дело... Главное было то, как он реагировал на их слова. Напрягая мозг, старался вспомнить в какой мере его приговоры внушались его предками — злыми и добрыми. Это казалось нелепым, краем сознания Волокитин это понимал, но слова старика Преснякова, брошенные ему во время допроса, запечатлелись прочно. Эти слова заслоняли теперь всю его жизнь, и,

вспоминая свою жизнь и особенно службу в Чека, он старался угадать: чья-же, которого предка воля влияла на его приговор или поступок?..

Нужно было сравнить все, что делал он, с тем как поступали предки в делах, хотя бы приблизительно, схожих с его поступками. Фантазируя и рисуя картины, которых, может быть, и не было, его мозг воскресил далекое прошлое и тех его предков, которые передали ему капли своей крови. Волокитин не сознавал в эти минуты, что, воскрешая все, что было и чего не было, он на некоторое время отходит от мучительного состояния, рожденного словами Преснякова, отдыхает и, своим фантазерством, приближается, становится похожим на Андриюшку. Если бы ему кто-нибудь указал на это сходство, он бы возмутился всем своим существом. Но теперь рисуемые фантазией картины давали какой-то отдых, отвлекая от главного, и перед ним рисовались картины одна ярче другой. Он перенесся в прошлое, и это прошлое ярко и красочно ползло перед ним, представляя страшного опричника Грозного Царя, и сверкающего внешней красотой, в искрящемся камзоле, предателя чернобородого самозванца, которому тот верно служил до тех пор, пока это было выгодно, и, наконец, того, к которому тянулся и с которым боролся, — худого черного монаха.

Выплыла в памяти грязная, полутемная хата на Украине и два человека: старик — дед и мальчик — внук, когда, весь поддавшись злобе за полученное оскорбление, он за оскорбление двумя выстрелами прикончил обоих... Это внушил ему далекий прапращур, раболепно склонившийся перед всемогущим хозяином — Скуратовым: «А я, батюшка, сам прикончил Ваську — уж очень он мне надерзил!». — Вспомнил и другой случай, когда к нему привели одного из тех, кто строил революцию, имя которого часто упоминалось в газетах, к словам которого то со страхом, то с ненавистью прислушивалась вся страна. Богатырского роста человек, не раз рисковавший жизнью, но которого нужно было убрать по приказу «свыше», в его кабинете проявил вдруг страстную любовь к жизни. Волокитин знал его раньше и теперь проявил к нему самую утонченную вежливость, прозрачно намекнув, что и он

сам ему сочувствует. Тихим, задушевым голосом он уверил арестованного, что примет все меры к его реабилитации. Больше месяца расшифровывал следователь это дело, приказав, чтобы даже в своей камере арестованный чувствовал его расположение и сочувствие: заключенному были даны все книги, о которых он просил, обед и ужин доставлялись из ресторана... умело плел Волокитин паутину! И когда, в дружеских беседах, арестант раскрыл то, что нужно было Волокитину, и, незаметно для себя, назвал не одну фамилию, следователь поставил на этом деле точку.

Ему было совершенно безразлично, насколько виноват был арестованный великан. Он не вникал: был ли на самом деле какой-то заговор или вообще не было ничего, кроме воли вождя, и, когда все было подготовлено, чтобы выполнить волю человека, стоявшего на самой вершине власти, Волокитин просто из любопытства вызвал арестованного на последний допрос.

Холодно и бесстрастно, не предлагая сесть, он объявил арестованному, что дело его кончено, вина его и указанных им людей установлена и... остается ждать только приговор!

Молча, только чуть побледнев, стоял перед ним осужденный. Ни одна черта не дрогнула на его лице, но бесконечная, звериная ненависть загорелась в его глазах, и сквозь эту ненависть сверкало такое убийственное презрение, что Волокитин, чуть усмехнувшись, спросил его:

— «А что же вы могли ожидать другого?»

И пропитанный этой ненавистью, прозвучал ответ:

— «Предатель!.. Проклятый предатель!.. Не жди от меня больше ни слова...» — По самой поверхности души, не волнуя ее, как слова граммофонной пластинки, скользнули эти слова, и, встав из-за стола, Волокитин приказал часовому отвести обвиняемого в камеру.

Одним коротким мгновением промелькнуло это воспоминание, не волнуя его и теперь. Но на смену этого зажглось другое.

Неисчислима толпа, заливающая Красную площадь. Темной промадой высится над площадью Лобное место, у подножья которого стоит большая черная клетка. Глазами затравленного волка в просветы ре-

шетки смотрит закованный чернобородый человек. Шум и говор повсюду... И вдруг все стихает: кто-то в камзоле екатерининских времен появляется на помосте. Только самые ближние к помосту слышат его слова, но все и так знают, что он читает. В это время, расталкивая толпу, подходит к клетке человек, в пудренном парике и богатом сверкающем искрами камзоле. На фоне красных, потных лиц толпы, он выделяется своей красотой. Спокойно, чуть улыбаясь смотрит он сквозь прутья клетки на осужденного... А у того вдруг, глаза наливаются бесконечной, сжигающей злобой. Всю душу, всю ненависть, которая угаснет только тогда, когда перестанет жить его изуродованное палачом тело; уносит он с собой... преданный, попавший в клетку после того, как там, под далеким Оренбургом, такие же толпы приветствовали его. За всю его жизнь, ни в дни боев и побед — так не загорались глаза осужденного самозванца. Ни одного слова не уронили его губы... слова были бы ничтожны и мелки... и только глаза, налитые лютой ненавистью, смотрели сквозь решетку клетки, на предателя в богатом камзоле.

Кривились губы в непонятной улыбке человека, стоявшего перед клеткой... «Может быть, в эти страшные минуты вспомнилась ему милостивая улыбка блистательной Императрицы, будущее, озаренное этой улыбкой, и равнодушно, смотрел он на того, кому недавно служил, кого называл «батюшкой-царем» и исполнял его жестокие кровавые приказы и кого спокойно предал. Об этом он не думал, не вспоминал и, рисуя себе блестящее будущее, просто не видел страшных ненавидящих глаз.

Как на экране проскользнула перед Волокитиным эта картина. Сверкающий предатель — прашур промелькнул в его памяти, и он понял, что в тех его черных делах, где нужно было предательство, которым он пользовался на допросах, им руководил через мглу многих лет этот кратковременный царицын фаворит.

На смену этой картине вспомнился другой предок — грязный, опухший от пьянства, в грязных притонах Хитрова рынка. Но это лицо, вспыхнув на момент, исчезло: слишком было бы нелепо, если бы и он, опустившийся босяк, мог что либо нашептать Волокитину.

Оставался еще один, про которого знал Волокитин. Строгий, измученный, старый монах снова всплыл перед ним. Волокитин вспомнил, как в тяжелые минуты обращался к нему, как утопая в бездонном болоте обратился к нему с просьбой о помощи, как эту помощь получил, вспомнил слова странного маленького Петрова на пароходе и вспомнил и осознал другое: как жестоко боролся он с этим монахом. Ни верный слуга Малюты, ни блестящий кратковременный фаворит Императрицы, ни наконец опившийся босяк не вызывали в нем такого отталкивания. Он вспомнил и другое: ни один из них ни разу не воскресал перед его духовными глазами, не нашептывал, не направлял его. Но с момента, когда на рассвете он вышел из розового особняка, неотступно преследовал его черный инок. Он вспомнил, как во время бегства, зарывшись в стог сена, бросал ему самые грязные, кощунственные ругательства, как не раз оскорблял его позже, но, должно быть, не слышал монах его грязные слова: «А что, если слышал и оказался выше этого в своем стремлении повести его, другим, своим путем? — подумал он. — Тогда как?».

Бывший следователь давно уже потерял разницу в понятиях добра и зла, но знал, что другие люди эту разницу знают и, как Петров, не последуют по стопам злодеев, а внимательно прислушаются к словам монаха. Привыкший слушаться только себя, не считаясь со взглядами и правилами других, он не поступился своей неумемной гордостью и тем презрением, которое он питал к другим. Даже преодолев это правило, возникала другая проблема — вера в Бога. Прадед был монах, следовательно веровал в Бога, а для Волокитина это слово писалось с маленькой буквы. Он просто не мог уяснить и поверить в Великие заповеди Добра и Любви. Они были ему непонятны, пусты и ненужны... И, в то же время, почему то, именно только этот прадед, несмотря на брошенные ему оскорбления, не отходит от него, заставляет прислушиваться к своим словам, неотступно, настойчиво и твердо ведет его к свету...

Волокитин был совершенно убежден словами Преснякова, что какие-то черные капли крови порочных предков бродят в его теле и что избавиться от

них никогда не сможет. Примириться с этим, беспомощно подчиняться теням прошлого, стать безвольно их ксией, обезличиться ему не позволяла гордость; но жестоко и неуклонно звучал голос, твердящий, что избавиться от этого невозможно. Что же оставалось? И в этом «что же оставалось» беспомощно металась его душа и ум. Нужно было что-то решить и с чем примириться, но это было выше его сил. Мысли, неясные и туманные, но изнуряющие текли в его голове — одна исключала другую, чтобы после этого снова вернуться к первой. Подчиняясь закону вечного движения текла ночь, изнуряя и обезволивая. Но уже ближе к рассвету зародилась вдруг другая мысль, мелкая и юркая. К этому моменту сознание необходимости подчиниться зову предков окончательно овладело им, а это породило другое, половинчатое, мелкое: — «Попробую со всеми... по очереди... Тогда хоть выбор будет...»

И тотчас же за этим успокаивающим решением против воли возник образ монаха. — «А Варю, а ее письмо помнишь?» — почти физически услышал он. Он вскочил и схватился руками за голову. Выходило, что сейчас же, сию минуту, он должен безропотно подчиниться тому образу, который его все время отталкивал... Иначе быть не могло, ведь Варя в последние минуты обращалась к Богу, а главное, просила Коренева простить его, Волокитина, и не мстить ему. В окна вливались яркие лучи взошедшего солнца и, уже покоренный, он прошептал: — «Солнце!... Свет!.. Это символ!..» — и окончательно сплетаясь в нераспутанный клубок, мысли прошептали: — «Дед!.. Только ты!.. Помоги же, и научи!..»

Уже без всяких дум и мучительных сомнений, Волокитин медленно, еле переставляя ноги, прошел в спальню. Солнце и там заливало комнату. Висящая в углу икона тоже светилась. Он схватился за сердце, не заметив, что один солнечный луч упал на зеркало туалета и, отраженный им, зайчиком играл на черной иконе. Образ весь осветился под эти лучом, а издали донесся шепот того, с кем он так боролся: — «Здесь твоя помощь!..» — и измученный бессонной ночью, Волокитин не раздеваясь повалился на кровать и сразу же утонул в успокаивающем сне.

Проснулся он от осторожного стука в дверь — это Фостер спрашивал его как он себя чувствует и не заболел ли, так как уже два часа дня. Смутившись, Волокитин ответил, что спал он так долго потому, что лег поздно, на что услышал в ответ — понимающее:

— «Да, конечно, я вас понимаю и прошу извинить меня за беспокойство».

Приводя себя в порядок, Волокитин почувствовал только на самом дне души пугающую темноту, а все остальное было залито мягким теплым светом. Он вспомнил таинственный свет сверкавшей иконы перед тем, как он лег спать, и это не вызвало ни протеста, ни насмешки. Лепкой тенью мелькнуло в уме воспоминание о деде-монахе, но оно было уже сросшимся с душой, умиротворяющим и светлым. Это стало как бы его вторым «я», не вызывая возмущения гордости, вынужденной подчиниться. Казалось, что эта тяжесть, которую он нес на плечах со дня встречи с Пресняковым, исчезла, растаяла, освободила его. Одновременно зародилась другая мысль: если он признает над собой власть черного монаха, то как совместить подчинение с подвигом этого прадеда.

В далеком северном монастыре провел тот почти всю свою жизнь — в лишениях, монашеском труде и полном отказе от мира. Все было во Имя Бога, которого Волокитин не знал и в Которого не верил. Он сознавал, что только по Божьему промыслу им руководил старый монах, и если он, Волокитин, не познает сущности Величия Божьего, то прадед в черном подряснике отойдет от него. Как маятник, дойдя до своего предела неудержимо стремится к другому пределу, так и вся жизнь Волокитина должна стремиться от полюса зла к полюсу противоположному. Но как понять и осознать: где зло сменяется добром и поверить в Того, в Кого не верил и Кого не признавал? В то же время он понимал, что, если он встал на дорогу, указанную монахом и слышит его шепот, то это необходимо для его спасения. Он понимал, что без этого наступит безумие. Нужно было поставить крест на старом, начать жить по-новому, а это было невозможно без того, чтобы не поверить в Того, в Кого не

верил он. Нужно поверить, но как это сделать, как перековать всю свою душу — он не знал. И, вдруг, из запутанного клубка мыслей отделилась одна тонкая нить: — «Дед поможет... Не может не помочь... Должен помочь!..» Сразу стало легко и тихо, как будто он переложил всю тяжесть своих сомнений на плечи другого, ведущего его от темноты к свету. И уже совсем не страшными стали слова Преснякова, так пугавшие его до сих пор и отошли куда-то предки, сеявшие при их жизни зло и предательство. И успокоенный, отбросив все сомнения и пугающие мысли, бывший следователь черной службы шепотом опять произнес: — «Дед поможет!..»

К тому времени, когда Фостер его разбудил, погода испортилась: — небо затянуло серыми тучами, которым казалось не будет конца и надоедливый мелкий дождь медленно стекал по стеклам окон. Это сразу испортило настроение Волокитина — слишком резок был контраст между залитой светом солнца комнатой, и серым туманом, расплывчатым и тусклым. Этот серый туман заполнял всю исковерканную душу его и то, что казалось ночью окончательно принятым окуталось такими же серыми, бесформенными тенями. Какое-то полное безразличие нашло на него даже тогда, когда он вспоминал своих предков. Апатия, вызванная тяжкими думами, сомнениями и усталостью охватила его — не хотелось думать, говорить, строить какие то планы.

За завтраком, когда он с Фостером вел пустой разговор, подавала на стол пожилая, простая на вид женщина, которую Фостер и представил ему, как специально нанятую прислугу, которая будет вести все хозяйство: готовить обед, убирать комнаты. Звали ее Александрой Петровной, а ее фамилию Волокитин и не поинтересовался спросить. После завтрака, Фостер извинился, что оставляет его одного и уехал по делу, Волокитин остался вдвоем с Александрой Петровной. Весь во власти серого безразличия он прошел в кабинет и стал просматривать книги, стоявшие на полках. Не раскрывая, он передвигал книги, на корешках которых были вытеснены золотом фамилии классиков. Обнаружил он и ряд фамилий, ему неизвестных. Откладывая их отдельно на стол, он натолкнулся на те, про

которые слышал еще будучи в Москве. Он хотел приступить к чтению, когда вошла Александра Петровна с тряпкой в руках.

— «Я не помешаю вам?» — спросила она и, не дождавшись ответа продолжала: — «Вот вы, наверное тоже из проклятой страны, где брат брату верить не может?»

Недовольный вторжением женщины и раздраженный туманом, поглотившим все светлые миги, Волокитин сухо спросил ее:

— «Откуда вы это заключили?»

Забыв об уборке комнаты, женщина опустилась на стул и резонно ответила:

— «Тут и заключать нечего. Простого бы человека не поместили в этот дом! и меня прислугой не поставили бы. Да я и рада за вас: из ада крошечного вырвались».

Волокитин заинтересовался:

— «А разве там уж такой крошечный ад?»

Александра Петровна даже побледнела от вопроса.

— «А разве не адские, дьявольские дела выбросили и меня сюда?»

— «Какие же это дьявольские дела, как вы говорите, так сломали вашу жизнь, что вы очутились в Америке?» — спросил Волокитин.

— «Дела мои такие: младший мой сын своего старшего брата предал и жизни лишил!»

Волокитина предательство не удивило — вся его служба и работа строились зачастую на предательстве, но детали дела его заинтересовали и он попросил Александру Петровну рассказать все подробно.

— «В Загорске, недалеко от Москвы мы жили втроем — я да два сына — муж на немецкой войне погиб. Сыновья в какой то конторе служили и были дружны между собой. Старший, Адриан, никак не мог примириться со всем, что в стране делается и часто дома об этом говорил. Однажды пришел домой задумчивый, молчаливый, только «да» и «нет» говорит! Начальство его любило — работник хороший был. И молчал он так с неделю, если не больше, а потом, вечером, как то и говорит: — «Не могу я больше так жить! Рассказали мне добрые люди, что бежать за границу можно — только далеко ехать придется — во

Владивосток. Там через тайгу в Китай бегут. Не знаю, как вы, а я решил бежать — нет больше сил терпеть!»

Целый месяц обсуждали мы положение, и уж очень подробно младший сын старшего расспрашивал — и кто ему это сказал и можно ли им верить, и к кому во Владивостоке обратиться надо, когда туда приедем, ни одной мелочи не забыл. А потом...», — Александра Петровна задохлась от волнения. — «А потом обо всем в чеку донес. Мы и не знали, что он там служит. И когда оставалось три дня до отъезда, ворвались ночью к нам и забрали старшего сына. Много тогда людей и в Москве и во Владивостоке арестовали и стал мой младший сын носить их проклятую форму. Самому страшному в Москве следователю — Волокитину передали это дело. Меня по старости лет не тронули, но обязали каждый день в милицию являться. Долго допрашивал его Волокитин, долго сидел мой сын в тюрьме — передачи ему я носила, а потом однажды передачи не взяли — теперь сказали ничего ему не надо, посмеялись даже: — «Теперь в вашем раю его с утра до вечера манной кашей кормят!». А младший сын, доносчик, после ареста брата от меня уехал и поселился отдельно. Да и хорошо сделал, от греха смертного спас — убила бы я его тогда! А потом как то приходит ко мне человек в штатском и говорит: — «Вам, как матери, интересно будет знать, что ваш младший сын руки на себя наложил — пулю себе в лоб пустил!..» Умирать буду, а следователя Волокитина не забуду! Весь он в крови, сотни людей погубил. Говорят, что его даже чекисты, как огня, боялись. Он все главные дела разбирал, отправлял людей либо в Сибирь, либо к стенке. Висит над ним вечное проклятие, да не знаю есть ли проклятие сильнее моего. Брат брата предал, ему служа и нет и не будет ему прощения после проклятия матери, потерявшей из-за него двух своих сыновей. Грешница я, но не могу глаза утром открыть или заснуть вечером, чтобы мое первое и последнее слово не было проклятием этому зверю! Говорят он бежал, да не верю я этому».

Весь бледный поднялся Волокитин с кресла.

— «Уходите отсюда, ничего не убирайте», — тихо сказал он, но что то настолько страшное было в его

голосе, что словоохотливая Александра Петровна выскочила из кабинета, забыв даже свою тряпку.

Глава 25

Бесконечно серой, туманной, расплывчатой лентой миллионы лет тянется над землей то, что люди называют жизнью. Время от времени, в тумане этой ленты, вспыхивают яркие искры, но, задавленные тяжестью тумана, быстро бледнеют и гаснут. Это кто-то из сотен миллионов живущих на земле людей обретал то, к чему стремился, называя эти искры то счастьем личного характера, то славой и властью, то бесчисленным количеством маленьких желтых кружков владыки владык — золота. Но беспощадно разворачивает эту ленту всемогущее время, и одна за другой гаснут яркие искры, чтобы уступить место другим, таким же беспомощным вспышкам. И даже если среди блуждающих в тумане человеческих теней находился кто-то с особой, данной Свыше силой, то мечущиеся без путей и дорог люди могущественного последнего века или хохочут над ним, или забрасывают камнями, ибо в туманной полосе черной струей ползет узкая, но ядовитая зависть. И не видя неба и его красоты в промозглых сумерках, ожесточаясь, злобствуя и с трудом неся на своих плечах и в своих душах, созданных большими мыслями тельцов, в обманчивом, фальшивом свете, люди все больше и больше забывают о том, что есть солнечные лучи, робкие подснежники ранней весны, горячая красота лета, золото осени и отливающий серебром снег. И вместе с этим расплываются в тумане понятия чистого добра и светлой любви. Они заменяются блеском золотых кружков или неумной жаждой власти. В роскошных виллах или, захватив разными путями власть над другими, подобными им самим, люди искренне забывают, что над всем этим миром жестоко и неумолимо царит Время, которое, холодно и беспощадно, с каждой прожитой секундой, приближает их к неразгаданному концу.

Но иногда Судьба опускает свой взгляд в пронизывающий туман и ставит лицом к лицу враждовавших, ненавидевших. И тогда, прозревшие люди, вспоминают о том, что есть и небо и солнце, поднимают

кверху свои глаза, моля Бога о помощи, и по силе благодатного милосердия, прощают «обидевших и ненавидящих», жаждущих кровавой мести!

Так, Вышней волей, сближались три человека, готовые на все крайности, на кровавую расплату за зло... за погубленную жизнь... и, по неисповедимым законам милости Творца, способные проявить высшее добро, про которое до встречи и не думали!..

Каждый из них переживал по-своему одно и то же событие, то бессильно борясь с тем, что нужно было побороть, то отыскивая неизвестный ему путь в темноте кромешной, истязая себя, падая и подымаясь, то, узнав смертный ужас своей вины, надрывать сердце тяжким раскаянием и сознанием непоправимости этой вины.



Долго, без сознания, лежал Иван Иванович после получения письма от опустившегося Андрюшки. Доктор, выслушав его сердце, покачал головой. Сама не своя, стояла у кровати больного Аграфена Кондратьевна, которой врач довольно прозрачно намекнул, что положение больного очень тяжелое, и его нужно беречь от всяких волнений. Сердечной заботой окружила она Ивана Ивановича, но тот, охваченный тяжелыми думами, ничего не замечал. Он так же, довольно рано, вставал, нормально ел, но... делал все это машинально, угнетенный своими мыслями. Почти все время он молча сидел в кабинете, ничего не читая, не отвечая Аграфене Кондратьевне. И только однажды, когда она ему, видимо, особенно надоела рассказом о каком-то ограблении банка, он медленно произнес:

— «Я, Аграфена Кондратьевна, вижу как вы заботитесь обо мне, но я несу на себе такую огроменную тяжесть, что и поблагодарить вас как следует не могу. Я не могу отделаться от ответственности за гибель трех жизней. Я узнал об этом тогда, когда мне стало плохо».

Не на шутку встревожилась Аграфена Кондратьевна.

— «Да, неужто вы трех человек убили?.. Не может этого быть, никогда не поверю!»

Медленно чеканя слова (быстро говорить он не мог), ответил ей Иван Иванович:

— «Сам я никого не убивал, а вышло так, что, благодаря мне, люди погибли. Оставим этот разговор — сделанного не исправишь! Не мешайте мне искупать свой грех, которому и нет прощения!..»

Плакала Аграфена Кондратьевна, молилась горячо, в церковь пошла, о здравии болящего Иоанна просфору подала, а он молча сидел в своем кабинете, от всего земного отрешившись.

Мыслями возвращаясь в прошлое, он вспоминал день, когда с вещевым мешком за плечами, обросший и грязный, выйдя из университета, решил почему-то, идти направо. «Почему направо?» — горело в уме. — «Случай, судьба или какая-то темная сила?» Он рисовал себе, как придя вечером к Андрюшке, они втроем с Варей провели бы вечер. Это рисовалось особенно ярко, как будто он, перенесясь на много лет назад, вел с ними какой-то разговор, как смешил бы его неунывающий Андрюшка. Иван Иванович закрывал глаза и видел все это, как наяву. Но он тогда решил сразу же ехать домой, а это наводило на другой вопрос: почему родилось такое решение? Теперь он понимал, что на это толкнула его не ревность (за время войны и всех последующих событий он Варю вспоминал редко) — скорее вовсе о ней забыл. Что же оставалось? Было мелкое чувство обиды, неосознанное желание почувствовать себя обиженным в своих лучших чувствах; ведь Варя о его чувствах не знала и наверное, широко бы открыла глаза, расскажи он ей о них! Все было мелким, пустым и фальшивым! А потом? Уже при одном воспоминании о дальнейшем с надрывом начало биться сердце. Он боялся подойти к самому главному! Стараясь оторваться от этого, пытался вспоминать что-либо другое — Барб, своего командира, Дона Хозе, но все это скользило по поверхности, не волнуя и не успокаивая, угнетала тоска. Он вспомнил грязный, заплеванный вокзал, Волокитина в шубе с бобровым воротником, его вопрос, сказанный вскользь. Впрочем, этот вопрос не мог быть серьезным: встретить даже в тысячной толпе человека, знавшего Коренева, не было событием чрезвычайным. Иван Иванович вспомнил озверевшую, буйную толпу и висящую

в воздухе ругань и горы шелухи от семечек под ногами. Но, беспощадно затушевывая все это, память шептала: — «А ты? Помнишь? «Мертвый переулок дом номер семь». Ты это помнишь? Ведь это твои слова!..»

Страшные удары сердца вдруг обрывались, и в груди становилось тихо и пусто, и в глазах начинали мельтешить черные точки, но неотразимо и неумолимо стучало в ушах: «Мертвый переулок, дом номер семь... И это сказал ты!..» Бессильно лежали на подлокотниках бледные руки, бесчисленные маленькие молоточки стучали в голове, а на плечи вдруг начинал давить холодный мертвый груз.

В самообличениях проходили дни за днями. Иван Иванович не мог отряхнуться от картин, не отходивших от него ни на миг. И даже ночью, проснувшись, ему казалось, что эти видения прошлого ему нужны, без них нельзя жить. С каждым днем труднее работало сердце. Охваченный сознанием вины, Иван Иванович урал со стола студенческую карточку, с которой, то с упреком, то гневно глядят на него изображенные на ней лица: Варя, Андрюшка, Волокитин.

Правда, иногда, но очень редко, тяжелые думы от него отступали и в памяти воскресали различные другие картины. Он старался задержаться на них, чтобы дать хоть не надолго себе какой-то маленький отдых, но, и эти воспоминания неуклонно и жестоко приводили его к страшному моменту, когда он в вокзальной толчее увидел классическое лицо Волкитина. Он снова погружался в разрешение неразрешимых вопросов, ранивших больно и жестоко. Однажды он попробовал стать в отношении себя не прокурором, а защитником. Он ведь не знал — какую власть имел тогда Волокитин, не знал о его чувстве к Варе, не мог даже предположить, какую драму породит его ответ, открывший адрес Кореневых. Но, от всех этих оправданий легче не становилось — остался голый, страшный факт соучастия! И жестоко казня себя, весь во власти сжигающих дум и не затихающей боли, он проводил изнуряющие дни и ночи, неотступно приближавшие к естественному концу.

Однажды, когда эти думы были особенно жестоки, он получил письмо. На вырванном из тетради листке

стояло несколько слов, написанных дрожащим, с трудом разбираемым почерком.

— «Я умираю. Надежд никаких не осталось. Если можешь, возьми меня к себе — умирать в ночлежке страшно. Писать больше не могу. Андрей».

Адрес отправителя на конверте был. Странно, но Иван Иванович почувствовал себя вдруг гораздо лучше. Он велел Аграфене Кондратьевне приготовить в его кабинете на кушетке постель для одного своего друга, который очень болен.

Иван Иванович нашел Коренева грязным, оборванным, чрезвычайно похудевшим.

Увидя его, Андрюшка улыбнулся:

— «Спасибо!.. Хотя умру по-человечески и смогу исполнить главное, что мне было задано».

Полежав с закрытыми глазами Андрюшка произнес как в бреду:

— «Ты понимаешь, Лидка сказала, что или не ненавидишь или не простишь... Может быть, перестану ненавидеть и перед концом сумею простить...»

Через час, вымытый в ванне, одетый в чистое белье, на мягкой постели беспутный фантазер, а теперь опустившийся босаяк, вынул из-под подушки старый, просаленный, обтрепанный конверт и показал его Ивану Ивановичу:

— «Когда помру, отдай это тому, кого я попрошу позвать сюда... Только боюсь, что на это сил не хватит, что уничтожу письмо...»

От еды Коренев отказался:

— «Не могу, болит все внутри, а если что и съем, то все вырвет...»

Иван Иванович позвал к больному одного из лучших врачей и тот, осмотрев Коренева, сказал:

— «К сожалению, положение безнадежное — рак охватил чуть не все внутренности. Прописать могу только успокаивающий морфий».

Когда Иван Иванович, проводив врача, вошел в кабинет, Коренев спал и на фоне белой подушки злое выделалось не лицо, а череп, обтянутый кожей.

Осторожно, на носках, чтобы не разбудить больного, ходил в этот день Иван Иванович по своей квартире и даже обедать пошел в кухню: подальше от кабинета.

Взволнованный всем происходящим, Иван Иванович забыл свои мучения, мучившие его последнее время. Глубокая жалость к умирающему другу далеких молодых лет полностью захватила его. Он вспомнил, как тяжело переживал смерть своего командира; вспомнил, как, в нимбе своих рыжих волос, уходила из жизни женщина, которую он, несмотря на все, любил первой и последней любовью; вспомнил как по детской щеке его молодого друга — веселого Джима — протянулась темная полоска крови, но все эти воспоминания были тусклы и бледны по сравнению с тем, что он переживал теперь. Эта бескрайняя жалость увеличивалась еще и тем, что, Коренев вряд ли сможет рассказать ему всю драму своей разбитой жизни. Потом мысли его перешли на загадочный, грязный конверт, показанный ему Кореневым и который было нужно передать кому-то, кого Коренев не назвал. Видимо, в этом конверте и было то главное, открывающее причины приведшие Андрюшку на дно. Вдруг, мертвая тишина квартиры огласилась громким стоном. Он бросился в кабинет, где с пожелтевшим лицом, с крупными каплями пота на лбу, больной извивался на своей постели от невыносимых болей. Было видно, как тот подносил колени почти до подбородка, быстро выпрямлялся, старался привстать, бессильно падал. Громкий стон перешел в тихий визг. Широко раскрытые глаза выражали непереносимую боль, а потом, неожиданно, быстрым движением Андрюшка схватил зубами палец и по подбородку протянулась струйка крови.

— «Иван!.. Морфий!.. Скорей!» — прохрипел он.

Доктор научил Ивана Ивановича как делать укол, но руки у него дрожали, иголка шприца никак не попадала в отпиленный конец ампулы. Замученный болью Андрюшка грязно выругался:

— «Баба!.. Рвань!.. Укола сделать не можешь!» — и снова завизжал каким-то звериным визгом.

Наконец, Иван Иванович справился и неумело сделал укол в тело, на котором темными тенями сквозили кости.

— «Еще один!.. Только два помогают», — просто-нак больно, но Иван Иванович медлил...

Резким движением Андрюшка сбросил одеяло.

— «Сейчас встану, и все кругом разобью... Весь твой кабинет! Там в ночлежке мне всегда два укола делали...»

И, уже ничего не думая, Иван Иванович сделал второй укол. Через несколько минут Андрюшке стало легче, а потом боли и вовсе утихли.

Слабый, еле дыша, лежал Андрюшка на кровати, накрытый одеялом, и, чуть улыбаясь, тихо проговорил:

— «Прости!.. обругал... От таких болей и большее скажешь».

Выполняя указания врача, Иван Иванович дал Кореневу снотворную таблетку.

— «Воды не надо — все равно вырвет, а так я ее просто проглочу...»

Спустя полчаса Андрюшка заснул.

Глядя на него, Иван Иванович вдруг вспомнил широкую, вечно веселую рожу Андрюшки тех далеких дней. А теперь перед ним лежал, обтянутый желтой кожей, скелет.

Иван Иванович вышел в соседнюю комнату и опустился в кресло. Ему ни разу в жизни не приходилось видеть таких страданий, пережитых Кореневым. Это было так страшно, что, не слыша визга больного, он облегченно вздохнул, как будто бы эту боль переносил он сам и теперь, избавившись от нее, мог свободно думать, говорить, что-то делать. Но это состояние продолжалось недолго: жестокая, не признающая оправданий мысль, что во всем случившемся и в предстоящей смерти, виновен он.

И совершенно неожиданно возник вопрос: сознаться ли Андрюшке, что он, Иван Иванович, указав его адрес, этим предал его чекисту Волокитину? Честь и порядочность требовали этого, но они таяли и расплывались перед самым обыкновенным страхом: Андрюшка не знал, что он нашел приют у человека — виновника всех его бед. Иван Иванович опасался, что Коренев теперь не может убежать из его дома, как это сделал при первой встрече, но он мог, умирая, его проклясть. Кроме того, своим признанием он ускорит и так уже близкий конец больного. И зародившаяся в какой-то извилине мозга мысль, издеваясь и оскорбляя, шептала: «трус!», в то время, как здравый смысл говорил: — «Не отравляй последние минуты умираю-

щего». И переплетаясь одна с другой, эти мысли исключили все остальное, разрушая вконец больное сердце. В этой бесплодной борьбе, изнуряющей и жестокой, Иван Иванович, забыв о времени, очнулся во втором часу ночи, когда из комнаты Коренева снова послышался стон. На этот раз он быстро справился с уколom морфия и увидел на лице Андрюшки чувство глубокой благодарности.

— «Спасибо, Иван!» — хрипло прошептал больной. — «Ты меня, грязного босняка, не только пригрел в мои последние часы, но и заботишься. С этим чувством благодарности будет легче умирать, да и тебе это зачтется».

Выбежав в соседнюю комнату Иван Иванович ужаснулся: — «Благодарит и кого?... Главного виновника!.. А если сказать все теперь?» — здравый смысл диктовал: «Не смей!.. Пусть умрет в счастливом неведении... Сумей скрыть правду.. Весь грех возьми на себя...»

Иван Иванович твердо решил скрыть правду: — «Моя вина... Мне и ответ держать»!..

Глава 25

Если бы Волокитин знал, что ждет его в будущем, он, может быть, не бежал за границу, а сам бы свел счеты с собой.

В то время, когда Иван Иванович терзался самооблечениями — он, ободренный разговором с Петровым на пароходе, ободрился, вздохнул свободнее, наслаждаясь уютом и покоем в доме Фостера. Но, после разговора с Александрой Петровной, проклявшей его за смерть ее двух сыновей, перед ним встал во всей наготе вопрос: — «Что же дальше?» — Он знал, что те к кому он перешел, окажут отзывчивое отношение, но знал и другое, что за отзывчивостью будет таиться недоверие, а может быть, и презрение, как к простому перебежчику. Было и другое — слишком много прошло через его кабинет людей, из которых наверное кто-нибудь есть и здесь, а от них ничего, кроме проклятий, не будет. И горячим желанием загорелась в нем жажда простого покоя, когда не бо-

лит душа, когда нет сомнений, когда можно радоваться красивому цветку и синеве далекого неба. Но он знал, что так просто этого покоя ему не достичь. Законы наследственности и вырождения, о которых говорил ему Пресняков, не выходили у него из головы — он боялся влияния порочных предков, которые, по его убеждению, толкали на преступление Божеских и человеческих законов. Правда, старый дед-монах протягивал ему руку помощи, но все осложнялось тем, что нужно было поверить в Вечную Красоту, Любовь и Правду, которых он не знал и не понимал. Нужно было перековать все свое существо, побороть неверие, пустившее крепкие корни и поверить, признать за абсолютную Правду То, что было ему просто непонятно. И если, в страшные минуты, он обратился за помощью к монаху-деду, то это не был голос разума, а крик души, разуму не подчиненный. Он особенно долго раздумывал об этом и решил, что давно умерший дед-монах — его проводник к свету, соединяющее звено между ним и Чем-то, что было выше разума человеческого. Значит в нем, как в каждом человеке, есть что-то Высшее чем разум, Что-то Сверхреальное, во Что можно только верить. Но верить крепко и непоколебимо в То, Чего нельзя ни увидеть, ни услышать, ни осязать, он не мог. В то же время какой-то голос может быть монаха шептал ему, что оставаться на распутьи тоже нельзя. У него оставались два полюса — один знакомый и понятный, полюс всей его прошлой жизни, другой иногда чарующий, влекущий и что-то обещающий, но непонятный, а потому и недоступный. Он попробовал однажды сходить в церковь, но непонятны были славянские слова всенощной. Когда он думал о прошлой жизни, то она ему рисовалась серым, расплывчатым туманом. И в этой непрекращающейся борьбе все чаще чувствовал он мерзвящую усталость и страстное желание покоя, который ускользал от него. Холодный разум доказывал нелепость слов маленького Петрова, но что-то другое, тоже живущее в нем, говорило иначе.

И однажды, ночью, он решил, что нужно поверить в То, Что он всегда отвергал, что все прошлое опостылело, что нужно поставить крест на нем и поверить, но, как?.. — он не знал. С огромным вниманием

он начал читать Евангелие, но отравленный ум не мог многое принять на веру. Он с глубоким волнением читал те главы, в которых говорилось о смертных муках Того, Кто проповедовал Добро, Любовь и Свет; он видел страшные Голгофские часы, но в Страдающем видел просто человека, проповедовавшего добро, преданного и распятого под дикие вопли озверевшей толпы. Темная завеса впитавшегося в него зла не подымалась, скрывая то Лучезарное, что было за ней, а перед Великим чудом Воскресения он беспомощно разводил руками и невидимый, ядовитый голос назойливо шептал о невозможности этого. Наконец и его душа, в которую он не мог верить, шепнула ему слова, прочитанные в Евангелии: «Ищите и обряцете». И он начал искать.

Время листало дни его жизни, давно окончились все опросы, то в виде отдельных фраз, пустых разговоров, то строго официальных и, узнав от него все нужное, его оставили в покое и дали место в какой то конторе.

Однажды вечером он решил посмотреть ночную жизнь города. Фешенебельный ресторан, куда он пошел, сверкал сотнями огней; усыпляющая гавайская музыка дурманила и пьянила, но когда он увидел сотни незнакомых лиц, бессмысленно изображающих экзотические танцы, ему стало до тошноты противно, и он ушел домой. Он знал, что приставленная к нему охрана сопровождает его, что каждый шаг его известен тем, кому это нужно. Вначале это раздражало его, но он постепенно привык и к этому.

Тот день, в который произошел в нем окончательный перелом, был ярким и солнечным. С утра, в нем, с особенной силой, загорелось неумное желание покоя и мучительная жажда объять необъятное и найти хоть самую тонкую нить к тому, чтобы поверить в То, во Что не мог верить.

После завтрака он вышел на улицу. Проходя мимо небольшой церкви, он с удивлением увидел, что двери ее открыты и туда идут богомольцы. Время для обычной службы было неурочное, и он, заинтересовавшись вошел в храм. Посредине церкви стоял белый гроб. Он подошел поближе и увидел в нем молодое, девичье лицо. У гроба, не опуская глаз с этого лица

стояла пожилая женщина в черном: — «Мать», — шепнул кто-то сзади его. Полная покорности, без единой слезинки, смотрела не отрываясь на лицо мертвой дочери женщина в черном. Зауспокойное пение хора согрело, смягчало его встревоженную душу, и, внимательно вслушиваясь в слова отпевания, он, сам того не созная, приближался к Тому, Кого искал, в Кого хотел верить. «Покоя, тишины...» — донесся до него возглас и отозвался в его душе дивной, все-смывающей музыкой. А потом вскоре подошел и тот момент, когда он с огромной радостью понял, что поверил. В прощальном поцелуе приникла женщина в черном к лицу дочери, а потом, перекрестив ее, повернулась лицом к алтарю и громко, на всю церковь, произнесла.

— «Да будет Вся Твоя!» — И эти слова незнакомой женщины разорвали темную завесу, висевшую перед его душой, и забыв все, Волокитин опустился на колени и также громко, вызывая общее удивление, произнес:

— «Верую, Господи!»

С горящей радостью душой шел он домой и увидел уже не простого смертного, распятого толпой, а Бого-Человека, истерзанного, в терновом венце, молящего: — «Отче прости им — не ведают, что творят», — и вполне естественным, понятным и очищающим стало для него великое чудо Воскресения. И свертываясь, таяла, исчезала черная тьма его души и взамен ее яркие лучи очищающей веры заполняли его душу.

Уверовавшая душа требовала настойчиво и властно идти тем путем, который указывает святая книга. И это требование росло все сильнее и сильнее. Волокитин слышал, что где-то на краю города есть монастырь и решил уйти от шумной, пустой жизни туда, чтобы на деле проявить полученную им веру. Долго говорил он с игуменом, раскрыл все прошлое, и, в этот рождественский сочельник, игумен разрешил ему вступить послушником:

— «Велики и необъятны твои грехи», — закончил игумен, — «и только самым строгим подвигом, самой порячей молитвой, забыв самого себя, ты сможешь смыть все, что сотворил», — и послал келейника за отцом Нестором, которому хотел поручить нового послушника.

И в те самые минуты, когда иеромонах Нестор подымался по ступенькам в покои игумена, там его ждал человек, которого он должен был простить за все прошлое и взять под свое попечение врага, которого, обманывая самого себя, начал считать братом.

Когда отец Нестор вошел в комнату игумена, она была освещена слабым мигающим светом лампы перед образом. Игумен сидел за столом, а в темном углу стоял какой-то высокий человек, лицо которого в полусумраке разобрать было нельзя.

— «Отец Нестор», — обратился игумен, — «этот человек к нам поступить хочет. Пока я беру его послушником, а ты его наставь, помоги ему — многие, самые страшные грехи носит он в своей душе, и подумал я, что ты сможешь помочь ему, наставить на верный путь, освободить его от темного зла», — и обратившись к человеку, стоявшему в углу, добавил: — «Подойдите сюда», — игумен не закончил своего слова, вскрикнул и вскочил со стула:

— «Отец Нестор, что с тобой? Присядь, приди в себя, воды холодной выпей!»

Темные пятна поплыли перед глазами иеромонаха; тошнота подступила к горлу, закружилась голова, пот выступил по всему телу и стало ясно, что спасения нет — освещенное лампадой — на иеромонаха Нестора смотрело сильно постаревшее, но все еще прекрасное своими чертами, лицо Волокитина.

Придя в свою келью, отец Нестор упал на койку. Ужас обуял его, от сознания, что придется жить под одной кровлей со смертельным врагом, которого он, сказывается, вовсе не простил и не прощал, ужас от того, что он не справился с собой и что все годы, проведенные в монастыре, он обманывал себя и всю братию, нося в душе затушеванную, но неумершую ненависть. Но еще страшнее было то, что он, хитро притворяясь, обманывал Того, Чье Имя произносил с глубокой, как казалось, любовью и верой. Всю пред рождественскую всенощную простоял он на коленях, но путанной и неискренней была его молитва, так как между отдельными словами молитв просачивалось что-то ядовитое, едкое и злое. Много раз повторял он молитву, утвержденную покойным игуменом, но и она скользила по его душе, не принося ни облегчения, ни

сил. Всю ночь в келье он то ложился на койку, то падал на колени перед образом, твердя бесчисленное число раз свою, известную только ему и покойному игумену молитву. И к утру, когда ему показалось, что он справился с собой и ненависть к вставшему вновь на его пути врагу ослабла и злоба превратилась в безразличие, он задремал. Чисто-физическая усталость притупила остроту чувства. В таком же спокойном настроении он утром пошел к обедне и, как накануне, всю ее простоял на коленях. Исступленной и жгучей была его молитва, которую он, как и ночью, повторял без конца, внося в каждое ее слово всю силу своей, по существу, бессильной души.

Выйдя из церкви, он почувствовал огромное светлое облегчение. И чтобы окончательно исцелить себя, отец Нестор решил еще больше отвлечься, утомив себя физически. Он любил рубить дрова и теперь, взяв гопор в сених, вышел на двор. Ярким солнечным светом встретил его день Великого Праздника и, взглянув на синее небо, иеромонах прошептал с огромной радостью: — «Слава Богу за все!»... — Пройдя на задний двор, где лежали дрова он резко остановился — на скамейке, шагах в десяти от него, спиной к нему сидел Волокитин.

Страшной, невыносимой тяжестью повис в его руке топор; все светлое, в неизмеримо короткий момент, умерло в душе, и, только одна бескрайняя, лишающая разума злоба, заполонила душу. Он, забыв все и приподняв топор, стал осторожно, тихо подкрадываться к новому послушнику. С опустевшей душой, в которой царила уже не ненависть, а что-то иное, неизмеримо более властное, шаг за шагом приближался он к Волокитину, и, подталкивая его на преступление, в голове мелькнули слова полупьяной Лидки: — «Или не ненавидишь, или не простишь»... — и в уме молнией проскользнула мысль: — «Ненавижу и не прощу!». — Но когда он уже почти подошел к Волокитину, потеряв из глаз весь мир и видя только шапку на его голове, тот резко встал и повернулся к нему лицом. В двух шагах стояли они друг от друга. Оба молчали...

Чуть заметная жалкая улыбка тронула лицо пос-

лушника, и, протягивая свою руку к другой руке, с топором, он тихо сказал:

— «Андрей!..»

Топор выпал из руки иеромонаха и... гонимый страху силой отец Нестор бросился в свою келью. Сказавшись больным, он не пошел ни к службе, ни к трапезе. А поздно ночью, когда все спали, он снял подрясник и скуфью, ножницами кое-как обстриг бороду и волосы, надел рабочую тужурку, вышел во двор, крадучись перелез через забор и растаял в темноте.

Последней мыслью, отрывистой и неясной, еще в ограде монастыря, было: — «Может быть так искуплю!..» — И в этот момент забылись, исчезли и все монастырские строгие правила, и жизнь последних двух лет, и вновь воскрес старый безвольный фантазер Андрюшка Корнев, даже не сознающий «как» и, главное, «что» он должен искупить.

Глава 26

Роковой волей нелепого случая скрестились и пересекли друг друга пути трех жизней, трех маленьких людей. Но после этого сразу же эти пути разошлись, как казалось, навсегда в разные стороны. Но, должно быть, в таинственной книге судьбы было написано, что после долгого блуждания по земле, неожиданно эти пути вдруг станут сближаться снова. Тут не было ни воли, ни желания каждого из этих трех, просто на каком-либо высоком холме, или выбравшись из глубоких оврагов, дороги этих трех людей неожиданно стали сближаться, чтобы в какой-то роковой момент снова пересечь одна другую, чтобы разрешить многолетний спор, поставив их, еле бредущих, лицом к лицу.

Впрочем, это было и немудрено — в грохоте и лязге современной им жизни, окутанные туманом скружающих их лжи, предательства и погони за маленькими золотыми кружками, эти трое шли спотыкаясь о придорожные камни, сами не зная, куда они идут. И только тогда, когда сквозь серые волны тумана они вдруг увидели один другого, только

тогда они поняли, что настал роковой момент, когда нужно так или иначе разрешить спор, тяжким гнетом лежавший на их плечах. Драматически-тяжелой должна была быть эта развязка, так как нужно было каждому из них переделать самого себя, прийти от ненависти к любви, от безверия к глубокой вере, осознать вину. Это было тяжело еще и потому, что никто их не мог поддержать ни добрым советом, ни теплым словом. Как в детской сказке, несли они с собой бесконечно разматывающийся клубок ниток, которые указывали пройденный путь, и при встрече эти нитки перепутались между собой, связав их друг с другом накрепко, навсегда.

Почти три года прошло с той ночи, когда отец Нестор, обрезав волосы и бороду бежал из монастыря. В те минуты, когда он подкрадывался с топором в руках к ненавистному врагу, в его душе царила одна совершенно непримиримая ненависть; все остальное исчезло, выгорело, а в голове звучал хриплый шепот полупьяной Лидки: — «Или не ненавидишь, или не простишь». Когда Волокитин встал и протянул ему руку, неожиданно эта ненависть растаяла, исчезла. До конца жизни Коренев так и не мог понять, почему это произошло — может быть, это был простой страх перед намеченным преступлением, может быть, из каких-то неведанных сфер донесся до него голос давно умершей Вари... объяснить и понять он этого не мог, но тогда он бросил в сторону топор и убежал в келью.

Без мыслей, без надежды на будущее, с пустым сердцем и застывшей душой он упал на койку. Обесиленный и обезволенный, он лежал, глядя неотступно в какую-то точку на потолке. Две силы давили на него — одна, издеваясь, твердила: — «Не ненавидишь и прости... Струсил!...» — Другая, чуть слышная, неразборчиво шептала: — «Так и нужно!...» — И изнемогая в борьбе этих двух сил, иеромонах Нестор неотрывно смотрел на потолок.

Прошел час, может быть пять часов — он не знал, но когда до его слуха донесся слабый звук колокола монастырской церкви, он начал приходить в себя. А когда в дверь кельи кто-то осторожно постучал и сказал, что началась служба, он раздраженно бросил:

— «Я болен — оставьте меня в покое!».

Это вырвало его из состояния бесчувствия и поставило перед лицом жизни. Он встал и, вдруг, вспомнил завещанную ему умершим игуменом молитву. Искренне и честно повторял он ее до этого по несколько раз в день, но никогда он не произносил ее с таким иступлением, как сейчас, упав перед иконой на колени: — «Господи, всякой душе христианской, скорбящей же и озлобленной, милости Божьей и помощи требующей, помоги!». Но произнеся последнее слово, он, вдруг, вскочил с колен. Воспаленным и диким был его взгляд, в ознобе тряслось все тело, в неразборчивом хороводе сплетались мысли и постепенно, из их хаоса вырвалась одна, которую он, сам того не замечая, сказал вслух:

— «Нельзя!.. Нельзя просить!.. нельзя молиться!..»

Он охватил умом проведенные им в монастыре годы: одна голая, непрощаемая ложь руководила им. И продолжая первую, мелькнула другая, внешне созвучная, страшная — способная свести с ума, мысль: — «Яко ложь есть и отец лжи»...

Выходило такое пугающе-темное, что он закрыл лицо руками; выходило, что, произнося слова молитв, он в душе был слугой отца лжи, так как лгал, так как не простил врага, а, затаясь, ждал случая, когда его встретит и отомстит, надсмеявшись над словами Вари, которая просила его в свои последние минуты о прощении. Он лгал всем — окружающим, самому себе и Тому, Кому говорил святые слова, гая в душе зло... И перед ним во всей необъятной важности встал вопрос, от которого холодело сердце: — «А дальше что?.. — Представлялось, как он в церкви перед всей братией упадет на колени, покается, подползет к новому послушнику и поцелует ему ноги... Но это было невыполнимо — справиться он не сможет, а если и сможет, то и тогда будет ложь, так как руководить им будет только страх, а не искренность. Другого выхода он найти не мог... Может быть, уйти в затвор, никого не видеть, но и тут неутолимая ненависть чуть заметным штрихом будет жить в душе, а значит и ложь не умрет.

И очень медленно, но неотступно зарождалось решение о необходимости наложить на самого себе епитимию такую, которая, наверное, погубит его, но, по-

губив физически, явится достойным возмездием за ложь Самому Богу. Особенной и неизмеримо тяжелой должна быть эта епитимия, но он сам сознательно наложит ее на себя, чтобы погубить самого себя и в этом мире и в загробном; принесет себя в жертву, чтобы этой жертвой хоть немного уменьшить страшный грех лжи.

Стать таким, которого презирали бы люди, отворачиваясь от него, взять на себя самую мерзкую грязь, опуститься на самое глубокое дно, постараться все забыть в этом бездонном болоте, стать страшилищем для каждого человека и этой жертвой хоть частично искупить неискупаемое. И в примитивном, простом уме его, во власти проснувшейся фантазии, он решился на то, что через три года привело его умирающего и измученного к Ивану Ивановичу.

Всегда пьяный, грязный, оборванный, опухший, он с каждым днем, полным выполнения пришедшей ему в келье сумасшедшей мысли, он, в редкие трезвые минуты, уверял себя, что с ним происходящее, является великим искуплением его вины — лжи во время жизни в монастыре. И если в его памяти вставал Волокитин, он, уже не сдерживая себя, ненавидел его, ибо думал, что нелепая жертва, которую он принес несравненно выше этой ненависти. Опускаясь все ниже и ниже, даже в пьяном виде, он бережно хранил под своими лохмотьями грязный, измятый конверт. Природная фантазия раскрашивала в радужные тона грязные стены какого-нибудь притона, и она же иногда вызывала на глазах его слезы умиления перед «подвигом», который он добровольно исполняет.

Слабовольный от природы, он мог идти правильным, верным путем только тогда, когда кто-либо более сильный поддерживал его, направлял и диктовал правила жизни. Попад в монастырь, он следовал наставлениям покойного игумена. Теперь же со стыдом, он вспоминал как играл перед ним недостойную роль, целуя портрет своего врага и называя его братом. Выходило, что и тогда он лгал, говоря красивые слова, затаив глубоко, на самом дне души неизживаемую злобу, и, кто знает, если бы не умер старый монах, может быть, своим влиянием, своей негнущейся волей он сумел бы выжечь из души Андрюшки тем-

ную злобу. Но он умер, а других, подобных ему, не было. Правда, опираясь, как на стену, на суровые монастырские правила, он проявлял себя, как истинный, суровый в душевных движениях инок. Но въевшаяся, как заноза, злоба не умерла. Как всегда, обходя тяжелые моменты, он все силы направил не на прощение, а на то, что он за это принимал. Забыть, не думать о своем враге, молитвой и тяжелыми подвигами подавить ненависть, спрятаться от нее, ему удавалось, и тогда он в наивности своей думал, что достиг того, к чему должен стремиться. Как страус, в минуту опасности, прячет в песок свою голову, так и Коренев, живя в монастыре, создал впечатление истого, благочестивого инока. Сосредоточив всю свою слабую волю на страстном желании не вспоминать прошлое, он месяцами искренне забывал его, не понимая, что забыть — еще не значит простить. Это усугублялось еще и тем, что забвение было искусственным, созданным его неумемой фантазией. И умиляя всех своими физическими подвигами, он, прячась от самого себя, продолжать таить в душе ту же черную тень, уверяя себя в достижении недостижимого. Но не удержали монастырские правила, на которые он опирался, ярко вспомнилось то, что он старался забыть, и то, что он пытался затянуть серым туманом... ядовитым цветом расцвело зло и в его дурмане пальцы руки судорожно впились в деревянное топорище. А вслед за этим стало ясным и понятным, что все, что он ни делал в эти годы, все его физические подвиги, молитвы и служение были все пропитаны ложью... стараясь забыть и не вспоминать, он трусливо прятался от этого, не изживая его.

Убежав темною ночью из монастыря, он, сидя на каком-то камне, не знал что же делать ему дальше. Ясным было одно — каким-нибудь небывалым возмездием наказать самого себя за ложь, которой он жил в монастыре. И как когда-то в московской тюрьме, создавал самые нелепые, невыполнимые планы, так и теперь он перебирал возмездия, которые он мог бы наложить на себя. Постепенно в его примитивном, неглубоком уме созрел план дикий и странный. Уверив себя, что искупить свою ложь он не сможет, решил, что возмездие должно быть так велико, как был

велик его грех. Мелькнула было мысль, что проще всего покончить с собой, но он скорей отбросил этот план — слишком прост был этот план — нужно было совершить что-то большее. Он вспомнил, что время от времени в монастыре появлялись странные, оборванные, опухшие от пьянства босяки-пропойцы, которых кормили, иногда даже оставляли на два-три дня, но потом, не поблагодарив, эти люди счезали снова, возвращаясь на дно, которое стало их жизнью. И в полубреду, разукрашивая своей фантазией все остальное, он уже видел себя, таким же пропойцей, как те, что приходили в монастырь, грязным и оборванным, просящим милостыню, чтобы оплатить ночлег в каком-либо притоне, а оставшиеся от подаяния деньги пропить. Впитать в себя всю грязь жизни этих босяков, в пьяном дурмане участвовать в пьяных драках, заставить обычных простых людей с омерзением отворачиваться от черных синяков на его лице, в общем сделать так, чтобы оставшаяся ему жизнь стала тем возмездием, которое он должен на себя наложить. Нелеп и страшен был план, но Андрюшка решил, что иного ничего не придумаешь, а главное, что грех лжи, которой он жил в монастырских стенах, требует о с о б о й кары.

Вспомнилось предсмертное письмо жены, но и тут он нашел выход: великий грех взяла на себя Варя самовольно уходя из жизни, и может быть, часть этого греха упадет и на него и как-то уменьшит ее грех. И, в этом, Андрюшка выявил себя во всей своей несуразной и нелепой натуре — он вдруг умилился: собой и своей жертвой в память жены. Расшатанные, издерганные нервы его не выдержали, и несколько блестящих капель скользнули по его щекам.

А вслед за этим вспомнился почему-то умерший игумен и молитва, завещанная им Андрюшке. Встав с камня и идя к тускло мерцавшим вдали огням окон, он, не сознавая кощунства, прошептал, обращаясь к Тому, Кому он лгал в монастыре: — «Всякой душе, скорбящей же и озлобленной, милости Божьей и помощи требующей —помоги!» Утром хозяин притона градом пощечин наградил его за выпитую водку, которую ему было нечем оплатить, и, сняв с него тужур-

ку, вытащил и бросил его в растущий за притоном бурьян, где Андрюшка погрузился в тяжелый, хмельной сон.

Так шли месяцы нелепой жизни, с которой уже слился опухший от пьянства Андрюшка, как вдруг, однажды, какой-то чужак угостил его сигаретами и позвал обедать. В кабинете хозяина, развалившийся на диване босяк Андрюшка считал этот день счастливым пока его взгляд не остановился на пожелтевшей от времени большой карточке, с которой на него глядели глаза покойной жены, и классические черты Волокитина, — молодые, здоровые, веселые люди. И если бы потом кто-нибудь спросил его, почему под его каблучком треснуло стекло рамки, брошенной им на пол, он ответить бы не мог, так же как не смог бы объяснить, кому он бросил проклятие — своему врагу или самому себе и всей своей нелепой жизни.

А когда через несколько месяцев он понял, что смерть подошла вплотную и он не может даже поползти на улицу просить милостыню, тогда он с трудом нацарапал письмо Ивану Ивановичу, прося приютить его на последние дни.

Глава 27

К той группе людей, которых называют «людьми крайностей», принадлежал Волокитин. Золотая, спокойная середина была ему органически чужда. Две крайности владели им. Первая была та, когда он всей своей сильной душой полюбил девушку, теперь давно лежащую в могиле. Глубоким, темным драматизмом было пропитано все, что так или иначе соприкасалось с Варей. Он отлично помнил, как после ее отказа выйти за него замуж, он бросил фразу: «Все равно, ты будешь со мной!... Если не моя, то со мной!»..

Дикий непредвиденный случай на вокзале, когда он встретил Логинова, помог ему узнать, где она живет. Но главное было не это — если бы она связала свою жизнь не с пустым и бесшабашным Андрюшкой Корневым, которого он искренне всегда презирал, ему было бы легче. Сознание, что она предпочла ему именно этого пустозвона вздергивало на дыбы всю его сумасшедшую гордость. И в этот же вечер

Андрюшка был арестован, а Варя переведена в розовый особняк. Они оба отлично понимали, что она находится в полной его власти. Но слишком большое и чистое чувство было в его душе, он слишком любил, чтобы простым даже прикосновением оскорбить ее. А кроме того, он первый раз в жизни всей силой души и воли хотел, чтобы она поняла и оценила его отношение к ней. Он не позволил себе ни одной вольности. И уходя от нее в кабинет, он отбрасывал в сторону лежавшие на столе бумаги, мучительно думая только об одном: чем сможет он привлечь ее к себе, добиться, для начала, хоть одного ласкового слова. Он пошел на вызывающее острую боль выполнение ее просьбы о передаче томика Апухтина Андрюшке. И в ответ на все... все напрасно!... Он помнил, как подгонял своего шофера, когда ему позвонили на службу, уведомив его о нездоровьи Вари. Найдя Варино тело уже холодным, он почувствовал как все стало ему безразличным. Прочтя же письмо Вари, адресованное Андрюшке, ему стало еще горше. Он понял, что ей стало жаль его мук и что из жизни она ушла только потому, что боялась, как бы эта жалость не обратилась во что-то другое, то что, видимо медленно загоралось в ее душе. Поразила его и просьба ее к Андрюшке не мстить и не ненавидеть его. И боясь этого раздвоения, какого-то чуть заметного намека на зарождающееся чувство, она ушла. В тот вечер, когда ее уже унесли из его особняка, он вечером прошел в ее комнату и сел на диван, где она обычно сидела, и на который он не позволял себе даже сесть с ней рядом. Тяжелые, тусклые мысли текли в его голове, и в то же время светлая, тихая радость царила в душе. Он понял, что до, так страстно ожидаемого дня, когда она сама, первая, протянет ему руку, было совсем близко. Но не выдержала, испугалась зарождающегося чувства та, которая была ему дороже всего, и ушла от него, от всех, оставив слабый намек. Тяжелая, мужская слеза бесконечно гордого человека сверкнула на ресницах и, закрыв лицо руками, он упал лицом на диван. Тогда-то в его душе и зародилось полное безразличие ко всем окружающим, ко всем, кто попадал в его служебный кабинет, так как не стало того животворного огонька, который освещал

щал все. Он твердо знал, что всемогущий по своей службе, беспощадный распорядитель судеб тех, кто попадал в его кабинет, от взгляда которого загорались румянцем лица встречаемых женщин, он никогда никого больше не полюбит. Все унесла она с собой, полупризнавшись перед смертью в письме, адресованном другому. И если беспутный, пустой Андрюшка изменял ее памяти, то от него ни одна женщина за всю жизнь не встречала ничего, кроме холодной вежливости и бесстрастного взгляда его жолдовских глаз. Это была его первая крайность, которую он пронес через всю жизнь.

Вторая крайность его лежала в его черной работе. Тихо, шепотом произносили в городе его имя, зная, что многие и многие, где-нибудь в тундре, с проклятием вспоминают его или лежат в общих, кое-как заброшенных могилах. Никакого намека на злобу или сочувствие не встречали те, с кем ему приходилось встречаться в служебном кабинете. Никто из них не слышал от него ни одного бранного или оскорбительного слова — ледяную вежливость или взгляд то безразличный, то чарующий своим обаянием, смотря по ходу дела, видели они, но все знали, что, независимо от этого, судьба их предрешена, если они сталкивались с ним. И постепенно самый ничтожный намек на какое-то чувство стал для него просто непонятен. Выше добра и зла, выше сочувствия или злобы, жил и работал всемогущий следователь черной службы. И только один раз, под влиянием страшных слов Преснякова вышел он из себя, но это родило третью крайность — безумный страх перед наследственностью, которую он получил от далеких предков. И все эти крайности закрывали от него весь мир густым туманом.

Он был уверен, что ничего нового, кроме этих крайностей, он не встретит, что бездушное безразличие к людям и неожиданно родившийся страх перед законом наследственности переплелись с чувством к ушедшей и почти полюбившей его женщине в плотный, нераспутываемый клубок, и что, кроме своего естественного конца, ждать ему нечего.

И вдруг какой-то незнакомый, серый, незаметный человек на палубе парохода бросил в его изломан-

ную душу новую, яркую, хоть и очень маленькую искру. Раздувая эту искру, рядом с ним, шел шепча часто непонятные слова, старый прадед-монах. Отбиваясь от этого, смеясь над этим, богохульствуя, Волокитин боролся, слабея с каждым днем, боясь, сам того не понимая, новой крайности, крайности Света, Тепла, Красоты и Добра. Никакого доказательства непреложной истинности этих добродетелей он не нашел своим холодным, то издевающимся, то принимающим умом и в книгах. Все прошлые его крайности не хотели отходить от него, когда он внимательно строчка за строчкой, прочел книгу, которую называют святой. Но в то же время он чувствовал, что на него надвигается что-то новое, неизведанное и неизбежное. Только когда он думал об этом, его глазам, привыкшим к темноте, было больно от того света, который сулило это неизбежное. И одновременно ему становилась невыносимо-противной та жизнь, которой он жил раньше. Но тут начинал протестовать изломанный разум, издеваясь над тем, Что нельзя ни видеть, ни слышать. А потом вдруг что-то, что понять он не мог, шептало другие теплые слова и постепенно он сделал первый шаг к этому неизведанному. Это должно было быть той самой душой, в существование которой он не верил, но разум, издеваясь, шептал: «Это нервы...»

Бывший следователь мучительно переживал эту борьбу, проведшую глубокую морщину через его лоб. И только тогда, когда он услышал, как мать умершей девушки громко, на всю церковь, уверенно и твердо сказала жгучие слова: «Да будет Воля Твоя!» — он забыл все и всем своим существом пришел к последней своей крайности, светлой и одухотворяющей. Поэтому он не мог уже оставаться дольше в мирской жизни — он должен был отдать всего себя служению Тому, Кого всю жизнь отрицал.

Со всей силой и страстью сильного человека, отдавшего себя полностью на служение Богу и Истине, вел себя Волокитин в монастыре. На самые тяжелые, часто грязные работы просил он назначать себя, пока был послушником. Высокий и стройный, со своим прекрасным лицом, обросшим небольшой бородкой, молчаливый и скромный, он служил примером для других.

Когда же через полгода хотели его постричь в монахи, он умолил игумена повременить с этим, чтобы больше замолить свои незамолимые грехи. Самые строгие, тяжелые испытания наложил он на себя. Дивилась братия монастыря тому, как все длинные монастырские службы простаивал на коленях новый послушник. На глазах у всех худел он все больше и больше, так как даже в разрешенные от поста дни он его не нарушал. С почти прозрачным лицом, все таким же прекрасным как и раньше, но одухотворенным внутренним огнем служения, он невольно вызывал и удивление и уважение остальных монахов. В монастыре было принято не расспрашивать у вновь поступивших ни о том, что их туда привело, ни о их прежней жизни. Знал это только игумен, принимавший новых послушников. И однажды, встретив Волокитина во дворе, он с сожалением посмотрев ему вслед, тихо промолвил:

— «Неизмеримо велика чаша его грехов, и всем нам нужно молиться только о том, чтобы он успел за всю оставшуюся жизнь вымолить себе прощение».

Сам же игумен стал и его духовником и часто братия видела, как склонившись над аналоем кается в своих грехах новый брат их. А тот, принявший после пострижения в иноки имя Леонида, поставил себе целью то, что было для него невыполнимо. Серыми, сливавшимися в одно туманное пятно, проходили в его памяти те, кто когда-то проходили через его кабинет. Старые и молодые, мужчины и женщины, запуганные и дерзкие — они забылись, выпали из памяти, так как тогда, еще в Москве, он их искренне забывал после очередного допроса. И вот теперь, он напрягал всю силу памяти, чтобы вспомнить их, молить у них или их теней прощения, молиться за них. Стерлись и растаяли в прошлом их имена, и старался он воскресить хотя бы то, в чем он обвинял кого-нибудь из них, и то, каким образом он добивался от них сознания в существовавших, а чаще несуществовавших грехах. Днем ему было легче, ибо работой он сокращал время, но приходила ночь и в своей келье, при мерцающем пламени лампы, среди усердных молитв, между их словами, тени погубленных им людей одной целой массой опускались на его плечи. И

мучительно до боли напрягая память, он старался вырвать из этой массы хоть два, хоть один случай, чтобы на другое утро рассказать об этом на исповеди. И иногда такие страшные эпизоды его черной службы возникали в памяти, что бледнел от его покаяния духовник и накладывал на него строгую епитимию. Одним из первых вспомнился ему случай на умиравшей от голода Украине. Он в грязной, полутемной хате двумя выстрелами оборвал уже и так угасающую жизнь старика-деда и мальчика-внука. Особенно — глубоко посмотрел на это игумен:

— «Для старика, уже умиравшего и видевшего смерть внука, это может быть, было добром. Человек слаб, а страдания притупляют его способность здраво рассуждать. Но ты... ты испугался этого добра, о котором просил уже полунормальный старик и, выполняя его просьбу, смеясь над добром в широком смысле слова, убил их обоих. А к тому же, оскорбленный в своей сатанинской гордости словом «трус», которое бросил тебе старик... ты удовлетворил эту же гордость... Да, тяжелое бремя зла несешь ты на своих плечах, и не мне судить, сумеешь ли ты до конца дней твоих вымолить, выпросить прощение. Молись, кайся, забудь слово «гордость», забудь, что есть слово «я», ибо твое «я» влечет тебя только во тьму и зло!..»

И так, истязая себя воскрешением темных дней, чтобы каяться в них, он стал приближаться к тому моменту, когда его «я» перестало для него существовать.

Был среди братии один очень ветхий своими днями иеромонах. С трудом, опираясь на палку, приходил он в церковь и к тому же он страдал жестоким ревматизмом. В жаркие летние дни он выходил во двор и, открыв до колен ноги, прогревал их под солнечными лучами. Так было и в тот день.

Когда старик-иеромонах, открыв до колен ноги, прогревал их на солнце, во двор ворвалась откуда-то страшная на вид большая собака. Дыбом стояла шерсть на черной спине ее и грязная желтая пена стекала из оскаленной пасти. Все бывшие во дворе и отец Леонид поняли, что собака бешеная, но задремавший на солнышке старый монах этого не видел. Сделав круг по двору и заметив белые открытые ноги монаха, зверь, еще больше оскалив пасть, бросился к нему. Но в тот

самый миг, когда зловонные челюсти должны были сомкнуться на белой ноге старика, между этой ногой и смертоносными зубами протянулось что-то новое, черное, на чем и сомкнул зверь свои зубы. Это отец Леонид подокачив к старику успел протянуть между его ногой и мордой зверя свою в черном рукаве подрясника руку. Бешеной судорогой свело зубы зверя, и когда отец Леонид встал во весь рост и поднял руку, то еще глубже врезались острые зубы и, стоя на задних лапах, роняя кровавую пену на землю, собака почти повисла на его руке. К этому моменту, все бывшие во дворе пришли в себя и тяжелым ударом схваченного им заступа один из монахов раскроил череп бешеного зверя. Но судорогой сведенные зубы не отпускали руку в черном рукаве и с трудом, осторожно палкой разсмкнув окрашенную кровью пасть, монахи освободили отца Леонида.

Сразу же об этом сообщили игумену, и тот, пройдя в церковь, велел позвать к нему отца Леонида, как только он вымоет и перевяжет израненную руку.

— «Не мне», — начал он обращаясь к отцу Леониду, — «а Богу, перед алтарем Которого мы стоим, со всей искренностью и правдой скажи, зачем и почему ты это сделал. Но помни, что если слукавишь, слукавишь — не мне... и тогда этот грех будет не меньше тех, что ты совершил раньше».

С удивлением посмотрел на своего духовника отец Леонид и не теряя ни секунды ответил:

— «Не знаю... Вижу, что грозит иеромонаху и, не думая ни о чем, бросился к нему. Как будто кто-то толкнул меня. А почему? — не знаю. — Перед Богом это говорю!».

Внимательно посмотрел игумен в глаза отца Леонида, но прост, правдив и даже недоуменен был ответный взгляд.

— «Не хвалю и не благодарю тебя», — тихо произнес игумен. — «Не для нас, не для старого иеромонаха сделал ты это, а прежде всего для себя самого и, может быть, этим смысл не один свой старый, страшный грех, забыв о себе, забыв о своем «я».

Почти до кости была прогрызена рука отца Леони-

да, и больше месяца приезжал в монастырь доктор, ведя жестокую борьбу с ядом от зубов бешеного зверя.

Вскоре после этого отец Леонид был возведен в сан иеромонаха, но и тогда он продолжал неизменно каждую ночь вспоминать о прошлом и при каждом восстановленном памятью случае каяться перед духовником. Заметили монахи, что высокий и стройный до сих пор, стал ходить он немного сгорбившись, как будто нес какую-то ношу: на груди бывшего следователя черной службы, ни во что не верившего и не отличавшего добро от зла, обернутые материей, чтобы не звенели, висели тяжелые железные вериги, о чем знал только игумен, благословивший его и на этот подвиг.

Но подходил последний срок и... день, в который, лицом к лицу, встали, связанные Роком — невольный виновник всей драмы — Логинов, прозрачно-худой выссский монах и умирающий в муках недавний пропойца-босяк, познавший силу молитвы-отрывка церковного возгласа и трусливо от нее убежавший.

Глава 27

На редкость погожим и ясным был тот предрождественский ссчельник, в который был развязан запутанный и крепко затянутый узел отношений и переживаний трех людей, волею слепого случая переживших и переживающих драму, увертюра которой, низкими-трагическими тонами, прозвучала много лет назад в далекой, потерявшей разум Москве. Отзвуки этой увертюры люди, так отличающиеся друг от друга, вопреки законам логики, не могли заглушить или забыть до конца своих дней.

Синее, без единого облачка, небо висело и над монастырем, готовящимся к великому празднику, и над тем домом, в котором жалкий в своей безвольности умирал один из них, а другой, только недавно осознав, что виной всего был он, прислушивался к неровным ударам своего изношенного сердца. Но не знал и не предполагал третий из них, что он приблизился вплотную к тому, что, наконец, должно разре-

шить все, что пронес он сквозь всю свою жизнь и что бросило его из одной крайности в другую, страстно влекшую его к свету и правде.

В этот день отца Леонида неожиданно охватили воспоминания, с которыми он жестоко боролся, но уйти от которых не мог. И вдруг, совершенно без всякой связи с тем, что его окружало и чему он служил, из темноты прошлых лет выплыла в его памяти круглая, искаженная в диком хохоте рожа Андрюшки. Всей силой воли боролся он с этим наваждением, стоя на коленях перед иконой в своей келье, но в душе его двумя параллельными струями текли мысли и переживания. Одна струя была окрашена горячими словами молитвы, а другая властно воскрешала в памяти давно пережитое, — мучительное и неотступное. В великом страхе металась его душа то забываясь в словах молитв, то подчиняясь издевающемуся голосу памяти. Уже давно он сумел погасить злобу и уязвленную гордость перед Андрюшкиным хохотом, но сегодня, почему то, все прошедшее вспыхнуло в нем с небывалой силой. Правда, никакого озлобления к Андрюшке эти воспоминания не возбуждали, но как на экране они проходили перед его глазами, возвращая к прошлому.

Он вышел в сад. Необычное для Рождества, синее небо слало ему яркие лучи солнца, чуть шелестели под легким ветром листья деревьев, приближался час предрождественской всенощной, но, не отпуская его ни на миг, широкой лентой текли воспоминания, от которых он пережил в те немногие дни в розовом особняке, когда там жила покойная Варя. Потом приходило что-нибудь другое, но над всем этим царил хохот Андрюшки. Он отбивался от этого всеми силами, но прошлое не оставляло его. И в процессе этой странной и страшной борьбы, вдруг появилось желание понять и всем сердцем простить того, кто издевался над ним и хохотал то в полубезумных снах, то в чем-то, похожем на бессвязный бред. И разгоняя видения прошлого, отец Леонид вдруг понял, что за всю жизнь в монастыре, он этого не сделал. Он не знал, что этот издевающийся над ним человек умирает теперь совсем недалеко

от него, и не зная этого, чувствуя, как все легче становится у него на душе, со всей силой своей большой воли прощает его.

Он понял, что по существу Андрюшка имел право смеяться над ним, так как победителем оказался не он и последние слова покойной Вари обращены не к нему. И чем больше утверждалось в его душе истинное прощение Андрюшки, тем становилось легче. Стоя у всенной, отец Леонид молился о том, чтобы легче и лучше становилось Кореневу, не подозревая, что скоро встретится с ним и, что, при этой их последней встрече они крепко пожмут друг другу руки и забудут прошлое.

А в этот самый день, предвидя свой скорый конец, худой как скелет, Андрюшка, после очередного укола морфия, решил рассказать Ивану Ивановичу все те нелепые случаи, которые привели его к нему.

Долго, с перерывами, часто задыхаясь, он рассказывал всю свою глупо сложившуюся жизнь. И по мере рассказа чувствовал Иван Иванович, как все большей и большей тягостью ложится на его плечи сознание того, что именно он явился главной причиной происшедшего. Умиравший же, не зная, каждым своим словом увеличивал это сознание, и... только то, что.... Иван Иванович не открыл ему правду, воздержало больного от страшного проклятия, которое он имел право бросить ему в свои последние минуты. Когда уже наступили сумерки, Андрюшка окончил свой рассказ. Но живая душа в его умирающем теле требовала еще другого, самого трудного. Посмотрев на письменный стол, Андрюшка увидел, что карточка, которую он, в первое свое посещение сбросил на пол, там нет. Догадываясь, что Иван Иванович, опасаясь понятного приступа злобы умирающего, убрал карточку, чуть улыбнувшись, он обратился к Ивану Ивановичу:

— «Иван, покажи-ка ту карточку — не бойся я не брошу ее, да и сил, наверное, на это не хватит!»

Иван Иванович подал карточку Андрюшке. Долго, минут десять, держал ее в своих дрожащих руках умирающий, внимательно всматриваясь в нее. И в эти минуты он вдруг почувствовал что-то совсем новое, впервые загоревшееся в его душе. Все внимание он сосредоточил на смотрящее с карточки прекрасное лицо че-

ловека, который разбил его жизнь и которого он считал своим смертельным врагом. И чем больше он вглядывался, тем с большим удивлением замечал, что эта злоба тает, не мучает и не зовет к мести. Отдав карточку Ивану Ивановичу, прошептал:

— «Помолчим! Мне нужно многое продумать, что-то решить, а времени ведь у меня осталось совсем мало».

Он закрыл глаза, отдавшись своим думам.

Иван Иванович, думая, что больной задремал, вышел из комнаты, но тот не спал — в голове его рсались, то загораясь, то потухая совсем новые мысли, в душе были движения, которых он еще не переживал. Видимо сознание близкого конца заставило его пересмотреть, передумать и перерешить то, что он нес с собой всю жизнь. И чем дольше он думал, тем светлее становилось на душе. — «Как я раньше так об этом не думал!..» — явилась мысль, укоряя и в то же время облегчая. Часов в десять вечера он позвал:

— «Иван, иди сюда!»

Иван Иванович вошел и остановился в удивлении — на похудевшей, желтой щеке Андрюшки блеснула крупная слеза.

Он знал, что Волокитин, теперь отец Леонид, находится в монастыре, знал и о том, как тот спасая старого монаха подставил свою руку смертоносному укусу бешеного зверя.

— «Иван», — обратился он к хозяину. — «Ты помнишь? я показывал тебе пакет, который должен передать. Это нужно сделать и как можно скорее — ведь, я вряд ли дотяну до утра!.. Позвони сейчас же в русский монастырь, вызови отца Леонида, попроси сейчас же приехать сюда. Назови и себя и меня старым именем. Упроси, заставь его, сейчас же приехать сюда... Потом тебе все станет понятным!..»

Иван Иванович нашел номер телефона монастыря и позвонил. Чей-то спокойный голос послышался в трубке:

— «Русский монастырь».

— «Отца Леонида, пожалуйста, скорее — дорога каждая минута», — нервничал у телефона Иван Иванович.

Тот же голос ответил:

— «Я у телефона».

Растерявшись и не зная как начать, Иван Иванович, наконец, почти прошептал в трубку:

— «Андрей умирает... Андрей Коренев... Он хочет вас видеть».

— «Кто вы, где он?» — опять спокойно послышалось из трубки.

— «Я Логинов, Иван Логинов, московский студент, Андрей у меня, скорее, он очень вас просит».

— «Ваш адрес?» — также не волнуясь произнес голос отца Леонида и, узнав, добавил: «Я буду через полчаса».

Иван Иванович окончательно растерялся, когда в пришедшем, высоком, худом монахе он узнал того, кого звали раньше Волокитиным и который по словам Андрюшки сломал его жизнь. Спокойно, не дрогнув ни одной чертой, он издали поклонился Ивану Ивановичу.

— «Проведите меня к больному, и оставьте нас одних», — тихо сказал он.

Больше часа был отец Леонид с Андрюшкой, и Иван Иванович начал бояться, как бы у больного не наступил очередной припадок боли, но вдруг он услышал голос умирающего:

— «Иван, иди сюда!»

На кровати больного сидел отец Леонид. Бледные руки умирающего бессильно лежали поверх одеяла, и одну из них тихо гладил иеромонах. Но больше всего поразили Ивана Ивановича их лица: просветленным и спокойным было лицо Андрюшки, а большие, увеличивавшиеся глаза его смотрели куда-то в пространство и, как будто бы замороженные этим пространством, не видели ничего окружающего. Мягкое, теплое выражение лежало на лице отца Леонида, и его глаза с тихой лаской смотрели на больного. Но самое главное было то, что на лицах обоих лежало выражение особой, непонятной, большой радости.

— «Иван», — начал чуть слышно Андрюшка, — «ты знаешь, как люто ненавидел я отца Леонида! Ты знаешь, как, поддавшись этой ненависти, я подкрадывался к нему с топором в руках. Рассказал я тебе всю свою жизнь, многогрешную и грязную. Знаешь ты и о том, что слова опустившейся и несчастной

женщины, озлобленной и изломанной жизнью, слова «или не ненавидишь или не простишь» я сделал девизом своего отношения к тому, кто сидит сейчас рядом со мной. И вот сейчас, окинув взором всю прошлую жизнь, только сейчас я разглядел, каким серым туманом, пропитанным злобой, была эта жизнь. За этим туманом я не видел ни солнца, ни добра. Но вот мы встретились. Мы мало говорили, да и говорить было особенно не о чем. Нужно было простить и посчитать друг друга братьями. И когда он вошел и не говоря ни слова склонился передо мной, недавним босяком, в глубоком земном поклоне — тогда я понял, что, если и была его вина передо мной, то моя вина перед ним была неизмеримо большая. Ведь, пойми, что живя в монастыре, читая молитвы, я таил в себе злобу и обманывал не себя, не окружающих, а Того, Кому молился. Теперь я понимаю, что убежав из монастыря и сделавшись босяком, я не только не наложил на себя жестокое наказание, а, наоборот, получил свободу открыто его ненавидеть. Все было пропитано ядовитым туманом, а вот теперь, когда я не смог бы его ненавидеть, даже если бы захотел, когда сошлись наши руки — теперь впервые растаял этот туман, и я увидел настоящий свет!.. И не я, а он своим земным поклоном разогнал этот туман. И в словах, завещанной мне покойным святым игуменом, молитвы встретились и обнялись наши измученные души... Иван, когда тебе будет тяжело и страшно, читай этот возглас, и он поможет тебе, как помог нам!..»

Утомившись, Андрюшка замолк, а отец Леонид, встав перед иконой, висевшей в углу, перекрестившись, прочел этот отрывок церковного возгласа.

Иван Иванович, измученный сознанием своей вины, может быть и мнимой, впитывал в свою душу эти слова, чувствуя, что они облегчают ту боль, которая так угнетала его последние дни.

Отчетливо и ясно, чеканя каждое слово, прочел отец Леонид: «Господи, всякой душе христианской, скорбящей же и озлобленной, милости Божьей и помощи требующей, помоги!..». А потом, благословив почти без чувств лежавшего Андрюшку, медленно вышел.

Последний акт всей драмы кончился в соседней комнате.

— «Отец Леонид, отец Леонид», — с дрожью проговорил Иван Иванович. — «Ведь во всем виноват я!..»

— «Знаю и все помню», — перебил его иеромонах. — «Но вы не сказали об этом умирающему?»

— «Нет, не сказал... Наверное, струсил, чтобы он меня не проклял», — ответил Иван Иванович.

Спокойно и твердо упали слова иеромонаха:

— «Это хорошо, что не сказали, не отравили его последние часы. Необдуманными, невольными были ваши слова тогда на вокзале, но они-то все и породили. Замаливая свой невольный грех, чаще повторяйте слова той молитвы, которую передал мне Андрей, которую теперь и я буду часто повторять. Скорбит и Божией помощи требует теперь и ваша душа, об этом и молитесь». — И отец Леонид, поклонившись, вышел из комнаты.



В светлый солнечный день хоронили умершего Андрюшку, бывшего иеромонаха Нестора, и три человека провожали его в последний его земной путь — отец Леонид, Иван Иванович и Аграфена Кондратьевна. А через несколько дней, в последнем толчке, замерло и сердце Ивана Ивановича. Похоронили его рядом с могилей беспутного фантазера Андрюшки, и горькими слезами плакала Аграфена Кондратьевна.



Когда на другой день, рано утром, отец Леонид вышел из кельи, серый туман приплывший из бескрайних просторов океана, серой дымкой закрывал все. В его пологе казались уродливыми и пугающими деревья монастырского сада. В изгибающихся и шевелящихся волнах его, как в первозданном хаосе не было видно ни неба, ни взошедшего солнца. В волнах его, на момент расступающихся, вырисовывались то колокольня монастыря, то его здание, чтобы снова утонуть в его серой пелене. Перебирая четки, сидел отец Ле-

онид на скамье, читая молитвы. Между словами молитв, мелькнула мысль: — «Туман... Все туман... И у Андрея, и у меня... Но, прячется за ним яркое живое солнце... И сгорит, растает, развеется туман, а солнце... оно вечно!..» Отец Леонид встал и почти вслух прочитал андюшкину молитву.

И вдруг шевельнулись под ветром ветви деревьев, отчетливо вырисовалась в очищенном воздухе маленькая монастырская церковь и, свертываясь и изгибаясь под этим ветром, двинулись куда-то лохмотья разорванного тумана, и через минуту повисло над всем синее небо с горячим, золотым солнцем и, ликующая каждым маленьким листком летний праздник, природа раскинулась перед глазами отца Леонида во всей своей величественной красоте. Слабый удар небольшого колокола проплыл по саду, призывая в храм... прозвенев над двумя свежими могилами и... расплываясь... замолк где-то вдали...

— КОНЕЦ —